



*“Я жил и цел
когда-то...”*

**Воспоминания о поэте
Арсении Тарковском**

«Я ЖИЛ И ПЕЛ КОГДА-ТО...»

Воспоминания о поэте
Арсении Тарковском

Составитель М. Тарковская



Издательство «ВОДОЛЕЙ»
ТОМСК — 1999

ББК 87.Р3
Я11

Учредитель издательства «Водолей» —
Томская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина

Составитель М.Тарковская

В оформлении использованы фотопортреты А.А.Тарковского
работы Г.Пинхасова (1979 г.) и Л.Горнунга (30-е гг.)

Я11 «Я жил и пел когда-то...» Воспоминания о поэте
Арсении Тарковском. — Томск: Издательство «Водолей»,
1999. — 352 с.

Книга воспоминаний о замечательном поэте Арсении Александровиче Тарковском (1907-1989) издается впервые. В сборник, составленный дочерью поэта М.А.Тарковской, вошли лучшие воспоминания нем. «озаренные как бы двумя галантами — того, о ком вспоминают, и того, кто вспоминает». Книга, хронологически охватывающая период с 20-х по 80-е гг., предоставляет ценителям русской поэзии редкую возможность лучше узнать выдающегося поэта как человека.

Главный редактор Е. Кольчужкин.
Компьютерный набор Е.Шумская. Корректор В. Лихачева.

Сдано в набор 14.01.99. Подписано в печать 23.07.99.
Формат 84x108^{1/32}. Гарнитура Бодони. Печать офсетная.
Печ. л. 11. Условн. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 20,06.
Тираж 1000. Заказ № 633

Лицензия ЛР № 070405 от 14 августа 1997 г.
Издательство «Водолей», 634000, пер. Батенькова, 1

Отпечатано с оригинал-макета, подготовленного издательством «Водолей»
Сибирское издательско-полиграфическое
и книготорговое предприятие «Наука»
630077, Новосибирск-77, ул. Станиславского, 25

Я 4603020101 без объявл.
M46(03)-99

ISBN 5—7137—0118—2

ISBN 5-7137-0118-2



9 785713 701185

© М.А.Тарковская, составление, 1999
© Авторы, 1999
© «Водолей», оформление, 1999

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Прошло десять лет со дня ухода из жизни поэта Арсения Тарковского. 1 июня 1989 года в Большом зале московского Дома литераторов состоялось прощание с ним. Народу было немного, гражданская панихида задерживалась — ждали каких-то литературных генералов, которые так и не приехали. Все были на съезде народных депутатов СССР, в стране кипели политические страсти.

За десять лет многое изменилось: не стало страны с названием СССР, имена людей, веривших, что они вершат судьбы страны, ушли в прошлое, их сменили другие. «Все проходит»... Остается вечное. За десять лет вышли трехтомник Тарковского, четыре сборника его стихотворений. Готовится к изданию пятый, научно прокомментированный. Поэзия Тарковского безусловно и естественно вошла в русскую культуру.

Воспоминания об Арсении Тарковском стала собирать его вдова, Т. А. Озерская-Тарковская, известная переводчица англоязычной литературы. Многие, знавшие Арсения Александровича, по ее просьбе написали свои воспоминания о нем. К тому времени, когда я стала заниматься сбором воспоминаний, почти все они были опубликованы в печати.

Жанр мемуаров любим читателями. Но это чрезвычайно трудный и опасный жанр. Трудный — потому что перед автором стоит задача как можно объективнее и точнее зафиксировать свое впечатление от встречи с человеком, о котором он вспоминает. Опасный, потому что память несовершенна, избирательна. Почти невозможно отказаться от своего, субъективного взгляда на события, и порою невольно свое отношение к происходящему автор приписывает своему герою. Опасным я считаю в воспоминаниях предположительность, непроверенные факты и даты. Неприятно, когда доверительные разговоры с глазу на глаз становятся достоянием публики, когда разглашаются «тайны» свидетелем, оказавшимся рядом. Но еще хуже — обтекаемость, недосказанность, полуправда. Но как быть в таких случаях с этикой, с чувствами близких? Сложный и больной вопрос, на который каждый из авторов отвечает по-своему. Готовя к печати этот сборник, я не считала себя вправе возражать им, навязывать свою точку зрения, ни, тем более, исправлять их

тексты. (Отдельные ошибки в датах и т. п. поправлены с согласия авторов.) Некоторые свои уточнения я постаралась высказать в кратких примечаниях.

Воспоминания расположены хронологически. К сожалению, ушли из жизни многие свидетели молодости поэта. Пропущен очень важный отрезок биографии Тарковского — совсем нет воспоминаний военных лет. Основная часть воспоминаний приходится на 70—80-е годы, когда Тарковский почти постоянно жил в домах творчества. И тем не менее, несмотря на «белые пятна», из представленной в книге мозаики воспоминаний складывается образ неповторимой личности поэта.

Хочу заметить, что многие воспоминания сборника — не просто фиксация тех или иных фактов из жизни Арсения Тарковского. Это — замечательные литературные произведения, озаренные как бы двумя талантами — того, о ком вспоминают, и того, кто вспоминает.

Выражаю глубокую признательность всем участникам этого безгонорарного сборника за их любовь к памяти моего отца, за их ответственный и серьезный труд, помогающий любителям поэзии Арсения Тарковского узнать его как человека.

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
СЛУЧИВШЕЕСЯ СО МНОЙ И С АРСЕНИЕМ ТАРКОВСКИМ
В 20-Х ГОДАХ В ГОРОДЕ ЕЛИСАВЕТГРАДЕ

Так вот, это было в 1924 году в городе Елисаветграде. Это уже потом он стал Зиновьевск, а еще потом Кирово-Украинское¹, а потом уже Кировоград. И был у меня хороший и красивый брат, звали его Юрий, а точнее Георгий — в честь Святого Георгия Победоносца. Он вдохновенно читал стихи Павла Тычины:

За оградой возле церкви
Революция идет.
Пусть чабан, — все закричали, —
За атамана ведет...

И было ему тогда девятнадцать... И поехал он в Киев с мечтою о театральном институте. И приняли его в музыкально-драматический институт имени Лысенко. А еще покорило его искусство великого мастера кино Александра Довженко, который зачислил Юрия Никитина в свою студию, а потом в 1938 году²...

Но это уже потом, потом... и не об этом будет наша речь... Снова возвращаюсь в родной Елисаветград, снова окунаюсь в двадцатые годы. И был у моего брата друг, Станиславский Николай³, а к ним присоединился и Арсений Тарковский — будущий знаменитый поэт; несмотря на то, что он был моложе на два года, друзьями они были на всю жизнь. Объединяла их не только личная дружба, но и любовь к поэзии, и юношеская любовь к женской красоте, и мечты о счастливом будущем... Ну, а когда нам семнадцать-девятнадцать, все мы надеемся на счастливую судьбу. И полетели они, как те птицы, искать этой счастливой судьбы... Попрощались с родным городом, но на всю жизнь сберегли любовь к нему и крепкую дружбу между собой, и у каждого из них не было более близких друзей до самой смерти. Но Асик (так в юности звали Тарковского) только через года два покинул Елисаветград. А когда остался один, без друзей, охватила его тоска... Встретил он женщину, очаровательно красивую, всю в кружевах, с загадочной пленительной улыбкой — она как символ поэзии своей женственностью покорила юношескую фантазию будущего поэта. Звали ее Мария Густавовна

Фальц. Ее трагическая судьба была обычной для того времени: муж ее, офицер царской армии, уезжая на германский фронт в 1914 году, попрощался с молодой женой и больше никогда не вернулся... В первые дни революции он был беспощадно расстрелян не немцами, а нашими, как тысячи других офицеров, защищавших нашу родину, были расстреляны только за то, что они носили золотые погоны...

В Елисаветград приехала на гастроли знаменитая трагическая актриса Елена Александровна Полевицкая. В ее репертуаре была драма Винниченко «Черная пантера и Белый медведь». Тогда еще можно было играть на сценах театров драматургию Владимира Винниченко⁴. Это уже потом, потом, где-то в 1928 году она была запрещена, и тогда же в нашем доме был обыск, забрали у нас и «Черную пантеру», и «Солнечную машину», и все произведения Винниченко — оказалось, что он «враг народа». Забрали тогда в нашей домашней библиотеке и стихи Олеся⁵, оказалось, что он тоже «враг народа». Забрали тогда и нашего отца в тюрьму, а потом сослали куда-то в Казахстан... Но это уже было потом, потом... И не об этом будет наша речь...

А пока что, счастливый день для меня: Асик Тарковский купил билеты в театр на спектакль «Черная пантера и Белый медведь», да еще в седьмой ряд, да еще в партер, а не на галерку, откуда я смотрела все спектакли с Заньковецкой⁶. Конечно, Тарковский пригласил свою богиню Марию Густавовну, но она отказалась, сославшись на головную боль. Вот тогда Тарковский вспомнил, что у его друга Юрия есть младшая сестра — не пропадать же театральным билетам! Тем более, что эта сестра готовилась поступать в театральный институт и ужасно декламировала стихи Олеся:

Кра, кра, вороны летят.
Кра, кра, вороны кричат:
Там убили, там спалили...

Боже, какое это было для меня счастье! Мы в театре. Он переполнен зрителями. Сердце замирает от предчувствия, что сейчас мы увидим винниченковскую «Черную пантеру»... Звонок первый... второй... третий... Вспыхнула рампа... Прожектора осветили сцену... Медленно, торжественно поплыл занавес... Пауза... На сцене никого. В зале тишина... Все замерло...

И в этой паузе, в этом безмолвии на сцене чувствовалась атмосфера горя, атмосфера человеческой трагедии. А еще домашний беспорядок, который царил на сцене, подчеркивал какую-то особенную безысходность...

А через мгновение мы увидели высокую, тонкую женщину в черном платье — это была Полевицкая в роли Черной пантеры. Ах! Как она играла трагедию женщины, для которой семья, дети, муж — все в жизни; это была самка-пантера в хорошем понимании этого слова. А мужа семейный быт, эта «проза жизни», отталкивала от детей, от жены. Поэтическая натура Белого медведя тянулась к богеме, где читают стихи, где красивые, в шелках и кружевах женщины, — от Черной пантеры к Белой снежинке.

В зале замелькали носовые платочки: зрители вытирали слезы. А Тарковский в свои семнадцать лет иронически посмеивался. Он не сочувствовал Пантере, он был на стороне Белого медведя. Вышли мы из театра с разными взглядами на жизнь. Думал ли тогда Арсений Тарковский, что в его жизни произойдет такая же драма, какую он сейчас видел на сцене, что он, как и винниченковский Белый медведь, увлеченный поэзией, оставит свою жену, сына, дочку, испугается «прозаического быта»... Нашел ли он потом свое счастье в жизни, это было известно только ему...

Идем мы молча мимо кавалерийского училища улицей Дворцовой. А на дворе осень, дождь моросит, а в голове так и звучат слова украинского поэта Олеса: «...И где-то плакал ветер в саду за кустом». И вдруг действительно слышим плач, да еще такой жалобный, детский... Подходим, видим: в какой-то яме, дрожащие, чумазые, в лохмотьях — беспризорные.

— Чего плачете, дети?

— Есть хотим...

— А зовут как вас?

— Петька, Васька, Сашка...

Я растерянно смотрю на Асика, а он на меня. Что делать? А зубы у малышей так и стучат от холода.

— Ну, что? — говорю. — Идем ко мне, тут недалеко, возле Ковалевской церкви. Картошка есть, сало есть, дрова есть. Поедим, согреемся. Пошли?

Мгновенно подскочили чумазые ребята. Куда делись слезы! Глаза, как алмазы, заблестели. А Тарковский с ужасом смотрит на меня.

Жили мы тогда вдвоем с отцом, он был наидобрый человек, хоть и схватился двумя руками за голову, когда увидел, что за компания ввалилась в наши комнаты. Но мне ничего не сказал: я была уже взрослая, мне было уже семнадцать лет.

Но быстро за дело — есть будем или купаться?

— Конечно, жрать, — ответили чумазые малыши, испуганно глядя на корыто, которое втащил из коридора Асик, желая хоть чем-то помочь...

Мгновенно разгорелись дрова в плите, мгновенно закипела картошка в чугушке. А юный дядя Асик, как увидел эту суету — мгновенно попрощался, пожелал доброй ночи, пообещал прийти завтра, помочь устроить малышей в какой-нибудь детдом.

Ужин получился на славу. Аппетит у малышей был богатырский...

— Ну, а теперь все в корыто...

Помылись, надели белые сорочки моего отца и легли спать на полу, на каком-то стареньком одеяле, и мгновенно заснули, несмотря на то, что постель была не царская. Уснули с лукавыми счастливыми улыбками на лицах. Смотрю на них и люблюсь... Такие они хорошие, розовые, чистенькие, как будто настоящие принцы, — эти Петька, Васька, Сашка... Любуюсь ими и думаю, плача, думаю: где и кто их родители, за что их расстреляли, а, может, они стали жертвой шальной пули, а их детям родным домом стала улица... Родились эти ребята в грозное время для нашей отчизны — время гражданской войны... И было тогда этих ребят тысячи и тысячи...

А утром... Снова накормила своих принцев, напоила сладким чаем, и стали ждать «дядю Асика». Внезапно ребята пошептались и деликатно попросились «под кустики». Пошли они... Прибираю и жду... Вот уже пробило двенадцать. Пришел «дядя Асик»... А ребят нет и нет...

Пошли мы с Арсением искать моих принцев... Искали-искали, кричали-кричали... И следа их нет... Исчезли, как сквозь землю провалились... Посмотрели мы друг на друга и стали смеяться над собою. Конечно, больше смеялись надо мной. А Тарковский при этом многозначительно произнес: «Все любят свободу. Вот почему я никогда не женюсь, а после того, как посмотрел винниченковскую драму, на всю жизнь отпало желание связать себя семьей».

Но года через четыре он женился. И родился в его семье сын Андрей, который в будущем стал кинорежиссером, знаменитым на весь мир, и еще родилась хорошая, милая доченька Марина.

А уже потом, потом...

Но и об этом не будет здесь речи...

ОСОБАЯ ПРИМЕТА

Есть особые ворота и особые дома,
Есть особая примета, точно молодость сама.

Арсений Тарковский

«Асик», «Арсик» — так его тогда называли. Было ему — восемнадцать. 1925 год. Осень.

Это — время действия... Место?.. Скажешь — «Москва, Литературные курсы» — и ничего не выразишь. Кто теперь вспомнит окраску и запахи тех лет?.. К тому же наши Литкурсы существовали так недолго! Несвоевременность, призрачность этого учебного заведения угадывалась с самого начала: незадолго перед тем был ликвидирован, видимо, за ненужность Брюсовский Литературный институт... И все-таки, едва сообщение о Литкурсах где-то появилось, в Дом Герцена, где тогда приютилась курсовая канцелярия — побежали девушки и юноши, как теперь сказали бы — абитуриенты — с документами и дерзким желанием посвятить свою жизнь литературе.

То были, по большей части, отпрыски «бывших» или хотя бы попросту интеллигентских семей, — те, кому ход в «рабоче-крестьянские» вузы тех лет был заказан. Не то чтобы вполне «чуждые», но и не «свои». По крайней мере, не «свои в доску», — ходила тогда такая формула!

Кто поступал к нам на курсы?.. Чуть раньше — Даня, Даниил Андреев, чьи мистические стихи теперь уже многим известны. Чуть позже — Юрий Домбровский, — это имя говорит само за себя.

И те, кто учил нас — наши прекрасные профессора — тоже не принадлежали к числу баловней эпохи. Достаточно назвать Густава Густавовича Шпета¹. Или же читавшего у нас древнегреческую литературу профессора Соловьева — родственника того самого Владимира Соловьева²... Можно вспомнить еще несколько блестящих эрудитов, чья судьба трагически оборвалась.

Помещения у Литкуров не было. На птичьих правах мы занимались в различных школах, когда кончались уроки. Здесь, сидя за одной из детских парт, я и познакомилась с Арсиком — Арсением Тарковским.

Что он — красив, мы, первокурсницы, заметили сразу. Но своеобразие, особенность этой чернобелой красоты осознавалась позднее и постепенно. Первый взгляд ухватывал только то, что могло быть присуще любому красивому брюнету: черные крылья бровей на очень белом лбу. И яркий рот. Такой яркий, что я не удержалась от вопроса:

— Тарковский? Вы красите губы?

Тут нужна «сноска». Юноши с покрашенными губами в те годы были в Москве не такой уж редкостью. И мы, литкурсанты, относились к ним терпимо. Короче, своим вопросом я не хотела обидеть нового знакомца.

И все-таки он обиделся. И стал изо всех сил тереть губы рукавом своей черной рубашки.

— Вот, глядите! Глядите!

Я глядела... Отпечатков помады на черном не появилось. А губы стали еще ярче.

Мы оба рассмеялись. Обида его прошла. Он пересел ко мне на парту (помнится, она была в левом от него ряду) и быстренько нарисовал в мою приготовленную для записей тетрадь почему-то свинку. Условный рисунок был неплох. Автор явно умел рисовать. Домой мы шли вместе. Кодекс «рыцарской» чести гласил: «даму» надо проводить, где бы она ни жила. «Дама» — то есть я, жила достаточно далеко. И за время пути он успел рассказать мне о своем родном городе Елисаветграде, — он его называл с добродушной шутливостью — «Елдабеш». Тогда же я запомнила имена его лучших друзей: Коля Станиславский, Юрка Никитин... Третьим был он, Арсик. Эти веселые друзья взяли себе — скорей всего из духа противоречия эпохе, — громкие титулы — «князя», «графа», «маркиза». Арсик именовался князем, хотя тогда он, кажется, не знал (во всяком случае не говорил никогда), что родоначальниками Тарковских были дагестанские князья³.

Тогда же, в первый вечер, он спел мне «великосветскую» песенку друзей:

Что же князя нет?
 Что же я не с ним?
 Шли бы пять Мюэт
 В ресторан «Максим»!

Под этот игривый мотив мы подошли, хоть и не к «Максиму», но к моему подъезду. По причине позднего времени подъезд был заперт. Приходилось идти к воротам — будить дворника, за что тому полагался, по крайней мере,

— гривенник. Такой суммы не оказалось ни у меня, ни у моего «снятельного» спутника.

Да и откуда было взяться лишней монете у мальчика, который, в сущности, не так давно написал свое первое, такое ликующее стихотворение:

Из картошки в воскресенье
Мама испекла печенье!

Конечно, это было сказано в годы «военного коммунизма», но и в более сытые времена Арсику Тарковскому не всегда удавалось забыть что такое голод.

«Неунывающий неудачник» — так определила бы я его жизненную позицию. Арсик был твердо убежден, что судьба задалась целью подсовывать ему «сюрпризы», каких не бывает «у людей», то есть у всех остальных. Он отвечал судьбе смехом, подчас немного горьким.

Как-то в день, когда он опять «не успел» пообедать, мы с ним вечером купили у уличной торговки булку, — они тогда назывались «французскими», Арсик взял булку своей вообще-то очень цепкой, сноровистой рукой... Но тут что-то случилось — «как будто кто-то подтолкнул руку!» — и булка полетела на тротуар.

— Конечно, — спокойно резюмировал он, — у людей булка падает на самое сухое место. У меня булка падает в лужу.

Говоря о луже, он, возможно, немного преувеличивал. Но вечер был дождливый, и тротуар поблескивал то здесь, то там... Арсик подумал-подумал, махнул рукой и поднял булку.

В один из первых вечеров нашего знакомства Тарковский, по моей просьбе, прочитал мне свои стихи. И они меня несказанно удивили. Изысканная его внешность заставляла предполагать, что он пишет в духе Сологуба или же Михаила Кузмина — поэтов, о которых мы, в отличие от вэзовцев тех лет, все же имели некоторое представление. Но вдруг я услышала нечто показавшееся мне мертвечиной, нечто совершенно архаическое, — гекзаметр:

Юноше дал Аполлон великую душу поэта,
Юноша в мире живет на утешенье богам.

Или — еще того чище:

Петух троекратно пропел о паденье прекрасной Ахайи!..

Музыка этих строк радовала слух... И все же гекзаметры мне не нравились. Главное, я не ощущала в их медном бряцании самого Арсика Тарковского, который нравился мне все больше.

Гораздо ближе моему слуху и сердцу показались стихи, которые он сам читал нехотя, считая их давно пройденным этапом, «детской» забавою:

Сегодня приходит ко мне мама:
 — Асик, какой у тебя вид!
 Ну, как я скажу ей простыми словами,
 Что у меня ничего не болит?
 Когда вас увижу — Завтра? Во вторник?
 Ну, что еще вам надо? Каких еще слов?
 Ведь любовь моя это — только сборник
 Никому ненужных стихов!

В этих строчках мне все было понятно. К тому же в них звучала и горькая правда! Лирика, со всеми гекзаметрами включительно, тогда и вправду казалась чем-то никому не нужным. А в особенности тем, кто редактировал журналы. Мы знали — любой редактор скорее напечатает в своем органе неуклюжие вирши нашего доброго Аниканова, крестьянского поэта, пришедшего к нам на курсы уже в довольно солидном возрасте.

Кстати об Аниканове. Не могу не вспомнить, что именно Тарковский — наш эстет и сноб — относился к его наивному творчеству милостивее, чем мы все. Ведь именно к нему чаще, чем к кому бы то ни было, старый крестьянин обращался с застенчивыми словами:

— Арс Александрович! А я еще туалет⁴ написал!..

И «Арс Александрович» выслушивал новое творение Аниканова без тени обычной своей иронии. Возможно, он считал, что бесхитростные вирши Аниканова приятней слуху Аполлона, чем гладкопись тогдашней журнальной поэзии. А может быть, в этом добром отношении к «человеку из народа» сказывалось что-то, унаследованное от отца — старого народовольца.

Нам Арсений о своем отце никогда не рассказывал, может быть считая, что «дамам» это неинтересно... А ведь дружил он у нас, на курсах именно с нами, «дамами», — со мной, с Марусей Петровых⁵.

Первым другом — мужчиною, у Тарковского на моей памяти стал Аркадий.

Аркадий Штейнберг⁶ с женою Норой приехал из Одессы. И веселый отблеск этого южного города ощущался на всем

его облике — на рисунках, на стихах. Стихи эти, отнюдь не похожие на стихи Тарковского, тоже не годились для тогдашней печати. И Аркадий занялся переводом. На этой почве он и познакомился с Арсиком. Случилось это в Гослитиздате, где тогда работал Георгий Аркадьевич Шенгели⁷, охотно привлекавший в Издательство талантливую молодежь.

Арсений — Аркадий! «Аяксы», как мы тогда их звали! Непохожие друг на друга, но равно молодые, брызжущие юмором — они потянулись друг к другу и скоро стали неразлучными. Было такое время, когда у них все было общим — даже ящик, куда они складывали свои жидкие гонорары. Блестяще владея даром версификации, оба наперегонки переводили национальных поэтов тех лет. Вдвоем взялись за перевод сербского поэта — Радуле Стийенского, жившего тогда в России.

Передо мной лежит оранжевая, порядком выцветшая книжка с заголовком «Радуле М. Стийенский "Партизаны на Дурмиторе"»⁸. Фамилий переводчиков на обложке, конечно, нет. Они — под обложкой, — правда на титуле. Там значатся две фамилии: Арсений Тарковский, Аркадий Штейнберг.

Не могу не сказать, что и тут, в этой первой книге — судьба не преминула сделать Арсику легкую насмешливую гримасу: посреди фамилии «Тарковский» зияла опечатка. «У людей -- первая книга — это радость, если выпускаю книгу я, превращаюсь в Тараковского».

На книге, которая сейчас лежит передо мной — дарственная надпись Арсения, блистающая «романскими ассона-нсами», т.е. ассонансами с разными опорными гласными. Вот эта надпись с некоторыми купюрами:

Мы всегда танцуем от печки.
Вот разбитые строчки:
Юле Нейман
Кимвалы бряцающие.
Здесь каждый пойман
В строки танцующие.
И в этот том
Попал там-там,
Жених и невеста,
Жена и муж.
Все выглядит просто —
За поясом нож,
За спиной — горы,
Перед лицом — Дурмитор,
В небе — гагары,
На Канатчиковой — изолятор.

Не сердись на такие вирши.
 Хрен редьки не горше.
 Что такое — переводчик?
 Это -- подрядчик
 Или маляр заправский.
 Sic transit gloria mundi.

Тарковский

В этих шуточных строчках — уже нешуточная горечь. Арсений писал все лучше, значительнее, все полнее выражая в стихах себя. Но знали об этом только друзья. О том, что стихи поэта Тарковского могут дойти до широкого читателя, тогда и мысли не было.

Помню один его рассказ. Какой-то (вернее, какая-то) редактор расхвалила его стихотворение и сказала, что немедленно сдает в печать.

— Она уже написала на стихах — «в набор», — рассказывал он. — И вдруг спрашивает: «А кто — автор?.. С какого это языка?» — «Ни с какого, — говорю. — С русского. Это -- мои стихи...» У нее отвалилась нижняя челюсть.

Пройдет еще немало лет, пока читатель получит первую книгу стихов Арсения Тарковского — «Перед снегом»⁹...

Но возвращаюсь к нашей с Арсиком дружбе. О молодой любви написаны тома, ей посвящена почти вся мировая поэзия. О молодой дружбе как-то не принято говорить. А ведь это — совсем особое чувство — горячее, трепетное. Чуть-чуть похожее на любовь. И все-таки — не любовь. Но, как всякое настоящее чувство — оно должно пройти через испытания.

Серьезным испытанием для нас обоих стала женитьба Арсения. Женился он на чудесной девушке с тяжелыми золотыми волосами — Марусе Вишняковой. Она училась у нас же, на младшем курсе. Но мы как-то мало встречались...

Помню, с каким волнением шла я в первый раз в Гороховский переулок, где в одной комнате коммунальной квартиры поселились молодые. «Как теперь все у нас будет? Поймет ли Маруся — жена, какие мы с ее мужем душевные друзья?..»

И Арсик тоже, как я теперь понимаю, ждал меня не без тревоги. И как только я вошла в их длинный темный двор, он бросился мне навстречу и на руках внес меня в комнату, оклеенную ковровыми обоями... Был тогда такой нищенский шик!

И тут оказалось, что все наши опасенья — напрасны. Маруся от всего своего чистого и смелого сердца обрадовалась мне. Вместе с прочими чудачествами своего не совсем

обычного мужа она безоговорочно приняла и меня. И я стала запросто бывать на Гороховском, в 1-м Щиповском — везде, где они жили.

Потом появился Дрилка — Андрей. Маруся родила его в селе Завражье, у своих родных. Беленький мальчик засыпал, когда в коммуналке стихали шумы. И никто из нас не думал тогда, конечно, что это спит будущий замечательный режиссер, создатель нового киноязыка... Засыпала и Маруся, усталая от своей трудной, «взрослой» жизни. А мы с Арсиком допоздна читали стихи или книги, чаще всего — Гофмана. И вместе с нами слушал гофмановские сказки стоявший на столе настоящий деревянный Щелкунчик, сжимая свои могучие челюсти.

Так шли дни, месяцы... Появилась на свет Марина.

Нашу крошку звать Марина.
Наша крошка — балерина, —

напевал «папа Ася». Казалось, он — счастлив. Ведь он издавна мечтал о девочке — «с бантом в волосах и платье колокольчиком»... Сколько раз я слышала эту фразу!.. Ничто не предвещало катастрофы. А между тем судьба, как в стихах Тарковского, шла следом за всеми нами, «как сумасшедший с бритвою в руке...»

В тот вечер мы как-то особенно беспечно, не по возрасту даже, веселились. Маруся, конечно, оставалась дома, с детьми. А мы с Арсением (и кто-то еще был тогда с нами) — бродили по ночной Москве, и все нас ужасно сместило.

Зашли мы в Парк культуры, в «комнату смеха», где раньше не бывали. Кривые зеркала чудовищно исказили наши голодные лица. И мы, глядя на старых уродцев, кривлявшихся в зеркальных рамах, покатывались со смеху...

А на другой день Арсений свалился с высокой температурой. У него оказалась стрептококковая ангина («Если у людей — ангина, то у меня — стрептококковая»). Маруся нежно ухаживала за ним. И вдруг (ох, как часто наступало его это «вдруг!»), вдруг он понял, что полюбил другую, раз это случилось — он должен уйти.

И он ушел. От Маруси. И от детей, которых как будто нежно любил. Да и Марусю он любил. Сердце у него разрывалось от жгучей жалости. Позже он писал:

Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне. В нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Божий дар, не возвращенный Богом.

Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не вздрагивай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок...

«Отнятая у меня», — писал он. Но кто же ее у него отнял?.. Разве что все она же — насмешница-судьба?..¹⁰

Я жила тогда в Покровском-Стрешневе. Он приехал ко мне, пытаюсь объяснить, что произошло. Пытаюсь оправдаться... Скорей всего — перед самим собой.

— Она все поняла. (Говорил он о Марусе). — Я ничего не могу поделывать. Мы оба плакали.

Конечно, мы, друзья, осуждали его за уход. Но, по правде сказать, не слишком строго. Может, он и правда «ничего не мог поделывать». Он ведь был поэт, а поэты, как сказала потом Ахматова, «ни в чем не виновны — ни в том и ни в этом»... И сын его — Андрей — глубоко понимавший отца, оправдал его позже в своем «Зеркале»...

Судили мы Арсения, главным образом за то, что он мало помогал семье... А чем, в сущности, он мог тогда помочь? Переводчик, без определенного заработка... К чести его надо сказать, что, уходя, он оставил Марусе часть книг, которые любовно подбирал, покупая на последние гроши на «развалах», каких тогда много стояло вдоль Китайской стены.

Он ушел, потому что в нем что-то оборвалось, кончилась полоса жизни. А вместе с ней кончилась и наша дружба.

Помню, как-то темным, совсем незадолго перед тем, вечером, когда я уходила от них домой, и Арсений, как всегда, провожал меня, осторожно проводя по краю луж своей неожиданно сильной рукой, он сказал мне:

— Знаешь, вот мы с тобой будем старенькими-старенькими, и будем вот так же рядом ходить...

Как смеялась, должно быть, тогда судьба! Старенькими мы действительно стали, но рядом ходили все реже и реже. А там наши пути и совсем разошлись. Мы еще виделись. Мы как будто даже радовались друг другу... Но все это было уже — не то. Дружба кончилась. Умерла, как умирает все живое.

И все же наши души еще раз соприкоснулись.

Было это уже во время войны. Арсений приехал в Москву с фронта. Тогда это был недалний путь. Он читал в Доме литераторов новые стихи. Я запоздала, и вошла в зал, когда он читал стихотворение, посвященное второй его жене — Тоне¹¹, «Чего ты не делала только, чтоб видиться тайно со мною»...

На другой день он возвращался в часть, и я попросила его перед отъездом записать мне несколько новых стихов, в том числе и это — пронзительное.

Прошло, по-моему, всего несколько дней. Я зачем-то достала листки с его стихами. И стала перечитывать, хотя помнила все почти что наизусть.

Я читала заклинаящие строки:

Приснись мне, — читала я, —
 приснись мне еще хоть однажды.
 Война меня потчует солью,
 а ты этой соли не трогай,
 Нет горечи горше, и горло мое
 пересохло от жажды,
 Дай пить, напои меня, дай мне воды,
 хоть глоток, хоть немного.

Я знала, я отлично помнила эти строки. Но, восхищаясь ими, я воспринимала их довольно спокойно. А тут у меня вдруг сжало горло. И я заплакала.

И следом за тем раздался телефонный звонок. Звонила Маруся Петровых — наш с Арсением общий друг. По ее голосу я поняла: что-то стряслось.

— Случилось что-нибудь? — спросила я.

— Да.

— С Арсением?

— Да... Ты уже знаешь?

Нет, я еще ничего не знала. Маруся первая сказала мне, что Арсений тяжело ранен. Лежит в госпитале.

О том, что у него отняли ногу — я узнала поздней...

Повторяю, мы с ним еще встречались. Одно время даже работали вместе. Но той, прежней дружбы не было, изредка ощущались еще какие-то слабые всплески. Как-то вечером, в Голицыне он повел меня показывать свои любимые Плеяды, — тогда он уже увлекался астрономией. Мы стояли вдвоем в теплой ночи, глядя в небо и словно со всех сторон окруженные звездами, и он вдруг произнес прежние добрые, вроде бы забытые нами слова...

— Но ведь ты меня уже не помнишь, Арсик, — отрезвляюще сказала я.

— Нет, помню, — слабо возразил он. И добавил удивленно:

— Оказывается, помню.

Такие всплески случались все реже. А там и совсем прекратились... А в ушах у меня и сейчас звучат строки, которые я так и не успела ему прочитать:

Мы оба с тобою умерли
Давным-давно. Так давно,
Что, может быть, вдруг и встретимся,
И, может быть, вдруг опустится,
Светясь над потоком Вечности,
Мерцающее пятно,
Где кружатся наши юности —
Сквозистые две капустницы...

АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРКОВСКИЙ В КИРОВОГРАДЕ

В 1953-56 годах я была директором Кировоградского областного краеведческого музея.

Во второй половине мая 1955 года ко мне в кабинет вошел человек. Он был выше среднего роста, худощав, на костылях. Что мне в первые минуты нашего знакомства запомнилось, так это его глаза — темнокарие, грустные, излучающие тепло. Человек представился: «Арсений Александрович Тарковский». Мне имя Александра Карловича Тарковского было, конечно, известно как брата Надежды Карловны — первой жены украинского драматурга, корифея украинского театра Ивана Карповича Тобилевича (Карпенко-Карого). Александр Карлович был активным участником народовольческого кружка в Елисаветграде, за что подвергся аресту и ссылке в Восточную Сибирь. Но о судьбе его семьи мне было неизвестно, и поэтому встреча с Арсением Александровичем оказалась для меня неожиданной. Первое время я чувствовала себя смущенной, но, благодаря доброжелательному, дружескому тону Арсения Александровича, мне вскоре стало казаться, что я давным-давно знакома с ним. Рассказав немного о себе и расспросив о Кировограде, где он провел свои детские и первые юношеские годы, он выразил желание поехать на хутор «Надія» в музей-заповедник, который находится примерно в двадцати пяти километрах от Кировограда. Хутор был назван в честь первой жены И. К. Тобилевича, Надежды Карловны, урожденной Тарковской. Весной 1956 года постановлением правительства СССР он был объявлен музеем-заповедником — филиалом Кировоградского областного краеведческого музея, директором заповедника был внук Ивана Карповича Тобилевича Андрей Юрьевич Тобилевич — двоюродный племянник Арсения Александровича. Разница в возрасте была небольшой, так что детство они провели вместе.

Я позвонила Николаю Рафаиловичу Литваку, заведующему фотографией, услугами которой пользовался Музей, и попросила, чтобы кто-нибудь из фотографов поехал с нами и сделал несколько снимков на «Хуторе Надія» для Арсения Александровича. Николай Рафаилович изъявил желание поехать с нами. У него была своя машина, и мы двинулись в путь.

День уже шел на убыль. Была тихая теплая погода, за городом в поле пахло чабрецом. Арсений Александрович попросил остановить машину, вышел и низко поклонился украинской земле, на которой он родился. Сорвал несколько цветочков и травинок, вдохнул запахи поля и сказал: «Сколько лет я здесь не был». На глазах у Тарковского были слезы... Мы немного помолчали, затем сели в машину и поехали дальше.

Приехали в заповедник, Андрей Юрьевич был дома. Для него эта встреча также была неожиданной. Родные со слезами обнялись, расцеловались. Почему-то Андрей Юрьевич не пригласил нас в дом, с семьей не познакомил. Он вынес пышную паляницу, украинское сало и другую снедь, мы вынули свои припасы и вино. Уселись за стол под дубом, который посадил Марко Лукич Кропивницкий, выдающийся украинский театральный режиссер, выпили по рюмке за долгожданную встречу с Арсением Александровичем на его родине, вспомнили семью Тарковских и Тобиловичей, особенно Надежду Карловну, Александра Карловича и Ивана Карповича Тобиловича. Долго, тепло вспоминали Арсений Александрович и Андрей Юрьевич проведенные вместе годы.

Николай Рафаилович фотографировал их вместе и каждого отдельно, снимал виды музея-заповедника. Уже почти совсем стемнело, и мы собрались уезжать. Арсений Александрович предложил Андрею Юрьевичу поехать с ним в Кировоград, где в гостинице они могли бы вместе провести несколько дней. Сначала Андрей Юрьевич согласился, но километра через три попросил остановить машину, объяснив, что не может побыть с Арсением Александровичем в Кировограде по семейным обстоятельствам. Тарковский был очень опечален таким исходом встречи, и всю оставшуюся дорогу был немногословен. Подъехав к гостинице (остановился он в гостинице «Колос» на улице Ленина (бывший «Палас», бывшая Дворцовая улица), мы простились до следующего дня...

На второй день я была занята в обкоме партии на совещании, но Тарковский с фотографом ходили по Кировограду и разыскивали дома, связанные с жизнью его семьи в нашем городе. К сожалению, фотографий этих ни в музее, ни у меня нет, так как Н. Р. Литвак все фотографии и негативы выслал Арсению Александровичу.

А на следующий день мы простились, я уезжала в командировку, Арсений Александрович собирался в Москву.

Позже я получила от него бандероль, где была книга «Сорок девушек» в его переложении на русский язык с дарственной надписью: «Дорогой Елене Орестовне Ноземце-

вой от ее компатриота в знак искреннего уважения и в надежде на встречу в Кировограде. 12 августа 1956 года. А. Тарковский». А еще он подарил мне свою довоенную фотографию, где он снят с главным режиссером украинского музыкально-драматического театра им. Кропивницкого Н.Д. Станиславским.

Позже, будучи в Москве в командировке, по просьбе Арсения Александровича я посетила его на даче в Голицыне. Я привезла ему перепечатанные отрывки из книги «Красные вехи» о деятельности его отца в народовольческом кружке в Елисаветграде.

Арсений Александрович был болен, лежал в постели очень бледный, похудевший. Но даже в таком состоянии был очень внимательным и любезным. Он расспрашивал меня о Кировограде, интересовался благоустройством музея-заповедника «Хутор Надія», задавал вопросы о жизни Андрея Юрьевича. Я не стала утомлять Тарковского своим визитом и поспешила на электричку.

ШТРИХИ

Разбирая архив Александра Дейча, я нашла в его Дневнике такую запись (от 11 августа 1928 г.): «Вчера в редакцию приходил молодой человек романтически-байронической внешности. Арсений Тарковский. Принес стихи. Хотя они несовершенны, но проглядываются контуры большого поэта. С удовольствием беседовал с ним. Талантливый юноша и многообещающий...»

Александр Иосифович Дейч работал тогда в литературно-художественном журнале «Прожектор». У нас сохранилась подшивка этого журнала за 1928 г. В № 37 «Прожектора», посвященном 100-летию со дня рождения Льва Толстого, напечатано стихотворение Арсения Тарковского «Хлеб». Поэт считал, что это первая его публикация. До этого он печатался в газете (под псевдонимами) и в студенческом сборнике¹.

Так началась дружба Александра Иосифовича с Арсением Александровичем, продолжавшаяся многие годы. Я с Арсением Александровичем познакомилась уже после войны. Александр Иосифович курировал тогда в Гослитиздате Редакцию литератур народов СССР. В его кабинете на Ново-Басманной ул., 19, собиралось созвездие поэтов, которые не могли печатать свои стихи и вынуждены были заняться переводами национальной литературы по подстрочникам. Арсений Тарковский, Семен Липкин, Николай Заболоцкий, Марк Тарловский, Лев Пеньковский, Мария Петровых, Аделина Адалис, Клара Арсенова, Георгий Шенгели, Михаил Светлов, Михаил Зенкевич, Вера Звягинцева, Сусанна Мар... Трудно всех перечислить. Помню, как Александр Иосифович посоветовал Арсению Александровичу взять для перевода «Кыр Кыз» («Сорок девушек») — каракалпакскую эпическую поэму. Переводами Тарковский занимался с начала 30-х годов. Все помним его знаменитые строки:

Для чего я лучшие годы
Продаю за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова...

Над переводами Арсений Александрович работал долго и упорно, часто переделывая строфы, уточняя смысл и сохраняя восточную поэтическую форму. В процессе работы Ар-

сеней Александрович читал Александру Иосифовичу переведенные стихи, они долго обсуждали их. Меня поражает, как очень быстро, тут же Арсений Александрович придумывал два-три новых варианта или, как они шутя называли, «вероянта». На глазах в мертвый подстрочник вливался живой сок подлинной поэзии.

Действительно годы были потрачены поэтом на изучение национальных литератур. Арсений Александрович тщательно знакомился не только с подстрочником, но изучал историю народа, вникал в истоки его поэзии. У нас часто бывал, приезжая в Москву, узбекский писатель и ученый-востоковед Айбек.

Арсений Александрович дотошно расспрашивал его об эпосах, об узбекском и каракалпакском фольклоре. Просил его читать оригинал, вслушивался в ритмическое движение восточного стиха. В 1948 г. он поехал в Нукус — столицу Каракалпакии. Вернувшись, восторженно рассказывал, как он слушал ж р а у (исполнителя эпоса под аккомпанемент к о б ы з а). Арсений Александрович артистично имитировал это исполнение. Мне казалось, что он все знает об устном народном творчестве каракалпаков, об их героическом и лиро-эпическом эпосах... Эти глубокие знания и великий талант поэта дали совершенно удивительные плоды, приводившие в восторг и людей, знающих оригинал перевода. Крупнейший востоковед Евгений Эдуардович Бертельс, с которым Арсений Александрович познакомился у нас, расспрашивал поэта, как ему удалось так точно сохранить и передать дух подлинника. Арсений Александрович, как сейчас помню, смеясь, ответил: «Из кувшина может вылиться только то, что в нем есть...» Да, Тарковский был выдающимся мастером поэтического перевода. И повезло тем национальным литературам, переводами которых занимался поэт. За перевод эпической поэмы «Сорок девушек» Арсений Александрович Тарковский был удостоен в 1967 г. Государственной премии им. Бердаха в Каракалпакии, а позже получил и Государственную премию им. Махтумкули Туркмении.

В многолюдье нашего дома Арсений Александрович особенно выделял Марию Петровых, с которой у них была давняя дружба, Веру Звягинцеву² (у нее дома мы часто встречали Арсения Александровича; он любил ее стихи и цитировал:

Когда живешь ты на просторе
И чувств не держишь под замком —
Чужие радости и горе
Становятся твоим стихом...),

Ольгу Грудцову³, — ей с охотой помогал во всех бедах и жизненных неурядицах, и Дзигу Вертова⁴. Мы тогда жили в Большом Каретном переулке, а рядом, в Лиховом переулке, в киностудии документальных фильмов работали Дзига Вертов и его жена Елизавета Игнатьевна Свилова. Часто они заходили к нам во время обеденного перерыва. Однажды бывший у нас Арсений Александрович так приветствовал появившихся Вертовых:

Счастливым ветром
Занесен Вертов
И с ним друг милый — Лизавета,
Как долго длилось расставанье,
Как сладко новое свиданье...

Дзига и Арсений Александрович особенно чувствовали оригинальность мышления друг друга. Беседа их касалась разных тем — от поэзии до группы «киноков», от современных фильмов и журнала «Кино-Правда» до Брехта и Чаплина. Дзига не раз говорил нам, что Арсению надо было заниматься киноискусством, что он создан для кино. То же, между прочим, утверждал и вернувшийся из ссылки Алексей Каплер⁵, который встретил у нас Арсения Александровича.

Помню, как горевал Арсений Александрович, когда в феврале 1954 г. скончался Дзига Вертов, и написал стихотворение, посвященное этому горестному событию. Оно не было опубликовано, но, может быть, сохранилось в архиве поэта.

Чем бы ни занимался Тарковский, он всегда достигал высшей степени профессионализма. Будь то астрономия или музыка, или живопись, не говоря уже о поэзии. Презирал дилетантов. В этом они особенно сходились с Александром Иосифовичем. Он рассказал Арсению Александровичу о том, как один из поэтов, переведя по подстрочникам стихи азербайджанского поэта начала XVIII века Вагифа, принес их Александру Иосифовичу, который забраковал переводы. Тогда тот говорит: «Вот вам не нравятся мои переводы, а сам Вагиф сказал, что можно печатать». Оказывается, он принял за Вагифа молодого консультанта по азербайджанской литературе. Арсений Александрович долго хохотал. С тех пор у них было определение дилетантского перевода: «Это же Вагиф...»

Арсений Александрович был глубоко знающим библиофилом. Книгу он знал, любил, сразу же определял ее ценность. Один раз в Книжной лавке писателей услышала, как продав-

щица сказала: «Надо эту редкую книгу подальше спрятать, я ее уже обещала, а то придет Тарковский и тут же заберет».

У него был намётанный глаз библиофила. Упустить раритетное издание он не мог и не хотел. Встретила я его как-то в той же Книжной лавке писателей. Он сиял, глаза радостно блестели: «Какое счастье, я купил полную энциклопедию Брокгауза и Ефрона, первое издание». И тут же пояснил: «Ведь второе издание этой энциклопедии не было окончено из-за начавшейся мировой войны. Оно дошло только до 29-го тома. А тут все 82 тома. Теперь буду меньше вам надоедать». (У нас было это издание). Сели в такси. Арсений Александрович через некоторое время помрачнел. Я спросила, что случилось, почему такая тревога на лице. Он говорит: «Я ведь пошел за гонораром в Гослитиздат (он тогда помещался в Б. Черкасском переулке), потом спустился на Кузнецкий, чтобы посмотреть книги в Лавке. И тут весь гонорар отдал за энциклопедию. Назревает конфликт с Татьяной. Надо что-то придумать». Через некоторое время: «А что, если я пока у вас оставлю эти пачки?» Так и сделали. И довольно долго Арсений Александрович заходил, поглаживал пачки книг и говорил: «Скоро, вот уже скоро я вас приму у себя...»

А как тщательно он собирал литературу по Древнему Риму! Александр Иосифович долгие годы преподавал в вузах историю западноевропейской и античной литератур, и у нас было большое книжное собрание по этим предметам. Арсений Александрович собирался писать поэму о Калигуле. Когда разговор заходил о Тиберии и его внуке Калигуле, то обычно продолжался многие часы. Собеседники как бы от всего отключались и жили уже в Древнем Риме. Можно было спокойно уйти по разным делам на несколько часов и, придя, услышать продолжение их беседы. Жаль, что сейчас сам жанр беседы у нас утрачен. Он принял монологический характер. Потеряно умение слушать собеседника, развивать его мысли или полемизировать с ними. Вот Тарковский и Дейч, на мой взгляд, были совершенными собеседниками. Как они умели слушать друг друга, подхватывать и развивать мысли друг друга! К сожалению, поэма о Калигуле не была написана, хотя отдельные эпизоды Арсений Александрович читал у нас.

...Это было в декабре 1967 года. Мы с Александром Иосифовичем Дейчем живем уже на ул. Черняховского, 4, в писательском доме, где много друзей. Среди них Арсений Александрович Тарковский. Он любил заходить к нам «на огонек», поговорить с Александром Иосифовичем (он звал его Александр Осипович), прочитать только что написанное или переведенное стихотворение, узнать об украинских но-

востях (оба — уроженцы Украины). Со многими украинскими поэтами Арсений Александрович познакомился в нашем доме, особенно подружился с Максимом Рыльским⁶, который многое сделал для восстановления после войны музея-заповедника «Хутор Надія» И. Тобилевича (Карпенко-Карого), родственника Арсения Александровича. Высоко ценил стихи Леонида Первомайского⁷, дружил и переписывался с ним, Ивана Драча⁸ и Дмитра Павлычко⁹. Позже ездил в Киев. Там у него были друзья, особенно поэтесса Евдокия Ольшанская, которая устраивала Арсению Александровичу встречи с поэтической молодежью Киева.

...В то время у нас гостила югославская переводчица русской современной литературы и ее исследовательница — Милица Николич. Неожиданно приходит Арсений Александрович с только что приобретенной редкой книгой. Легко можно себе представить радость Милицы Николич, начавшей заниматься творчеством Арсения Александровича Тарковского. Возникла шумная беседа на разные темы. Милица посоветовала на то, что нигде не могла найти точных биографических данных о поэте. Арсений Александрович: «Это поправимо. Если Евгения Кузьминична даст мне сейчас бумагу и ручку, я пойду в кабинет Александра Осиповича и напишу». Через некоторое время Арсений Александрович принес страницы, написанные его характерным, крылатым почерком. Я шутливо сказала: «Совершилось событие — поэт Тарковский в доме Дейчей написал автобиографию. Оригинал должен оставаться в этом доме. Я перепечатаю, и Вы подпишите для Милицы». Возражений не было. Так публикуемая ниже автобиография Арсения Александровича Тарковского осталась в архиве Александра Иосифовича Дейча.

«Я, Арсений Александрович Тарковский, родился в Елисаветграде, уездном городе Херсонской губернии (теперь Кировоград, Украина), в семье революционера, бывшего члена партии «Народная воля», после революции получавшего персональную пенсию, как бывший политический заключенный. Произшло это в 1907 году, 25 июня. Таким образом, когда разразилась революция, мне было 10 лет. У меня был брат, Валерий, который был старше меня на три с половиной года, но эта разница оказалась для него весьма существенной — в 1917 году у него уже сложились политические взгляды, вероятно под влиянием отца; настало время гражданской войны, он стал ее чрезвычайно активным участником, и был убит в своем одиннадцатом бою (против банд Григорьева) в мае 1919 года (ему было тогда 15 с половиной лет).

На Украине среднее образование было представлено единой трудовой семилетней школой. Я окончил одну из таких школ в Елисаветграде и покинул родной город. Несколько лет я скитался по Украине, Крыму и России, перепробовал разные профессии, а к середине 20-х годов обосновался в Москве. Здесь я учился в двух-трех литературных вузах, но не окончил ни одного из них: не сдал выпускных экзаменов из-за болезни легких. В Москве я женился, у меня двое детей, из которых старший, быть может, известен Вам как кинорежиссер, лауреат венецианской премии — «Большого льва», Андрей Тарковский.

Приехав в Москву, я не мог бы просуществовать, всерьез учась и аккуратно посещая лекции, если бы Фонд молодых дарований им. Горького при Гос. издательстве не решил выдавать мне, в числе некоторых других молодых поэтов, ежемесячную стипендию. Получал я ее года два, пока не занялся писанием стихотворных фельетонов для широко известной тогда газеты «Гудок». После этого я много писал для радио (пьесы и очерки — по возможности в стихах, так мне было легче) и даже для театра. Об этом не следовало бы упоминать, потому что, пожалуй, то, что я писал, не обладало никакими художественными достоинствами. Работал я в ту пору и как «Старший инструктор-консультант по художественному радиовещанию» и занимался исследовательской работой в каком-то институте при Всесоюзном радио. В 1932 году я расстался с радиокомитетом во всех своих ипостасях и взялся за стихотворный перевод. С тех пор перевел я очень много: трех старших туркменских классиков (Махтумкули, Камине, Молланепеса), каракалпакскую народную поэму «Сорок девушек», много стихотворений грузинских классиков и наших современников (в том числе моего дорогого покойного друга Симона Чиковани), армянских (Саят-Нова, Чаренц и др.) и проч. Всего перевел я более восьмидесяти тысяч строк стихов.

С 1941 по декабрь 1943 — я на войне, в редакции армейской газеты 11-ой гвардейской армии. Моя военная служба закончилась до окончания войны: я был тяжело ранен, мне ампутировали ногу. Я снова взялся за переводы.

Стихи я пишу с детства, — не помню времени, когда их не писал. В детстве над моими стихами смеялись все поголовно, кроме товарища моего отца по ссылке — врача, доктора А. И. Михалевича¹⁰. После Лермонтова, однотомник которого мне подарили, когда мне было шесть лет, вторым моим поэтом был открытый для меня А. И. Михалевичем Григорий Сковорода; его знают как философа, как прекрасного поэта его не знает почти никто.

Хоть жили мы на Украине, и отец мой был воспитанником украинского драматурга И. К. Тобилевича (Карпенко-Карого), женатого первым браком на моей тетке Надежде, родным нашим (и, конечно, моим) языком был русский. Отец мой писал очерки, в свое время печатавшиеся в «Русском богатстве», редактировавшемся Короленко. домашние стихи — «серьезные» и смешные, с картинками, переводил стихами с итальянского, английского, французского, немецкого, греческого и латыни — для себя. Он любил занятия языками, и в конце жизни, занимался даже древнееврейским, что в те времена было редкостью среди русских. Он умер в 1924. Мать моя тоже увлекалась изучением иностранных языков и знала их несколько.

В печати свое имя я увидел в 1926 году (в газете я подписывался несколькими псевдонимами). Это был студенческий сборник. Я не помню наверное, но, кажется, это печатание не вызвало у меня никаких особых переживаний. Подобные столь часто описываемым. Первый гонорар за свои стихи я получил в 1928 году. Мои стихи напечатал в журнале «Прожектор» работавший в его редакции милый и добрый А.О.Дейч. Стихи были плохие, хорошим был Александр Осипович.

В периодике до войны 1941 года было напечатано очень мало моих стихов. А переводов — очень много. Кое-кто из друзей советовал мне издать мои стихи под видом переводов, но я на это не пошел не столько из-за чрезмерного авторского самолюбия, сколько из-за полнейшего равнодушия ко всякого рода авантюризму.

В 1946 году издательство «Советский писатель» решило издать мою первую книжку, но не успело сделать этого. После всех корректур она была снята с производства. Это было следствием известного постановления о ленинградских литературных журналах, хотя к ним ни я, ни мои стихи не имели никакого отношения.

Наконец в 1962 году вышла (в этом же издательстве) «первая» книга моих стихов «Перед снегом». По ее поводу написано довольно много статей и рецензий, опубликованных в газетах и журналах.

В 1966, в том же издательстве — вторая книга стихов — «Земле — земное». Она также одобрительно была встречена критикой. Ряд стихотворений из нее был переведён на несколько иностранных языков.

Теперь я готовлю к печати сборник избранных из этих двух книг стихотворений с добавлением новых, написанных после выхода двух книг из печати. Многие из них были опубликованы в периодике.

С глубокой сердечной благодарностью я вспоминаю прекрасных русских поэтов, с которыми судьба связала меня более или менее близким знакомством: О. Э. Мандельштама, Э. Г. Багрицкого, А. А. Ахматову, М. И. Цветаеву, Н. А. Заболоцкого и многих других. Также очень много дали мне знакомство и дружба с художниками и музыкантами, любовь к их искусству. И еще к астрономии, занятиями которой я предавался с детства до недавнего времени.

Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч...

Я люблю также общественную работу (секция переводчиков Союза писателей, Студия молодых авторов при Союзе, Совет по художественному переводу СП СССР, а ранее я работал в Центральном совете Всесоюзного астрономо-геодезического общества).

Но главное для меня — это поэзия, которую я понимаю как житнетворение (это требует, конечно, разъяснения — но для него нет здесь места).

Декабрь 1967

Арсений Тарковский».

К нам часто из Ленинграда приезжала вдова поэта Бенедикта Лившица¹¹ — Екатерина Константиновна. Александр Иосифович, знавший поэта с молодых киевских лет, помогал Екатерине Константиновне в хлопотах по реабилитации расстрелянного Бенедикта Лившица, по изданию его книги «Полутораглазый стрелец», его прекрасных переводов. Екатерина Константиновна мечтала о вечере памяти погибшего мужа. И тут охотно подключился Арсений Александрович. Секция переводчиков Союза писателей устроила вечер, посвященный творчеству Бенедикта Лившица, который подготовил Арсений Александрович. Он председательствовал, выступали Павел Антокольский, Александр Дейч, Вильгельм Левик, Мария Петровых, Вера Звягинцева и другие. Арсений Александрович, готовясь к вечеру, взял у нас и «Полутораглазый стрелец», и переводы Бенедикта Лившица французских, грузинских и украинских поэтов. Проникновенно на вечере читал стихи и переводы Бенедикта Лившица, аналитически представлял их присутствующим поэтам и переводчикам. До сих пор слышу звучание голоса Арсения Александровича, читающего стихи из раннего сборника Б. Лившица «Флейта Марсия». В древнегреческом мифе рассказывается о том, как разгневанный Аполлон Кифаред

приказал содрать кожу с Марсия, дерзнувшего состязаться с ним.

Да будет так. В залитых солнцем странах
Ты победил фригийца, Кифаред.
Но злейшая из всех твоих побед —
Неверная. О марсиевых ранах

Нельзя забыть. Его кровавый след
Прошел века. Встают, встают в туманах
Его сыны...

Арсений Александрович вдохновенно произносил эти строки...

Он был исключительно отзывчивым на чужое горе. Помню, узнав о кончине Александра Иосифовича (8 апреля 1972 г.), тут же пришел ко мне, несмотря на простуду и температуру. Каким трагическим голосом он произнес: «*Sic transit gloria mundi*».

Он мне очень помогал в создании Комиссии по литературному наследию Александра Иосифовича Дейча, в проведении вечеров его памяти, где он не раз выступал.

Вскоре Тарковские переехали из нашего дома, обменяв квартиру. Арсений Александрович тосковал, все ему не нравилось. «Единственная радость — шахматы. Иногда играю сам с собой...», — как-то он мне сказал по телефону. Летом они долго жили в Доме творчества в Переделкине. С Ольгой Грудцовой и Лизой Метельской (актрисой, вдовой актера Осипа Абдулова) я навещала Тарковских. И хотя Арсений Александрович шутил, рассказывал забавные эпизоды из переделкинской жизни, во всем его облике была какая-то тревога. На вопрос, как ему живется в Доме творчества, ответил: «Дом есть, творчества нет. Чувствую себя на сцене, где никогда не закрывается занавес. Не из приятных ощущений...»

А когда Тарковские переехали в Дом ветеранов кино в Матвеевском, Арсений Александрович особенно мучился и скучал по своей библиотеке, по фонотеке. «Жизнь на бивуаке...», — сказал он мне по телефону. О последних годах жизни Арсения Александровича много написано, не хочется повторяться.

...Незадолго до кончины великого нашего певца Ивана Семеновича Козловского, я была у него. Он говорил тихим, хриплым голосом: «Хорошо, когда после ухода остаются надежные потомки». Я вспоминаю эти слова Ивана Семеновича, когда вижу литературно одаренную дочь поэта, Мари-

ну Арсеньевну. Она проводит огромную работу по изучению литературного наследия Арсения Александровича, генеалогического древа незаурядной семьи Тарковских, по изданию книг отца. Нельзя не восхищаться Мариной Арсеньевной, читая ее талантливые рассказы и очерки. Да поможет ей Бог! А жизнь Арсения Тарковского продолжается в его поэзии, в звучании ее для новых поколений.

О НАШЕМ ДРУГЕ

Я не помню сейчас, как и когда мы, мой муж писатель Лев Славин и я, познакомились с Арсением Тарковским. Знаю только, что мы стали друзьями, близкими друзьями, которые могли говорить обо всем в то страшное, преступное, произвольное время. Мы тогда не выбирали друзей, а просто на серьезные темы ни с кем не разговаривали — со знакомыми ходили в театры, в концерты, танцевали, играли в карты, почему-то с Арсением у нас сразу сложились такие отношения, что мы не задумывались о том, что говорили.

Арсений, наш Арсений, которого мы знали до войны подвижным, живым, всем интересующимся, прыгающим с ветки на ветку — мы его прозвали «воробушек» — пришел с фронта без ноги. Горько было видеть его инвалидом, но это был наш Арсений.

В начале 50-х он нас познакомил со своей новой женой Татьяной Озерской. Она водила их машину, занималась издательскими делами Тарковского.

Помню, как однажды они пришли к нам на дачу в Переделкине — жили мы на одной территории с Домом творчества. Арсений был тогда не на протезе, он был ему тяжел, а на костыле. В этот вечер мы поссорились из-за одного нашего общего друга, поэта. Тарковские ушли. Когда я поглядела в окно, то увидела, что Арсений стоит у дачи и смотрит на наше окно. Он стоял на мокрой траве, нога у него была босая. Лев Исаевич выскочил, и подложил ему под ногу носовый платок. Они поговорили, Арсений постоял еще немного и ушел. Я никогда не забуду этот носовой платок, оставшийся на мокрой после дождя траве...

Прошло какое-то время, и мы встретились на «водопое». «Водопоем» называлась среди писателей касса в ВААПе. Муж получал деньги за спектакли по своим пьесам, а я — маленькие гонорары за постановки концертных программ. В небольшой очереди впереди нас стоял Арсений Тарковский. Вдруг он обернулся к мужу и спросил: «Зачем Вы придумали, что я не знаю русского языка?» «Арсений, — ответил Лев Исаевич, — если бы я хотел сказать о Вас гадость, то придумал бы что-нибудь более правдоподобное». Тогда Арсений бросился ему на шею, муж обнял его. Они подошли ко мне. Мы обнялись, расцеловались, я плакала.

С тех пор мы никогда больше не расставались.

Время, как я уже говорила, было трудное, и рядом с нами почти не было людей, которым бы мы абсолютно доверяли. С Арсением можно было говорить обо всем, мы были единомышленники и если с ним спорили, то только о поэзии и о поэтах.

Арсений вдруг увлекался каким-нибудь слабым поэтом, начинал превозносить его стихи. Это нас страшно возмущало, и мы это ему высказывали. Других поводов для спора у нас не возникало.

Мы дружили, а дружба — это удивительная вещь. Это, как в браке бывает — проходит первое ощущение радости, оттого, что мечта осуществилась, а потом возникает чувство, что это твое, родное. Так и в дружбе с Арсением — мы были необходимы друг другу.

В Доме творчества бывало так, что муж работает и вытряхивает нас обоих из комнаты. Тогда мы брали карты, шли под куст и играли в подкидного дурака. Однажды старая мать известной переводчицы, проходя мимо, сказала: «Двое молодых людей играют в карты под кустом! Не знаю... В наше время...» «А что Вы делали в Ваше время?» — спросил Арсений. «Скакала по полям!» Мы оба долго хохотали, представляя, как эта дама скачет по полям. В Переделкине мы вместе гуляли, сидели вместе за столом, болтали обо всем на свете. Трѣп был по поводу чего угодно — по поводу блюд, которые нам подавали, по поводу прочитанных книг, общих знакомых.

Арсений был удивительный человек. Это был ребенок, иногда капризный, иногда подозрительный, но всегда очаровательный — и в шутливом и в серьезном. Он был прям и абсолютно неспособен ко лжи. Да, он был ребенок, но у этого ребенка были страсти взрослого человека. Страсти серьезные. Стѣклышки на его письменном столе были объектами астрономических приборов. Он знал небо, любил астрономию, и, как я потом узнала, астрономы считали его серьезным сотрудником в этой области. Он великолепно знал историю, литературу. Он много знал, но никогда этого не демонстрировал. Он был очень умен и был прекрасным поэтом. Очаровательнее, прелестнее этого человека я не знаю. Конечно, тот поэт, из-за которого у нас возникла та давнишняя ссора, снова стал его другом.

Я очень жалела, что Арсений оставил свою первую жену. Я знала их сына, Андрея. Арсений и Андрей шутили совсем одинаково, одинаково хулиганили в шутках. Помню, как мы с мужем пришли в Клуб писателей. Муж подошел к стойке, я сидела за столиком. Вдруг официант приносит мне бокал

вина и розу. Я подумала: «Ага! Арсений и Андрей тут!» Оборачиваюсь и вижу — они! Сидят, ухмыляются...

С Андреем я познакомилась после «Зеркала». Меня этот фильм поразил. Я думала о Марии Ивановне, о замечательной матери Андрея и Марины. Она была красива, обаятельна, прелестна. И я не уверена в том, что Арсений в какие-то моменты жизни не жалел, что оставил родного ему человека. В «Зеркале» я увидела это семейное несчастье, страдания Марии Ивановны, страдания Андрея. Арсений очень любил своих детей, гордился внуками. Я убеждена, что он не порывал внутренней связи со своей первой семьей...

В конце декабря 1986 года я была в Доме творчества в Переделкине. Помню, Арсений играл в шахматы в нижнем вестибюле. Татьяну Алексеевну позвали к телефону — ей сообщили о смерти Андрея... Арсений тяжело перенес это горе. Через три года не стало и его. На панихиде по Арсению в Доме литераторов мне стало плохо, меня увезли домой. И Лева и я — мы его очень любили...

ЗВЕЗДОЧЕТ

...Для того, чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать.

А. И. Герцен

Надписи на книгах:

«Гале и Толе Аграновским с любовью и двумя выправленными опечатками.

1.VII.1962 г. *А. Тарковский*».

(«Перед снегом». Издательство «Советский писатель», 1962 г.)

«Галечке, Толечке Аграновским с любовью.

15.II.1967 г. *А. Тарковский*».

(«Земле — земное». Издательство «Советский писатель», 1966 г.)

«Дорогому Толечке на добрую память об его старом друге — с пожеланием счастья.

А. Тарковский. 21.8.69 г.».

(«Вестник». Издательство «Советский писатель», 1969 г.)

Тарковские приехали! — эту новость сообщил за завтраком Михаил Аркадьевич Светлов. Общее радостное оживление, вопросы: как они? поездом? самолетом? как чувствует себя Арсений?.. Еще не увидев Тарковских, увидела я симпатию и доброе расположение к ним.

Это 1950 год, август месяц, курортное местечко Мардакяны под Баку. Здесь поселили московских писателей, принимавших участие в подготовке Азербайджанской декады в Москве.

Стихи Тарковского я слышала, их читали часто поэты Шубин, Межиров, Коваленков. Знала, что он потерял на фронте ногу, ходит на костылях. Знала, что печатается редко, зарабатывает переводами («...Ах, восточные переводы, как болит от вас голова...»), что у него красивая жена, переводит английскую прозу.

К обеду пришли Тарковские, сели близко от нас, за соседний стол. Какими же я увидела их тогда, 39 лет тому назад? Первое впечатление, оно же и последнее, вернее последующее на многие годы вперед. Эффектная, эlegantная Татьяна Алексеевна, стройная, спортивная фигура, манеры «дамы из общества». (Наш друг Олег Писаржевский сказал о Тане: «Красота женская — понятие относительное, а вот порода — это бесспорно. В Тане порода чувствуется и на расстоянии, и при близком знакомстве...»). Арсений Александрович очень красив, смуглый, голубоватые белки узких глаз, высокий лоб, темные, гладкие волосы, брови «вразлет» с изломом, скорбный рот. Двигается, несмотря на костыли, легко и быстро. Летучая походка. Пристроил костыли за своим стулом неловко, они упали к моим ногам. Легко вскочил, поднял с извинениями: «Прошу прощенья!»

В тот немислимо жаркий август (+50° в тени) мы успели только познакомиться. Через неделю Тарковские уехали в горы на дачу к азербайджанскому поэту, которого переводил Арсений¹.

Подружились и сошлись близко через три года. Толя зимой работал в Голицыне, в Доме творчества. Тарковские почти постоянно жили на даче. Дача — сильно сказано: полдома с маленькими комнатками и крохотным участком. Я приезжала к мужу несколько раз в тот месяц. Тарковские столовались в Доме творчества. Вечера мы проводили у них. Это был удивительный дом, где собирались удивительные люди, чистые духом и совестью... Казалось, сама природа производила естественный отбор к приобщению с Тарковскими. Разговоры откровенные обо всем, о чем болела душа. А год был 1953 и до марта месяца, смерти хозяйина страны, оставалось время на страх перед собеседником за неосторожное слово. А вот в доме Тарковских никто не боялся, такое было доверие к хозяевам, гостям. Теплым делали дом и дети: Марина, Андрей — дети Арсения, Алеша — сын Тани. Некоторое время мы не знали, что дети не общие, все они казались похожими и на Арсюшу, и на Таню. Все трое были влюблены в Арсения. (Как-то мы возвращались с Андреем на электричке в Москву из Голицына и он сказал: «Удивительно, как это ни одна женщина не утопилась от неразделенной любви к моему отцу!») Культ Арсения создавала

Таня, оставаясь в тени. Арсений был центр, бог дома, Таня теневой и в то же время главной хранительницей очага.

В тот год мы ждали нашего первенца, Алешу. Вот записка Арсюши, написанная мне в роддом: «Дорогая Галушка! Наше семейство восторженно поздравляет Вас с рождением сыночка и желает Вам, ему и Толе счастья, здоровья и благополучия. Я так и думал, что будет мальчик. Пусть он растет умный, здоровый и добрый. Крепко целую Вашу ручку. Таня Вас крепко целует.

Арсений и Таня.

Цветы к Вам не пустили, мы отвезли их к вам домой, пусть Толе будет еще одна забота — поливать.

Род. дом Грауермана, родовая палата.

23 июня 1953 г.»

Впоследствии Арсений попенял мне: «Что бы вам потерпеть два дня до 25 июня, был бы у нас с Алешей общий день рождения». Из записки мужа в роддом: «...Арсюша, узнав, что хотим назвать сына обязательно на «А», предлагает — Алеша...» Так и вышло — бросили в кепку Толи несколько имен на «А» — вытащили бумажку с именем — Алеша! Арсений был в восторге. В доме нашего старшего сына по сей день сохранился подарок «дяди Арсюши» — плюшевый мишка, любимая игрушка Алеши, потом его дочки Маши...

Лето 1956 года мы проводим с Тарковскими вместе, не разлучаясь, в Голицыне. В мае родился у нас второй сын, а за месяц до этого Тарковские сняли нам комнату с верандой неподалеку от себя. Удобство было еще и в том, что нам разрешили брать обед на дом. Похлопотали перед милой хозяйкой Дома творчества Тарковские. Накануне нашего переезда позвонил Арсений, спросил, когда мы прибудем, и, смеясь, сообщил, что хозяйка снятого нами жилища, узнав, что я родила сына, сказала: «И у нас корова отелилась и тоже бычка принесла...»

То погожее лето было чудесным во всем. «Оттепель» в стране. Разговоры о тех, кто уже вернулся, кто вот-вот вернется. Слово «реабилитация» не сходило с языка. Настроение у всех приподнятое. Даже Арсений, настроенный всегда скептически, на наши мажорные надежды на будущее, бормотал: «Дай-то Бог, дай-то Бог!» В литературных делах его ничего не изменилось — все те же переводы. И множество стихов, читанных нам, прекрасных, только через шесть лет выйдут в небольшой книжке «Перед снегом». В аннотации сказано: «Арсений Тарковский, широко известный переводчик предстает в книге «Перед снегом» как оригинальный поэт...» Вот так-то, «оригинальный» и не более... Тираж — 6 тысяч экземпляров!

За всю нашу долгую дружбу никогда мы не слышали от Тарковского жалобы, что вот «не издают, не печатают». Страдал ли он от этого? Думаю, что да. Гордость не позволяла показать это, чувство собственного достоинства. Радовался ли, когда держал в руках только что изданную книжку собрата по перу, талантливого и достойного? Очень! Чувством зависти не был замутнён.

Любя Толю, не помню, чтобы позвонил и похвалил напечатанный очерк Аграновского, поскольку не читал публицистики, газет. От силы мог сказать, что: «Таня прочла, Толечка, твой материал в газете. Говорит, что хороший. Поздравляю!» Один только раз было исключение, подтвердившее правило. Из записной книжки мужа 1973 года: «...Очень меня растрогал звонок Арсюши. Говорит, что прочел мой «Вишнёвый сад» (кто-то ему посоветовал прочесть) и плакал. Растрогал и расстроил. Оказывается, у Брехта, он оговорил, что поэта этого не любит, есть замечательное стихотворение — «Мальчишка, воровавший вишни». Я нашел это стихотворение. Вот был бы эпиграф к очерку!..»

Стоит этот сборник Брехта на книжной полке с закладкой Толи, память об Арсении и Толе...

В то лето 56-го года у мужа была задумана серия очерков о молодых ученых, талантливых, «незаменимых». Его давно мучила чудовищная формула «у нас в стране незаменимых нет». Впоследствии выйдет книжка очерков «Незаменимые», а тогда он только подбирался к этой теме. Разговаривая об этом с Тарковским, он нашел по его подсказке первого героя. Приведу начало очерка:

«Это было прошлым летом. Поэт Арсений Тарковский пригласил меня к себе в Голицыно смотреть звезды. Он давно уже увлекался астрономией и чуть ли не все свои заработки тратил на покупку телескопов. Мы вытащили во двор одну из его таинственных труб, и он принялся шарить по темному небу. Потом и я был допущен к окуляру. Зрелище было сказочным. Светлой капелькой висел по тьме серп Венеры, на Сатурне и впрямь оказались кольца (они всегда казались мне немного «сочиненными»), луна заняла полтелескопа, и горы на ней можно было потрогать рукой. Владелец трубы показывал мне планеты и звезды с таким видом, будто он и сам причастен к их созданию. У него с ними были какие-то сложные отношения. Некоторые звезды он очень любил, другие, мне кажется, недолюбливал. Он чуточку играл со звездами, и было в этом увлечении зрелого человека что-то милое, мальчишеское.

Пережду я очередь земную,
Поверну я азбуку стальную:
А 13-40-25
— Золотая, это я опять...

Запоет мембрана телефона,
Отвечает Альфа Ориона:
Хорошо, что я теперь звезда,
Я тебя забыла навсегда.

Я теперь денница сестрица,
Я тебе не захочу присниться,
До тебя мне дела больше нет,
Позвони мне через триста лет².

Я спросил поэта, есть ли какая-нибудь польза от наблюдений любителя. Для науки, не для поэзии. Он ответил, что да, есть польза, именно для науки. Я спросил, много ли любителей в нашей стране. Да, очень много, тысячи. А какая все-таки польза?.. Кажется, он обиделся. Начал рыться в каких-то пухлых справочниках, нашел то, что искал:

— Вот, читайте.

И я в «Реферативном журнале» Института информации Академии наук СССР (№ 10, 1956 год) прочитал:
«КОМЕТА ЧЕРЕПАЩУКА. Сообщается, что Черепашук открыл комету в следующем положении: 1956, марта 30, от 0 всемирн. времени...»

— Кто этот Черепашук? — спросил я.

— Любитель.

— Как же он открыл свою комету?

— Повезло...

Насладившись своим торжеством, мой друг и выложил на стол пачку писем. Это были письма того самого Черепашука, который открыл комету. Письма Тарковскому и еще одному любителю астрономии, Михаилу Сергеевичу Навашину, крупному знатоку оптического приборостроения, по специальности биологу.

Итак, письма:

«Город Сызрань, 28 января 1956 г.

Здравствуйте, дорогой товарищ Тарковский!

Сегодня получил Ваше письмо, после которого все еще не могу прийти в себя от радости. Не знаю, как я смогу выразить Вам мою благодарность за оказанное доверие и веру в человека. Ваше письмо было для меня

огромной моральной и технической поддержкой. После моей катастрофы, когда у меня лопнул при шлифовке диск, я совсем не знал, что делать дальше. Я только знал, что наперекор всему должен исправить роковую ошибку и построить телескоп. И вдруг я получаю Ваше письмо, в котором Вы пишете, что узнав о моей беде, хотите помочь...»

«6 февраля 1956 г.

Здравствуйте, дорогой Арсений Александрович Тарковский!

Посылку Вашу с двумя дисками диаметром 210 мм получил. Мне давно хочется, чтобы от меня была какая-то польза науке, поэтому я с большой радостью прочитал Ваше предложение вступить в члены Всесоюзного астрономического общества. Напишите, пожалуйста, что я должен буду делать как член Общества. Можно ли мне заниматься одновременно наблюдением комет и переменных звезд? Если нельзя, то мне придется наблюдать только переменные звезды. Они и кометы очень интересуют меня. Летом я, видимо, поеду к бабушке на Украину и проездом буду в Москве. Постараюсь заехать к Вам в Голицыно, мне очень хочется увидеть Вас и настоящие астрономические инструменты. Поэтому я очень благодарен Вам за приглашение.

А пока до свидания.

Благодарный Вам А. Черепашук».

«Город Сызрань, 5 апреля 1956 г.

Дорогой Арсений Александрович!

У меня произошло большое событие. Если только это не иллюзия и не какой-нибудь блик в окуляре, то я открыл новую комету. Дорогой Арсений Александрович Тарковский, если у вас в Москве ясно, то наблюдайте, пожалуйста, за кометой и как можно скорее сообщите все данные мне, я сравню с моими ...

А пока до свидания. Жду нетерпеливо Вашего письма.

С комсомольским приветом

Анатолий Черепашук».

...Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга,
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.

Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны...

...Из миллиона вероятий
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло,
Твое заветное число.

Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой».

В истории с мальчиком из Сызрани весь Арсений — доброта его, благородство души, участие в судьбе даже незнакомого человека. На себе мы испытали в полной мере: «...Когда тебе придется туго, найдешь и сто рублей и друга...» В то лето в Голицыне заболел дизентерией наш Алеша, надо везти в Москву в больницу, а на руках у меня месячный Антон. Тарковские дозвонились в Москву Толе, чтобы он хлопотал о больнице. За руль садится Таня, больная — у нее очередной приступ печени, рядом с ней Арсений с грудным Антоном, сзади я с обессиленным за ночь Алешей. Костылей Арсений не берет, нужны свободные руки нести ребенка. Пристегивает протез на воспаленную культю, незадолго до этого лежал в больнице с очередной операцией. И всю дорогу они утешают меня, подбадривают: «Все обойдется, даст Бог, все будет хорошо, вот увидишь!..» Как забыть такое, как не помнить по сей день?! И сколько раз мы слышали от них: «Денег не нужно ли, у нас есть, ей Богу есть!» Есть-то есть, но в деньгах они не купались, все что зарабатывалось — тратилось. На врачей, болели часто оба, на дачу, жили они в Голицыне почти постоянно. Тогдашнее жилище в Москве в Варсанофьевском переулке было в мансарде, без лифта (при Арсюшиных костылях-то!), на машину, необходимую при инвалидности Арсения. Были еще и дети, трое — Андрей, к тому времени студент, школьники — Марина и Алеша³. И они не святым духом питались. А из роскошеств, которые позволялись, — астрономические приборы. Не слишком дорогое увлечение, если из него случились стихи: «Звездный каталог», «Из окна», «Телец, Орион, Большая Пес», «Луна в последней четверти»...

Все это «хозяйство» держалось на плечах Тани — она и шофер, и повариха⁴, и мать, и жена поэта, что само по себе

трудная профессия, и между всем этим еще и литератор-переводчик, зарабатывающий на хлеб насущный. Частушка — «я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик» не о крестьянке только, но и к элегантной горожанке Татьяне Алексеевне Озерской-Тарковской применительна вполне. Сколько раз, позвонив Тарковским, слышала я от Арсения: «Танечки нету дома, она поехала доставать лекарства мне... на протезный завод... повезла в издательство мои переводы и взять подстрочники... за продуктами...» Когда же она сидит за письменным столом? А переводила она Твена и Причард, Хемингуэя и Митчел, Диккенса, Дж. Лондона, О. Генри, Хейли... На чудесной книжке Марка Твена «Письма с земли» ее дарственная надпись: «Моим дорогим Галочке и Толику забавную эту книжку для чтения на сон грядущий. Таня. 1963 год.». Арсений часто нездоров — желудок, нога, натертая протезом, руки, плечи, натруженные костылями...

Из письма мужа мне из Переделкина: «...Тарковские еще не уехали, видимо продлят путевку — Арсюша опять «расклеился», мается животом и культя опять воспалилась... Капризничает за столом, еда неважная. Ему, правда, пытаются делать что-то относительно диетическое. Таня несколько раз ездила в Москву, привозила для него продукты с рынка. Жалко его, жалко Таню... Он же свои болячки аттестует так: «У меня — сплин». А тут еще подоспел срок ехать ему в Москву на унижайнейшую процедуру ВТЭКа. Господи, что за идиотизм — каждый год проходить комиссию и доказывать, что нога у тебя не выросла. В какой еще стране такое возможно! <...> Вечерами играем в карты. Арсений азартен невероятно, проигрывает — огорчается как ребенок. Часто, думая, какой картой пойти, приговаривает: «Один еврей не брал червей, другой еврей их брал. Один еврей был перей, другой был генерал». А еще он придумал замечательно: «Толечка, послушай: писатель — инженер человеческих душ, это известно. Значит: композитор — инженер человеческих уш, а скульптор — инженер человеческих туш. Вот какую я придумал чушь!» И хохочет, довольный произведенным впечатлением... Я, известный тебе Толик-меланхолик, играю в карты лениво, делаю ошибки, за которые получаю взбучку от Тани и Арсюши. Мне все равно — выиграть или проиграть. Лучше даже выиграть!..»

И еще из другого письма: «...Вчера был удивительный вечер — Арсюша читал стихи. Прекрасные, многие я знал, читал и новые, замечательные. Как я жалел, что тебя не было! Вспомнил кстати, как ты сказала: «Была бы я владелица частного издательства, каких бы поэтов я издавала! «Полного» Тарковского в первую очередь...» Будем надеять-

ся, что доживем мы до издания «полного» Тарковского и в государственном издательстве. <...> Рассказал Тане и Арсюше последние две байки о наших боссяках, очень они оценили Антошкино «не учетверируй». Теперь Арсений вместо «утрировать», говорит — «учетверивать», правда, ссылается на авторство Антона. А историю с быками Арсений аттестовал так: Алеша — романтик, Антоша — реалист. («История с быками» такова — мы ехали из деревни по Минскому шоссе, впереди шла открытая грузовая машина со скотом. Антон: «Смотри, какие быки!» И хотя по неоспоримым признакам это действительно были быки, Алеша задумчиво сказал: «Нет, это коровы, видишь, какие у них рога...» — «Дурак!» — только и нашелся что сказать младший.) Арсений за столом выклянчивает разрешения у Тани съесть что-нибудь непопущенное, торгуется за лишний кусочек селедочки. Она не разрешает, он канючит, что очень уж хочется. «Ну, хорошо, только потом не жалуйся!» Наступает «потом» — изжога, он пеняет Тане, зачем разрешила, не остановила, пьет соду. На Танино: «Не ной, сам виноват!», он говорит: «Не отнимаи единственного удовольствия — поскулить!» Похожие на наши с тобой «семейные сцены...»

Мы полюбили детей Тарковских. Очень хорошенькую, умную девочку Марину; деликатного, нежного Алешу; импульсивного, эмоционального Андрея. Вскоре он пригласил нас посмотреть свою курсовую работу — «Убийцы» по рассказу Хемингуэя⁵. Такого кино мы еще не видели, были потрясены мастерской этой работой. Впечатление, что фильм сделал зрелый режиссер, человек, проживший долгую жизнь. Домой нас везли Тарковские, и Арсений сказал на наши восторженные комплименты: «Бедный Андрюша, трудно ему будет, очень трудно... Ведь он не отступится от своего видения мира, а ОНИ будут его ломать...» Так и было — не отступался и ломали и не сломали.

Много времени спустя ехали мы с детьми в Коктебель. В соседнем купе — Андрей и Андрон Кончаловский. Дали нам прочесть сценарий «Андрей Рублев». Не заметили, как доехали до Феодосии. Сценариев я никогда не читала до этого. Читали это не простое, для специалистов, но это была литература, прекрасная проза. Что мы и не преминули сказать авторам. Какие-то небольшие замечания сделал Толя, между соавторами были разногласия серьезные, спорили до глубокой ночи. Разошлись на том, что если фильм дадут снять — произойдет чудо. У мужа на сей счет была выведена такая формула: «Как появляются у нас в стране фильмы, (спектакли, книги) талантливые — понять невозможно, а как появляются произведения выдающиеся, гениальные,

объясняется просто — исключительно по недосмотру *высших организаций...*»

По приезде в Москву позвонили Тарковским, рассказали о впечатлении от «Андрея Рублева», и опять Арсений причитал: «Бедный Андрюша, бедный Андрюша!..» Не прошла еще боль от «Иванова детства». Всякий раз на премьерах фильмов Андрея, а были мы на них всегда со старшими Тарковскими, наблюдала я одно и то же скорбное выражение лица Арсения. Подходят к нему люди, поздравляют с успехом сына, а он без улыбки: «Спасибо, спасибо...» В нем жил страх за то, что будет дальше, после премьеры, страх отца и гражданина своей страны. Он знал, что будет дальше! И не ошибся ни разу...

Когда у нас родился первенец Алеша, я, увлекшись, что-то подробно и неинтересно для других, рассказывала о страхе за ребенка по поводу его недомогания. Арсений попенял мне мягко, что нельзя, мол, по пустякам волноваться и прочее... И я, обидевшись на непонимание, сказала, что вот Лев Николаевич меня бы понял. «Какой Лев Николаевич?» — «Какой еще может быть Лев Николаевич, Толстой конечно!» И привела, поразившее меня когда-то, описание страха Левина после родов Китти за новорожденного сына. «Что-то я не помню такой сцены, вы что-то путаете...» Сняли с полки «Анну Каренину» и прочли: «...Что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал. Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве; напротив, *это был новый мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости...*»

А «область уязвимости» в семье Тарковских расширялась — женился Андрей на большеглазой Ирме, которая так прекрасно сыграла в «Ивановом детстве» и в «Андрее Рублеве»; женился Алеша; вышла замуж Марина. И все они родили Тарковским-старшим внуков. И это было нормально и хорошо. Вот только страху прибавилось...

* * *

Два поэтических вечера Арсения Тарковского. Один — в Политехническом, другой — в ЦДЛ. В Политехническом стихи читают Арсений и Михаил Козаков. Едем с Тарковскими, по дороге Арсений волнуется: «Неприменно провалюсь!.. И народ не соберется... И как читать рядом с Мишей, он же мастер, актер... Зачем я согласился?!» Зал полон, сидят на ступеньках в проходах. Слушатели, в основном, молодые. Успех, аплодисменты оглушительные! «Ну вот,

видите, а вы волновались!» — «Это благодаря Мише, спасибо ему. Я на публике читаю плохо, не умею...» Вечер в ЦДЛ. Тут вроде бы можно не волноваться, публика своя, «цеховая». Нет, стоит внизу в вестибюле бледный, в испарине: «Пожелайте ни пуха, ни пера, а я пошлю вас к черту...» Читает на «бис», не отпускают долго. Из зала выкрикивают, просят прочитать старые стихи. Сидящая рядом с нами пожилая женщина просит: «Портного из Львова!» После вечера поздравляют, обнимают, а он: «Боже, я же пропустил целую строфу в «Портном!»...» (В подаренном нам сборнике «Земле — земное» эта строфа вписана Арсением от руки: «...А в вагонах — наркоматы, места нет живой душе, госпитальные халаты и японский атташе...» и еще одна строфа от руки в стихотворении «Мщение Ахилла»: «...Так не дай пролить мне крови ни героев, ни царей, чтобы клейкой красной глины я не мял рукой своей...»)

Толя положил на музыку и получился прекрасный романс на стихи «Вечерний, сизокрылый, благословенный свет, я словно из могилы смотрю тебе вослед...» Романс понравился и Арсению и Тане. Как-то Арсюша читал нам Заболоцкого, любимого им очень, и сказал, прочитав «Можжевёловый куст»: «Вот тебе стихи для романса». Так и вышло, что два эти романса пелись всегда подряд, не перебиваясь другими песнями Толи.

В репертуаре мужа был цикл «поездных», «одесских», «блатных» песен. Внесли свою лепту в эту «копилку» и Андрей с Арсением. Андрей продиктовал Толе длинную воровскую балладу, которая начиналась словами: «Когда с тобой мы встретились, черёмуха цвела, и в старом парке музыка играла, и было мне тогда еще совсем немного лет, но дел уже наделал я немало...» Дальше идет описание короткой жизни героя, финал — тюрьма, участие в деле адвоката, приговор... Арсений, вместо неудачной по его мнению строчки, предложил: «...пришел ко мне Шапиро, мой защитничек-старик, сказал: не миновать тебе расстрела...» На тюремном дворе, последнее, что видит герой: «...квадратик неба темного и звездочка вдали, мерцает мне, как слабая надежда...» — вариант Арсюши: вместо «звездочка вдали» — «спутничек вдали». «Поверьте старому звездочету, так лучше!» В то время как раз запустили первый спутник. С этими поправками Толя и пел потом эту балладу, каждый раз ссылаясь на автора поправок.

* * *

Сейчас на все лады ведутся дискуссии на тему, что́ есть интеллигентность. Диковатая тема для дискуссий, на мой взгляд. Впрочем, жизнь наша, время диктуют темы... Думается, что определением, критерием, что есть личность — репутация человека.

У Арсения Александровича Тарковского была *безукоризненная репутация*. Интеллигентный, высокообразованный, культурный, щепетильный, благородный, добрый — компоненты безукоризненной репутации.

Два эпизода: заболел тяжелым гриппом Арсений. В квартире у них ремонт. Наталья Алексеевна, сестра Тани, предложила переселиться на время в особняк Алексея Толстого⁶, где жила она в качестве секретаря вдовы писателя, помогая разбирать архивы. «Там вам будет комфортабельно, удобно». Категорическое — «НЕТ!» — «Почему?» — «Неудобно и некомфортабельно там, где бывал он». — «Кто?» — «Сталин».

И еще: Арсений, огорченный и сконфуженный, рассказывает: «Боже, что я наделал! Я опозорился в глазах порядочных людей навсегда! Вчера, в гостях у Н. к слову я сказал, что Махно — бандит. Хозяйка дома спросила меня: «Арсений Александрович, Вы были знакомы с Нестором Ивановичем?» — «Слава Богу, нет!» — «Как же Вы можете говорить дурно о человеке, с которым не были знакомы? Он бывал у нас в доме, играл Шопена с моей сестрой в четыре руки...» — «Вот уж не повод для расстройств, — легкомысленно сказала я, утешая Арсения, — ведь Махно действительно был бандит!» — «Откуда вы знаете? Вы-то уж точно не могли быть с ним знакомы по возрасту!» — «Из литературы. Из фильмов. И все это знают и говорят!» Арсений только покачал головой. Тогда мы посмеялись над этой историей. Теперь, когда столько нового и неожиданного мы узнаем о тех далеких временах, она не кажется мне такой уж забавной...

* * *

...Все это было давно, а как будто вчера... Давно и далеко еще до того, когда не станет Андрея, не станет Алеши, до инфаркта у Тани. Не пошлют еще в «составе ограниченного контингента войск» в Афганистан сына Алеши, внука Тани. До звонка Тани: «Галинька, Арсюши больше нет...»

27 мая 1989 года, в субботу, в шесть часов вечера, когда в больнице уходил из жизни Арсений, на другом конце

города, наш младший сын Антон взял в руки гитару и, по его словам, неожиданно для себя, спел давно им не петый: «Вечерний, сизокрылый, благословенный свет, я словно из могилы смотрю тебе вослед...» «Ма, расскажи об этом тете Тане, если сочтешь удобным...» Я рассказала. Она нисколько не удивилась: «Это он отпел Арсюшу...»

Что же нам осталось? Все то же. Любить по-прежнему Арсения Александровича Тарковского. Его и его стихи...

...Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Подаренный тобой,

За каждое движенье
Твоих прохладных рук,
За то, что утешенья
Не нахожу вокруг...

ЛИСТАЯ ДНЕВНИК...

За каждой, даже короткой записью дневника — жизнь, взлеты и падения, радости и огорчения. Так сказано у моего любимого Тарковского, замечательного поэта: «Жизнь хороша, особенно в конце...»¹

Арсений Александрович Тарковский. Арсюша. Почему-то в последнее время хочется называть его именно так. Не из фамильярности — от нежности. Из чрезвычайно острого чувства жалости к предстоящему и, увы, скорому его уходу. Он почти не слышит, взгляд его обращен внутрь. Хотя Тарковский очень красив, благороден, элегантен — таким я его недавно видел на вечере Александра Шереля, проходившем в малой гостиной ВТО по случаю премьеры книги Саши «Рамка у микрофона». На вечере я читал стихи Арсения Александровича. Читал все, что знаю наизусть. Александр Шерель под гром аплодисментов представил малочисленной ВТОшной аудитории Арсения Александровича Тарковского, именуя его великим поэтом нашего времени. «И вот парадокс, — сказал Саша. — Нет, не парадокс, а просто-напросто хулиганство, что стихи Тарковского за сорок лет ни разу не исполнялись по радио». А ведь он фронтовик, инвалид Отечественной войны, имеющий боевой орден Красной Звезды... Я вижу две, по крайней мере, причины тому, почему первый зам. ныне отправленного на заслуженный отдых героя соцтруда товарища Лапина, некто товарищ Орлов, категорически запрещал исполнение стихов Тарковского по радио. Несмотря на то, что я не раз обращался к нему. Да что я, обращался сам Роберт Рождественский, и это не возымело действия! Первая — сомнительность для товарища Орлова направленности и стиля поэзии Арсения Тарковского. Социально чужд, эстетство, много про Бога, ничего про строительство нового общества, упадничество и унылость, упоминания всяких там Ван Гогов, Эвридик и Одиссеев. И вообще, кому это все нужно? И второе обстоятельство: фамилия. Тарковский — это тот, который снял «Андрея Рублева»? Ах нет, это его отец? Но ведь все равно, Тарковский... Да нет, Роберт Иванович, сегодня это пока не пройдет, извините. Как поживаете, дорогой?

Дети, как известно, не несут ответственности за грехи родителей, но оказывается нынче, что и родители несут ответственность за грехи детей.

Вчера мы с моим другом Игорем Шевцовым поехали в Матвеевское, где в Доме ветеранов кино живут Тарковские. Неделю назад я говорил с Татьяной Алексеевной по телефону о возможности визита к ним, предварительно изложив суть дела. Мы с Сергеем Юрским сделали на «Мелодии» пластинку по стихам Осипа Мандельштама. Редактор захотела, чтобы на пластинке было слово о Мандельштаме и чтобы это вступление сделал Арсений Тарковский, у которого есть прекрасное стихотворение, посвященное Мандельштаму, — «Поэт».

Итак, в 12 часов дня мы подъехали к Дому ветеранов кино и первое, что я увидел, была фигура человека в сером костюме, который, опираясь на костыль и палку, поднимался из матвеевского садика к дому. «Арсений Александрович!» — окликнул я его. Я крикнул достаточно громко, зная, что Арсений Александрович стал плохо слышать. Он повернулся на оклик и стал вглядываться, пытаюсь понять, кто вылезает из «Жигуленка». Я очень обрадованный тем, что увидел старика на своих двоих, гуляющим по улице, пусть при помощи подборок, подошел к нему с шутливым боярским низким поклоном — рукой в землю. Он шага за три распознал меня и ответил шутливым же восточным приветствием: приложил руку ко лбу, к губам и протянул ее в мою сторону, давая понять, что рад мне. Мы расцеловались. Арсений Александрович с утра был чисто выбрит, от него пахло одеколоном, на нем была свежая рубашка, галстук.

Я представил ему моего друга. «Таня еще спит, — сказал Арсюша. — К нам нельзя». «А мы посидим с Вами, Арсений Александрович, если это никак не нарушает Ваших планов, здесь, во дворе». После расспросов о его здоровье, о здоровье Татьяны Алексеевны, о том, как здесь живет, я рассказал, что недавно в Ленинграде читал на концертах его стихи, и их прекрасно принимали. Это его заинтересовало и слегка обрадовало.

Я привез из Ленинграда приобретенную там его пластинку, где Тарковский сам читает свои стихи — «Я свеча, я сторел на пиру»², запись 80-го года. Кажется, что недавно, прошло-то всего шесть лет, оказалось — очень давно.

Арсений Александрович надписал мне эту пластинку: «Дорогому Мишеньке на добрую память с неизменной любовью. 19 июля. А. Тарковский». Потом сказал: «Надо же и год вписать». И над строчкой вписал: «1986».

А познакомились мы в 50-м году на Рижском взморье, в Доме творчества писателей в Дубултах. Мне было шестнадцать лет. Прошло ни много ни мало тридцать пять лет.

Арсений Александрович всегда казался мне очень красивым. Даже тогда, на Рижском взморье, когда я мало что смыслил в истинной красоте и даже не знал, чем занимается этот красивый необычной красотой человек на протезе. То есть знал, что он переводит какие-то восточные стихи, а его жена, как теперь говорят, «перепирует» с английского прозу.

Но знакомство наше, перешедшее в дружеские отношения, мою бесконечную любовь и преданность поэзии Тарковского, чтение его стихов с эстрады, совместные выступления на его творческих вечерах, началось с пляжного знакомства на Рижском взморье.

Тарковские любили гульнуть в приморских ресторанах «Корсо» и «Лидо», которые мне тогда казались заграничными, да и им, по-моему, тоже. Насколько мне известно, ни Арсений Александрович, ни Татьяна Алексеевна не могли в те годы бывать дальше Прибалтики. Они часто прихватывали меня тогда в 50-м и 52-м, когда мы отдыхали на взморье. в эти «очаги разврата». Угощали меня ужинами в этих самых «Корсо» и «Лидо». Иногда мы даже совершали поездки в Ригу, и уже в столичных рестораничках я выпивал с ними две-три рюмашки водки.

Вскоре я стал москвичом и начал бывать у Тарковских в доме на Аэропортовской. Там-то я впервые услышал стихи Арсения Александровича. В 1962 году вышла первая небольшая книжка его стихов, которую он мне подарил.

Теперь у меня есть все вышедшие книги Арсюши, и все с добрыми словами, обращенными ко мне и к моим женам. Жены мои менялись, а наша дружба оставалась неизменной. Только одна жена, Регина, разделила со мной любовь к поэзии и, в частности, к стихам Тарковского и к нему самому. Арсений Александрович полюбил Регину. Он, вообще, всегда был дамским угодником, джентльменом в поведении с женщинами — в этом смысле он напоминал мне старого Эйхенбаума...³

Как-то в 1977 году, после спектакля «Гамлет», поставленного сыном Арсения Александровича от первого брака, Андреем, мы с женой зашли к Тарковским поделиться впечатлениями. Нам показалось, что спектакль — роль Гамлета играл Анатолий Солоницын, который не понравился залу, — был, по-своему, весьма интересен. Тарковские жили недалеко от площади Маяковского. Эта их квартира была меньше аэропортовской, где было довольно просторно, и наряду с другими предметами обстановки стояли телескопы разных размеров. Тарковский тогда увлекался астрономией. В его поэзии это чувствуется: небо, созвездия — Орион, Стрелец...

В этой квартире на Садовой-Триумфальной, что поменьше, телескопов не было, но помню стеллажи с книгами и пластинками, пластинок больше, чем книг, хотя и книг было предостаточно. Музыка классическую Тарковский знал и любил чрезвычайно.

Сел старик на кровати, заскрипела кровать.
Было так при Пилате, что теперь вспоминать⁴.

Эти его строчки пришли мне в голову и, кажется, что я их тут же процитировал, когда увидел Арсения Александровича в пижаме, без протеза, сидящим на своей кровати. Он извинился перед Региной, что в таком виде принимает даму, но был очень весел и возбужден.

Ему и Татьяне Алексеевне мы рассказывали о своих впечатлениях от «Гамлета», хвалили даже с преувеличениями, зная, как отец любит и гордится своим талантливym сыном-режиссером.

Как душа его тосковала по Андрею! После фильма «Иваново детство», после «Рублева», после «Зеркала» помню премьеру «Сталкера» в Доме кино. В те летние дни шел Московский международный кинофестиваль, и все мы бегали по разным точкам. Мы встретились с Тарковскими у кинотеатра «Мир» и заговорили о «Сталкере» Андрея. «По-моему, это гениально», — сказал отец. Мне эта картина тоже чрезвычайно понравилась, но утверждение Арсения Александровича показалось несколько преувеличенным. Однако в его устах это прозвучало просто и серьезно: «По-моему, это гениально» — как само собой разумеющееся, и, помню, что это меня не раздражило, а даже умилило. «Имеет право!» — подумал я.

25 июля 1977 года, когда Тарковскому-отцу исполнилось 70 лет, я был приглашен в Дом творчества «Переделкино», где старик в столовой, просто в столовой, отмечал свой юбилей. Народу было человек двадцать. «А где Андрей, почему его нет?» «Работает, где-то снимает. Он должен позвонить». Отец очень переживал, что в этот день сына не было рядом.

«Сел старик на кровати, заскрипела кровать...» Ему было тогда, судя по всему, интересно и приятно выслушивать наш рассказ о «Гамлете», поставленном его сыном. Но мысли его были заняты другим. Глаза весело блестели. «Миша, — сказал он. — Тут вдруг Господь ниспослал мне радость, озарение, что ли. Благодать на меня снизошла. И вот написал быстро и легко. Прочтите это с листа. Поэмка небольшая, не пугайтесь. Прочтите вслух, сейчас». «Арсений

Александрович, да как же я могу, дайте хоть глазами пробежать!» «Не надо. Вы сразу разберетесь. Вы же меня много читали».

Передо мной лежала отпечатанная на пишущей машинке поэмка страничек на восемнадцать-двадцать. Кое-где машинопись была еще исправлена от руки автором, и чернилами были вписаны новые строки. Успев пробежать первую страничку глазами и почувствовав стиль и ритм, я, сначала робко, осторожно начал чтение с листа, потом вошел и начал музицировать смелее. «Чудо со щеглом» — это истинное чудо. Вспомнилось мандельштамовское: «...до чего щегбл ты, до чего ты щегловит?»⁵

Месяца через два я читал на творческом вечере в Политехническом в присутствии автора в битком набитом зале эту поэму. Читал, боясь забыть, еще держа перед собой подаренную машинописную рукопись. В этой поэме Тарковский поднялся до высокого лиризма, до грома державинской оды, до ломбровозской⁶ чертовщины и одновременно насмешки над ней...

А в тот летний солнечный день, в субботу 19 июля 86-го года, о котором я рассказывал выше, нам не удалось записать рассказа Тарковского о Мандельштаме. Арсюша закурил по секрету от жены мою сигарету, благо Татьяна Алексеевна все еще не выходила на улицу, где мы сидели на садовой скамейке у дома престарелых. Я курил тоже и стряхивал пепел на землю. Тарковский несколько раз сказал: «Миша, не стряхивайте пепел на пол!» А сам при этом аккуратно тряс пепел в цветочницу, стоявшую на крыльце дома. На вопросы о Мандельштаме он ответил: «Не помню, Миша, простите, ничего не помню»...

«Я ПО КРОВИ ДОМАШНИЙ СВЕРЧОК...»

В первый раз об Арсении Тарковском я услышал из уст Михаила Ильича Ромма, когда он сказал нам, студентам-певокурсникам, что у Андрея Тарковского отец поэт-переводчик. Это было в 1954 году на занятиях в режиссерской мастерской ВГИКа. Мы с Андреем учились на одном курсе, дружили, вместе сняли два студенческих фильма, а в 1958 году породнились — его сестра Марина стала моей женой. И тогда, на Щипке, я впервые увидел своего тестя. Случилось это без малого сорок лет назад, Арсению Александровичу шел тогда пятьдесят второй год. До выхода его первой книги оставалось еще четыре года.

Обычно Арсений Александрович приезжал на такси, входил в тесную комнату, где ему было трудно передвигаться на костылях, усаживался. Он приносил с собой какой-то свой, особый мир, который был понятен и близок его родным, но мало понятен мне. Меня же в этот мир на первых порах не впускали. Многие были мне странно: шумных приветствий, выражений открытой радости при встрече я не видел. После некоторой паузы — Арсений Александрович переводил дыхание с дороги — начинались расспросы о жизни, о самочувствии. На что мой тесть обычно шуточно отвечал: «Все как-то относительно». Разговор шел с остановками, Марина ставила на стол нехитрое угощение, Мария Ивановна открывала форточку и закуривала, стоя у окна. Тогда мне все Тарковские казались похожими на сектантов или заговорщиков...

Иногда Арсений Александрович приезжал вместе со своей женой Татьяной Алексеевной, которая водила их машину. Всем своим видом она составляла странный диссонанс с аскетической бедностью семьи Марии Ивановны, да, пожалуй, и с самим духом этой семьи. Поначалу я это мог лишь неволью чувствовать, тем более, что после ухода этой необычной для меня пары, в семье не возникало никаких разговоров или пересудов, что для меня, выросшего в другой среде, было не совсем привычно.

Однажды после визита Тарковских, во время которого Татьяна Алексеевна, сидя рядом с отцом Марины, весь вечер продержала его под руку, я не выдержал и спросил Марию Ивановну, что она думает по поводу этой дамы. «Знаешь, Сашка, мне Татьяна ясна, многое мне о ней известно, но мой тебе совет — составляй сам свое мнение о людях, не

опирайся на чужое». Так я получил один из жизненных уроков от Марины Ивановны. И сколько их было еще за мою жизнь!

А жизнь моя в ту пору складывалась непросто — не ладилось с дипломной работой, с выбором сценарного материала, будущее было неясно, на душе тревожно...

Вскоре у нас с Мариной родился сын. Арсений Александрович очень глубоко переживал рождение внука. С одной стороны, он был потрясен, что стал дедом, не раз шутливо сетовал, что мы возвели его в этот новый ранг, с другой — его умиляло появление на свет маленького существа, нового человека. Он был растроган, по-особому нежен с дочерью и с маленьким внуком. Ко дню возвращения Марины из роддома отец привез для нее на Щипок новую кровать с полированной спинкой...

Отмечу здесь кстати, что не мог бы назвать Маринино отца человеком, который постоянно, изо дня в день, заботился о своих близких. Любовь и внимание к ним проявлялись у него спонтанно, совпадая с получением гонорара или отлучкой Татьяны Алексеевны. Но, когда случались в семье важные события, радостные или печальные — рождения, похороны, он на них обязательно откликался своим присутствием и помощью.

Какое-то время я не встречался с моим тестем, работая не в Москве, а когда вернулся, то и я уже был другим, и Арсений Александрович изменился. Если так можно выразиться, наши отношения поднялись на какую-то новую ступень. Я утвердился в своем положении мужа его дочери, за моей спиной уже было несколько фильмов, я чувствовал себя более уверенным. Арсений Александрович признал во мне своего человека, и мне стало легче общаться с ним.

Помню летний вечер. Мы с Мариной приехали к ее отцу на Аэропортовскую. Солнце долго светило в окна уютной и красивой квартиры, которая была первым по-настоящему любимым им домом. Молодость Арсения Александровича в Москве прошла в скитаниях по чужим углам. Какое-то время он жил у Георгия Шенгели — под столом, куда даже провел электрическую лампочку; ночевал под рододендронам в зале, где проводились «Никитинские субботники»; снимал комнату на 21 версте Белорусской железной дороги. Женившись, и в первый, и во второй раз жил в коммуналках, в тесноте и без удобств. Потом война... И как не сказать здесь про жизнь его с Татьяной Алексеевной Озерской в Варсонофьевском переулке в мансарде. Мне было трудно подыматься пешком по черной лестнице на шестой этаж, а каково ему?!

И вот теперь — кооперативная квартира в первом писательском доме возле станции метро «Аэропорт». Как радовался Арсений Александрович, сколько сил, душевных и физических, вложил он в обустройство своего нового жилья. Сначала, конечно же, книги. Затем ручки, пишущие машинки, очки в хорошей оправе, лупы, бинокли, магниты, несесеры с набором ножниц, пилки и щипчиков, дорогие одеколоны, бритвы, почтовые наборы... Все у отца было отменным — он знал толк в хороших вещах и с удовольствием пользовался ими. Под рукой у него всегда были наборы инструментов, клей. Постоянно он что-то ремонтировал, чинил. Как-то склеил венецианскую люстру, висевшую у него в Варсонофьевском переулке — ее по неловкости разбила на мелкие кусочки жившая там знакомая.

Но подлинной драмой с завязкой, кульминацией и развязкой был ремонт пишущей машинки. Он разбирал машинку на составные части, потом собирал ее, причем какое-то количество деталей после сборки оставалось у него на столе. Арсений Александрович в ужасе принимался разбирать машинку снова. Это могло продолжаться всю ночь и весь следующий день. И лишь после того, как доводил работу до конца, он откидывался в полном изнеможении.

Шестидесятые годы... Из девяностых они кажутся ностальгически прекрасными. Сейчас мне понятно — это были лучшие годы Тарковского — годы издания книг, начавшейся известности, годы творческого взлета. И Арсений Александрович отлично в эти годы вписывался. Конечно, ему не хватало внимания со стороны литературной критики, вообще прессы — телевидения и радио не беспокоили его — не сохранилось ни одного интервью с Тарковским тех лет. Возможно, это причиняло ему боль, но Тарковскому было уютно в его поэтическом мире. Шли стихи, как говорят поэты; у него была большая радость в то время — его ученики. Радовать можно было и мир своих тайных желаний, с деньгами удовлетворять свои пристрастия, может быть, по-детски эгоистичные. Получив гонорар, мой тесть, обычно, не заходя домой, пропадал в магазинах, самых разных, от книжных и антикварных до кондитерских. На следующий день он снова уезжал из дома, а через несколько дней денег уже не было. Не раз видел я на лице его разочарование и смущение от сделанных в азарте покупок. Замечал и тайное удовлетворение от приобретения какой-нибудь трубки, восьмой по счету, или очередной фарфоровой чашечки.

Это был удивительный человек! Как сочеталось в нем несочетаемое... Абсолютно научный подход к астрономии,

изучение теории шахмат, ведение каталога грампластинок своей коллекции — три тысячи единиц! — наконец, тщательный подбор книг и монографий художников и — детская любовь к безделушкам, неумение подавлять своих желаний, слепое следование им.

Несмотря на перерывы во встречах с моим тестем, мысленно я никогда не расставался с ним. С Марией Ивановной, Мариной мамой, я прожил под одной крышей двадцать один год. Человек этот оставил глубочайший след в моей душе. С ней не раз мы говорили о ее бывшем муже. Но не сразу я был допущен в «святая святых» ее души. Да и теперь вряд ли могу назвать себя доверенным лицом своей тещи. Лишь в какие-то минуты редкого душевного состояния, в какой-нибудь далекой деревеньке, где на лето снималась дача для нашего с Мариной сына, сидя в избе за чашкой крепкого чая или в лесу на поваленном дереве, Мария Ивановна допускала меня к себе и делилась какими-то своими воспоминаниями и размышлениями. Достав папиросу из пачки «Севера» и присущим только ей способом перевив ноги, она начинала говорить тихим, с особыми интонациями, голосом...

Она говорила, а я вспоминал, как Арсений Александрович приезжал к нам иногда с какими-нибудь подарками. Как-то раз он привез Марии Ивановне миниатюрный будильник красного цвета, который она оберегала от детей — видимо, он был ей очень дорог. Помню, какие лица были у них — у Арсения Александровича виновато-смущенное и кроткое, у Марии Ивановны — грустное, доброе и чуть снисходительное. Они мало о чем говорили, но судя по взглядам, понимали друг друга с полуслова. Мне кажется и теперь, что чувство вины перед Марией Ивановной никогда не оставляло моего тестя, а его приписка «Каждая последующая жена хуже предыдущей», которая казалась нам не очень тактичной шуткой, видимо имела под собой основание.

«Да, Арсений был разный, — слышу я голос Марии Ивановны. — С детства его страшно баловала мать, водила в девчачьих платьицах, выполняла все его желания. Старший брат Валя пятнадцати лет был убит на Гражданской войне, и вся материнская любовь Марии Даниловны сосредоточилась на Асике. Когда мы были уже женаты, она могла прийти к нам и принести одну котлетку — «Для Асика».

В разговоре я коснулся так называемой «детскости» Арсения Александровича, которая умиляла многих его знакомых, а у меня вызывала откровенный протест. Его желание уйти от действительности в раскладывание пасьянсов, в любовь к игрушечным медведям и обезьянам — может быть

было очаровательным и милым, но таким далеким от реальной суровой жизни, которая шла за стенами его квартиры.

«Самым настоящим Арсений был во время войны, когда он сам отвечал за свои поступки и за судьбу близких. Эту «детскость» в нем развивали потом умышленно. Ведь женщины вроде Татьяны знают, что делают. Начинается издали — сначала они пробуждают в мужчине инстинкт охотника, потом культивируют чувство вины, внушают неуверенность в себе, а затем — чувство зависимости от них. Это кончается абсолютной зависимостью, доведённой до абсурда. Кстати, боюсь, что сейчас с Андреем происходит то, что случилось с Арсением», — Мария Ивановна имела в виду новый брак сына.

В молодости, по рассказам Марии Ивановны, Арсений Александрович был удивительно подвижным, ловким, мог быстро, как обезьяна, взобраться на дерево, повиснуть на ветке вниз головой, нырять, плавать, с удовольствием и подолгу. Ранение резко изменило образ его жизни, сделало малоподвижным, и это вступило в противоречие с его характером, меняло его. Трагедию своего ранения Арсений Александрович нес в душе, эта глубоко запрятанная боль была с ним постоянно.

Мария Ивановна с сожалением говорила, что жена таскает Арсения, такого домашнего, любящего уют, свои вещи, по домам творчества. «Ты представляешь, в Переделкине — общий душ и уборная в конце коридора! А каково с его печёнью питаться в домах творчества, где готовят на комбижире! Арсений смолоду страдал приступами холецистита и отличался желтоватым цветом лица».

Тут Мария Ивановна с улыбкой рассказала, что, когда они в тридцатом году приехали вместе в Завражье к ее матери, одна знакомая, увидев Арсения воскликнула: «Вера Николаевна, вы такая хорошая женщина, но как вы позволили вашей дочери выйти за китайца!» «В Москве, когда мы еще жили на Гороховском, у Арсения случился приступ печени. Он стонал от боли, я отпаивала его редичным соком. Сердобольная соседка, услышав стоны, решила, что он страдает от похмелья, и принесла огуречного рассола».

Я вспоминаю моего тестя в начале семидесятых. Это был уже другой Арсений Александрович — потяжелевший, погрустневший. В 1970 году умер друг его юности Николай Дмитриевич Станиславский. С Колей Станиславским его связывала многолетняя, прошедшая через всю жизнь дружба. (Не помню кто, то ли сам Арсений Александрович, то ли Мария Ивановна рассказывали, что когда Николая Дмитриевича Станиславского — а он был театральным режиссером

— представили Константину Сергеевичу Станиславскому, он сказал в ответ на его удивление: «Да, я тоже Станиславский, только я — настоящий Станиславский. Это у Вас — псевдоним!»)

Совсем недавно вместе с Татьяной Алексеевной Арсений Александрович гостил у Станиславских в Житомире и на даче в Тригорье. И вот теперь его друга не стало.

Через несколько дней после получения печального известия мой тесть приехал к нам. Он передал Марине перстень с сердоликом, который когда-то принадлежал его отцу, Александру Карловичу. Он настоял на том, чтобы Марина оставила его у себя. Видимо, именно тогда он реально стал думать о смерти и боялся, что перстень этот попадет в другие руки.

Может быть, мое положение близкого родственника заставляло меня порой забывать, что передо мною — великий поэт. По-настоящему, как поэт Арсений Александрович стал открываться мне на литературных вечерах 60-70-х годов. Арсений Александрович меньше вписывался в публицистические вечера 50-х годов, чем в более поздние. В 50-х помню поэтический вечер в концертном зале имени Чайковского. Он сидел на сцене за большим столом среди прочих участников. Вспоминаю Беллу Ахмадулину, Булата Окуджаву, Андрея Вознесенского, из поэтов старшего поколения — Виссариона Саянова и Всеволода Рождественского. Когда подошла очередь Тарковского, он прочел одно-два стихотворения. Зал аплодировал, но не так горячо, как поэтам, читавшим стихи «на злобу дня». На этом вечере произошел странный эпизод. На сцене появился из-за кулис и подошел к столу президиума китаец. Видимо, он хотел занять место среди выступавших. Ему не давали садиться, он на чем-то настаивал, хотел подойти к микрофону. В то время в Китае начался «великий скачок» — культурная революция. Наверное, китайцу надо было заявить с трибуны о «великой идее Мао». Кончилось дело тем, что китайца увели со сцены. Мне почему-то было жалко этого китайца, о чем я и сказал Арсению Александровичу после вечера. Он ответил довольно жестко: «Нечего ему сочувствовать, маоист обычный!»

На вечере в Литературном музее, который проходил в камерном зале, я впервые почувствовал очень взволнованную и красивую манеру чтения Тарковского. Казалось, что стихотворения исходят из самых неведомых глубин его души. В нем открывалось для меня что-то новое, незнакомое. Само чтение меняло его лицо, весь его облик, поражал вибрирующий голос. Казалось, он предвещал беду, расплату и очищение. Магия его поэзии явилась передо мною в чистом

виде, не замутнённая бытовыми деталями. Он тогда читал много, вкладывал в чтение всего себя, и вот тут-то становилось ясно, что передо мною поэт, учитель жизни, и что в этом — его главное призвание.

Вышел фильм Андрея «Зеркало», и с экрана звучал неповторимый голос поэта. Потом появились в продаже и пластинки. На одной из них, первой, Арсений Александрович вместе с рисунками Мыши (Марина) и Собаки (папа) написал: «Напоминающей пирожок с неизвестной начинкой — дочке Марине, каким папа был, есть и может быть будет, чтобы не забывала хоть (почти — его) папин голос, — от любящего папааса, не очень голосистого, но очень папы. 18.1.74».

Марина тогда ждала второго ребенка. Ожидание его рождения оживило наши отношения. Отец беспокоился о здоровье Марины, с нетерпением, так свойственным ему, и с волнением ожидал приближающихся родов. Звонил каждый день из Переделкина с одним и тем же вопросом к Марине: «Ну как? Ты еще не родила?» А когда родилась Катенька, он приехал с трогательным традиционным подарком — набором серебряных ложек.

К тому времени Арсений Александрович уже смирился с ролью деда и любил повторять с гордостью, говоря о внуках: «Я, как Авраам, населил зёмлю».

Шли годы... В 1979 году умерла Мария Ивановна, через два года не стало сына Татьяны Алексеевны Алеши Студенецкого. Он был похоронен недалеко от могилы Марии Ивановны. Татьяна Алексеевна и Арсений Александрович часто приезжали на Востряковское кладбище, но к могиле Марии Ивановны он подходил всегда один.

В 1986 году ушел из жизни Андрей. Смерть сына была страшным ударом для отца, после которого он не смог оправиться.

Тяжко, да и не нужно вспоминать последний период жизни Арсения Александровича, когда он, уже навсегда лишённый домашнего угла, был прописан в Доме ветеранов кино в Матвеевском...

Теперь, когда жизнь моего тестя лежит передо мною, как почти сошедшийся карточный пасьянс, я задаю себе вопрос — почему, когда он был жив, я не преодолел своей робости и внешних обстоятельств и не задал ему многих вопросов о жизни, об искусстве, о поэзии.

Ответы на эти незаданные вопросы я нахожу теперь в стихах Тарковского, ощущая в своей душе бесконечную нежность и благодарность к этому человеку.

ОДНОЙ НОВОГОДНЕЙ НОЧЬЮ...

Не от одних только внешних причин (политических) стали падать воздвигнутые кумиры. Они пали от внутренней их изначальной несостоятельности, и это ясно увидели живые, духовно не искалеченные люди. И Арсений Александрович Тарковский определенно обозначил новый исход, в который мог ступить тот, кто задышался под страшно понизившимся и сужившимся поэтическим горизонтом.

И благодарность к великим отошедшим именам позволяет нашей памяти приподнять завесу над былым, вспомнить Арсения Александровича как живого, доброго и красивого человека.

В тот вечер предновогодние сумерки оказались очень сердитыми — немилосердно была сухая пурга. Серые облачные столбы снега, вздымаясь, гуляли по переулкам и улицам Москвы.

Я был приглашен на встречу Нового года и шел сквозь пургу на Щипок к Тарковским. Я как-то отогревался душой в этом доме как, наверное, отогревается бездомная дворняжка, находясь какое-то время в человеческом жилье.

Мои родители когда-то в суде безжалостно делили семейную мебель в моем присутствии, а судья, великий мудрец, спрашивал меня, кого я люблю больше — папу или маму; я ревел и ничего не мог понять. Враги-родители расстались на всю жизнь непримиримо и злобно. Почему? Эта непонятность осталась во мне незаживающей душевной раной.

А здесь, на Щипке, было все по-другому. Вот и сейчас, в новогоднюю ночь, за одним столом собрались разведённые родители и их дети — хозяйка дома, бывшая жена Арсения Александровича Тарковского — Мария Ивановна, их дочь Марина и сын Андрей — с одной стороны, а с другой — Арсений Александрович, его третья жена Татьяна Алексеевна и ее сын Алеша Студенецкий. До этого я нигде и никогда не видел такого.

Пока доваривалась картошка, мы с Марией Ивановной покуривали на крошечной коммунальной кухне. В ее живых серых глазах видна была смелая душа. Она была горда своей силой. Увидев ее фотографию, сделанную в молодые годы, каждый, я думаю, мог поверить, что эта женщина, наверняка, художница, поэтесса или актриса. Спокойного достоин-

ства и сдержанности, вот чего не доставало всем нам, точнее, многим из нас в те времена и, конечно, я считал, в первую очередь, мне самому. Все это было в Марии Ивановне Вишняковой.

Я начал что-то ей рассказывать и, чтобы усилить внимание к моим речам, слегка дотронулся до ее плеча. Она, резко отстраняясь, удивленно посмотрела на меня и, попыхивая «Беломором», очень серьезно сказала: «Ты, дорогой, со своим характером можешь навсегда раствориться в людях...» Мне ни один человек так искренне, в глаза, не делал такого неожиданного и серьезного предупреждения. Ни до, ни после этого.

Потом, за столом, никто в этом доме не заботился об умственном перевесе.

Андрей, по своей привычке резко повернув голову куда-то в сторону, стал рассказывать, как он недавно в какой-то компании встретил специалиста по криминалистике и тот поведал об интересной особенности — во время крайней, смертельной опасности человек перестает видеть цвет. Мир становится для него черно-белым. Тут все начали говорить в подтверждение этой мысли — для того, чтобы видеть цвет, наслаждаться им, он, человек, должен быть непуганым идиотом. Страх в самых роскошных музеях позволит увидеть только черно-белый, может быть, серый сюжет, а до самой живописи, к сожалению, дело не дойдет.

— Может быть, поэтому соратники Сталина так любили сюжетную живопись, — улыбаясь, заметил Арсений Александрович. Он гладко выбрит и коротко стрижется. В его глазах видно много уцелевшего огня и нежности, а характерные заломы в углах губ говорят о привычной сдержанности.

Его жена, Татьяна Алексеевна, производила на меня впечатление какого-то вечного ожидания. В ее лице постоянно присутствовала некоторая тень иронии. Кажется, она всегда спокойна, но покой ее, видимо, полон тревоги. После замечания мужа о соратниках она повернулась к нему, поцеловала его руку и несколько театрально подставила ему свой лоб для поцелуя.

Кто-то рассказал трагикомическую историю о том, как молодая крестьянка, чистая душа, в конце 30-х, уходя от голода из своей деревни, поехала по найму в столицу строить метро и так ее, бедную, напугали манекены в московских витринах, что она бежала от них, чуть не потеряв сознание. Все, смеясь, вставляли в рассказ разные смешные детали и решили, что хорошо бы нашим отечественным командирам искусств также четко чувствовать, где живое, а где мертвое. А то теперь, согласились все, им, командирам, милее мане-

кены, особенно, если они в кирзовых сапогах и ватниках, или, в крайнем случае, в красивых костюмах 1812 года.

Андрей только что вернулся из Америки, где они вместе с Михаилом Ильичем Роммом представляли фильм «Иваново детство». Андрей рассказал о том, как они джентельменски договорились с неусыпными стукачами из киноделегации: Андрею и Михаилу Ильичу (который, кстати, тоже был впервые в Америке) хотелось повидать город, людей, музеи, а тем, известным деятелям, нужно было успеть обежать магазины.

Стороны уточнили место и время встречи и вечерами одновременно возвращались в отель. Каждый был занят своим делом...

Потом Андрей говорил, что ему очень аккуратно, с большими предосторожностями представители разных кинокомпаний предлагали остаться в Америке, обещая свободные от опеки постановки и щедрые гонорары. Андрей в таких случаях отшучивался, говоря, что американская кухня ему не подходит, никуда не годится в сравнении с привычной русской.

— Как я хотела, чтобы Андрей стал дирижером. Учителя музыки находили у него больше возможности. А кино... — это же океан людей, — тихо, с хрипотцой, сказала Мария Ивановна, видимо тяготясь этим рассказом и всячески желая его окончить.

А сейчас, здесь, Андрей тем временем нюхал зеленую еловую веточку и помахивал ею у себя под носом.

Под низким абажуром родные и гости, облитые медовым светом, который цеплял голые стены небольшой комнаты, сидели в такой известной, родной тесноте, без которой, кажется, не обходилось ни одно стечение друзей того, довольно бедного времени.

Арсений Александрович стал рассказывать недавнюю историю, как он жестоко обманулся в одном человекообразном человечке. Какой-то поэт как-то принес Арсению Александровичу отличные стихи, великолепно их читал на вечеринках друзьям и знакомым, был обаятельным компанейским парнем с гитарой. И вдруг совершенно точно было обнаружено, что стихи-то человек читал чужие.

Все притихли, слушая эту грустную историю. И, горько усмехнувшись, Арсений Александрович продолжал:

— Я теперь еще больше убедился, что ангел и поэт несовместимы, что поэт — это человек со всеми его бескрылостями... Потом я узнал, что настоящий автор тех отличных стихов работает и живет в котельной, а кроме того, он известный в своем кругу сварщик — к нему обращаются

театральные художники, оформители интерьеров и просят их выручить — он варит сумасшедшие узоры из железа...

— А вообще, я уже дожил до того возраста, когда могу, имею полное право бурчать... Да, бурчать! — весело, но сильно притворным и несколько дрожащим, чуть заикающимся голосом сказал Арсений Александрович.

— Бурчите! Бурчите, пожалуйста, Арсений Александрович! — подал голос, первым очнувшись, Саша Гордон, муж Марины.

— Предлагаю выпить на посошок! — тем же веселым тоном произнес свой тост Арсений Александрович.

По мере того, как Арсений Александрович прощался с Марией Ивановной, детьми и гостями, тихая веселость и свет как бы исчезали с его лица, голос становился все прерывистее, щеки подёргивало и видно было, что он насилу удерживает слезы. Когда опомнились и посмотрели на часы, выяснилось, что транспорт давно не ходит, и тогда стало ясно, что меня некуда девать — спальные места на Щипке на этот раз были все заняты, а отпускать ночью на мороз в этом доме было не принято. И тогда, после короткого совещания, Арсений Александрович решил взять меня к себе домой, на «Аэропорт»¹.

Носившаяся столбами воющая пурга, казалось, уснула, когда мы вышли на улицу, уснула вместе с москвичами — в окнах погасли огни. Не спали только холодная луна и крепкий мороз.

Дорога была очень тяжела для маленького автомобиля Арсения Александровича.

— Я совсем разнемоглась, — сказала Татьяна Алексеевна.

— Озябла, я думаю, дружок, просто, — отвечал Арсений Александрович.

— Какое там озябла! Я замёрзла, совсем замерзла! Алеша, разотри мне ноги...

— Фальк, — прошептал, наклонясь к моему уху, Арсений Александрович и указал на картину в узком коридорчике его квартиры.

Говорят, что жилище всегда более или менее точно выражает собой характер человека, который в нем обитает. По самым неувлимым мелочам в обстановке, размещении и содержании этого жилья чувствуется, что здесь преобладает, любовь или вражда, согласие или ссора. В этом смысле жилище Татьяны Алексеевны и Арсения Александровича как бы состояло из двух слагаемых: одно — «деловитость», другое — «расточительность». Вы проходите через комнату, которую можно назвать «деловитость», и попадаете в другую

— «расточительность» (расточительность духа) — это кабинет-келья, книги, телескоп, в общем — бесконечность. Когда вы входили, становилось совершенно ясно, что это жилище не зналось со скукой, но и не знало оживления больших компаний.

Введя меня в кабинет, Арсений Александрович как бы ожил и повеселел, мне показалось, что повеселели и самые стены комнаты.

Он долго сидел и молчал, не сводя глаз с книг и монографий, рядами стоявших за стёклами книжных шкафов.

— Давай посмотрим живопись... Поздно уже, но мы же не из пугливых...

Он медленно встал, подошел к полкам и вынул из них несколько монографий. В комнате было слышно только, как шелестели листы.

— В жизни каждого человека хоть раз наступает такая пора, когда он бывает эгоистом. — начал Арсений Александрович, — когда человеку одно наблюдение, открытие начинает заменять весь мир, в его голове и сердце уже нет места для всего мира... Я говорю о Мондриане... Он всю жизнь рисовал и писал только одну грушу, которая росла у него под окном... Никогда, ничего, кроме груши... И постепенно, наверное, незаметно для самого себя, художник начал рисовать вместо банального фруктового дерева сказочный канделябр из десятков, сотен квадратиков, а потом и вовсе забыл о груше и ушел в чистые цветные квадраты... Может быть, квадрат Малевича — лепесток с груши Мондриана?

Арсений Александрович вдруг порывисто встал, и мне показалось, что он захотел пройтись по комнате, но он, постояв немного и посмотрев в черное окно, тяжело опустился на стул.

— Теперь посмотрим на Луну. — Арсений Александрович развернулся к стоявшему рядом на окне телескопу, латунно-медный блик которого был неотъемлемой частью этой прекрасной кельи.

Какой-то мудрец полагал, что нет ни одного далекого места на Земле, которое не было бы откуда-нибудь близко. И в ту ночь такое место обнаружилось — это была Луна — до нее отовсюду на Земле далеко.

Мы по очереди смотрели на нее. Можно было разглядывать один какой-нибудь серебряный пейзаж, можно было двигаться между кратерами, отбрасывавшими мощные тени. Мне до этого казалось, что такие сказочные штуки видны только в мощные арагацкие телескопы. Оказывается, это чудо можно разглядеть в комнатную золотую подзорную трубу.

Бледно-румяная заря узкой полоской обрезала небосклон столицы и, отражаясь сквозь морозные стёкла окон, трепетала на стенах.

Я со своего ложа — раскладушки у дверей кабинета — увидел, проснувшись, Арсения Александровича, который сидя на своей тахте, разбирал утренние газеты, как обычно в таких случаях, сплошь нашпигованные новогодними стихами.

Он увидел, что я проснулся, и как бы обрадовавшись, сходу, трепеща от негодования и не в силах удержать в повиновении свои руки, всего себя, произнес вначале негромко, а закончил почти криком:

— Нельзя писать стихи, не зная астрономии! Эти люди, — он встряхнул пачкой газет, — путают названия и характер планет! Разве можно им доверять писание стихов! Вначале пусть изучат астрономию, а потом, может быть, пусть уж пишут!

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

До начала 60-х годов, работая в Лондонском университете, я часто ездил в Россию. Познакомился со многими интересными писателями и поэтами. Одной из самых ярких встреч была встреча с Арсением Александровичем Тарковским.

Мой московский знакомый спросил меня, не хочу ли я познакомиться с поэтом Тарковским. Я ответил: «Конечно хочу!», и он повел меня к Арсению Александровичу на его квартиру у станции метро «Аэропорт».

Впечатление от встречи с Тарковским было удивительное — мы сразу же заговорили о поэзии и о музыке. У него была замечательная коллекция грампластинок и каталог, куда он заносил новые поступления.

Тогда же Арсений Александрович попросил меня привезти ему пластинки с классической музыкой, в частности, Глюка. Позже я привез ему несколько пластинок, но прежде, чем отдать ему их, дал прослушать моей знакомой. Она поцарапала пластинки, и я помню, как горевал по этому поводу Тарковский. Сам он обращался с пластинками крайне аккуратно, перед прослушиванием вытирал с них пыль, а после — бережно укладывал в конверт.

Итак, при первой встрече мы говорили о музыке и о поэзии. Арсений (позволю себе так его называть, так как почти сразу же мы стали обращаться друг к другу по имени) стал читать стихи, в первую очередь, свои переводы, так как узнал, что я тоже занимаюсь поэтическим переводом с русского на английский. Меня поразила его манера читать стихи и запомнился его красивый, благородный голос.

Общаться с Арсением было легко, он был прост и обаятелен. Мы подружились сразу же. Я был счастлив общаться с Тарковским, эта дружба много значила для меня. Прежде всего, нас объединяла любовь к поэзии.

В июле 1968 года Тарковские приезжали в Великобританию в составе писательской делегации — была тогда в СССР такая форма туризма. Мы с женой¹ возили их по Лондону, показывали город, его достопримечательности. Гуляли по набережной Темзы, сидели на скамейке. А раньше Арсений и Татьяна Алексеевна так же показывали мне Москву. Арсений очень хотел, чтобы я увидел его любимое Коломенское, ансамбль, стоящий высоко над излучиной Москвы-реки.

В тот приезд Арсений с женой были у нас дома два раза. Первый раз мы засиделись до четырех часов утра. Когда я во второй раз заехал за Тарковскими в их гостиницу, я обратил внимание на то, что он берет свой портфель с собой. В ответ на мое недоумение, Арсений сказал, что никогда его не оставляет. «У нас кругом бесы!» — шепотом добавил он. В тот раз он много рассказывал о себе, об истории с переводами стихов Сталина. Говорил об ангажированности советской поэзии. «Мало того, что они хотят, чтобы о них писали, они хотят еще, чтобы их обожали!»

Когда мы с женой попросили его почитать стихи, он легко согласился, но попросил, чтобы не было публики...

Мне близка поэзия Тарковского, и я с удовольствием ее переводил. Поэтический перевод — это нелегкое дело. Переводить Тарковского было одновременно и легко и трудно. Я читал свои переводы Арсению, и мне кажется, что они ему нравились. Кстати, Лидия Корнеевна Чуковская рассказала мне, что она включала мою запись стихов Тарковского в переводе на английский и в то же время читала их русские тексты. Меня очень тронуло то, что она хвалила мои переводы, находя их близкими к оригиналу.

Я люблю стихотворение «Вот и лето прошло...» Хочу процитировать здесь эти стихи и их английскую версию в моем переводе.

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло,
Только этого мало.

Summer has gone
As it in a dream.
In the sun it was warm.
Only that's not enough.

Все, что сбывся могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

What could come true,
Like a five-fingered leaf,
Lay right in my arms
Only that's not enough.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Neither evil nor good
Passed by in vain.
All was bright as a flame,
Only that's not enough.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и в правду везло.
Только этого мало.

Life kept me under her wing,
Took care of me, saved me,
I was lucky, indeed.
But that's not enough.

Листьев не обожгло,	Leaves were not burned.
Веток не обломало...	Branches not broken...
День промыт, как стекло,	The day clear as glass,
Только этого мало.	Only that's not enough.

В 1969 году я вновь приехал в Москву и вновь виделся с Арсением. А потом я стал в СССР персоной нон-грата, потому что дружил с Лидией Корнеевной Чуковской, а она была «в опале»... И увиделись мы с Тарковским уже спустя много лет. Мы навестили его в Доме ветеранов кино. Моя жена, Наталия Семеновна Франк, попрощалась с Арсением Александровичем: «До свидания!» — «Вы думаете, *до свидания?*» — спросил он. Это действительно была наша последняя встреча с ним.

При каждой встрече Арсений дарил нам свои книги. Всегда надписывал их. Интересно, что тон его надписей теплел по мере укрепления нашей дружбы. «Дорогому Питеру Норману в память встречи в Москве — с пожеланием счастья. 28.IV.1967 г.». «Дорогому Питеру Норману на добрую память с любовью и радостью при встрече. 31.III.1969 г.». «Дорогим Наташе и Питеру с неистребимой любовью. 20.II.1984 г.». Я как самые дорогие реликвии храню книги Арсения.

Во время пребывания в 1965 году в Англии Анны Андреевны Ахматовой я много общался с ней, будучи ее переводчиком и «телохранителем». В ответ на мой вопрос, кого она считает большим поэтом в современной России, она сказала: «Арсения Тарковского. Вот это настоящий поэт!»

«А ЕСЛИ БЫЛ ИЮНЬ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ...»

В затонах остывают пароходы,
Чернильные загустевают воды,
Свинцовая темнеет белизна,
И если впрямь земля болеет нами,
То стала выздоравливать она —
Такие звезды блещут над снегами,
Такая наступила тишина,
И, Боже мой, из ледяного плена
Едва звучит последняя сирена.

Эти стихи были так не похожи на все остальные, напечатанные на той же странице журнала «Москва» (не помню номера журнала и года, но помню, что это было в начале 60-х). Всего одно маленькое стихотворение, над которым стояло имя неизвестного мне поэта: Арсений Тарковский. Стихи запомнились. Имя тоже. Когда я хотела записать только что сочиненные строки, я подкладывала под листок бумаги журнал с полюбившимся стихотворением. Для вдохновения. Я недавно начала писать стихи и по вечерам ходила на литобъединение при многотиражке «Знамя строителя». Литобъединение собиралось на Сретенке в Даевом переулке. Там читали стихи, курили, спорили, кого-то возносили до небес, кого-то ругали, приглашали в гости мэтров. Но имя Тарковского никогда не звучало. Он был еще мало известен.

Однажды я услышала, что при Союзе писателей открывается студия молодых литераторов. Меня пригласили в эту студию, и я с радостью пошла. Организационное собрание происходило в Малом зале Дома литераторов. Зал был набит битком. За длинным столом сидели писатели — будущие руководители семинаров. Речи, речи. По окончании собрания всем студийцам предложили подойти к спискам, висевшим на доске, и посмотреть в чей семинар они попали. Я мечтала оказаться в семинаре Давида Самойлова, но, увы, не оказалась. Я так огорчилась, что побежала к одному из организаторов студии, поэту Нине Бялосинской, с которой была знакома прежде, умоляя записать меня к Самойлову. «Не могу, — говорила Нина, — у него полно народу. Но я записала тебя к прекрасному поэту Арсению Тарковскому. Иди, познакомься с ним. Вон он, пожилой с палкой». Робея, я подошла к поэту. Тот встал, уронил палку, протянул мне

руку ладонью вверх и, мягко улыбнувшись, сказал: «Здравствуйте, дитя мое». И происходило это в 1966 году. Тарковскому было 59 лет.

На первом семинаре Тарковский произнес речь, если то, что он сказал, можно назвать речью: «Я не знаю, зачем мы здесь собрались. — говорил он с улыбкой. — Научить писать стихи нельзя. Во всяком случае я не знаю, как это делается. Но, наверное, хорошо, если молодые люди будут ходить сюда и тем самым спасутся от тлетворного влияния улицы». Вот с такой «высокой» ноты мы начали свои занятия. На каждом семинаре кто-то читал стихи, а потом семинаристы высказывались по поводу прочитанного. Почему-то на литобъединениях было принято нападать и кусаться. Тарковского такой тон шокировал. Было видно, что ему становилось неуютно в обществе юных волчат. Тарковский не хвалил всех подряд. Вышучивал неуклюжие строки, не пропускал ни одной плохой рифмы, но никогда не делал это грубо. Если же стихи ему совсем не нравились, он говорил: «Это так далеко от меня. Это совсем мне чужое». Арсений Александрович никогда не держался мэтром, вел семинары весело и любил рассказывать, как однажды Мандельштам читал в его присутствии новые стихи:

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа...

«Почему не Антуан?» — спросил Тарковский. — «Молодой человек! У Вас совсем нет слуха!» — в ужасе воскликнул Осип Эмильевич.

В присутствии Тарковского, такого артистичного, живого, ироничного и простого, смешно выглядели юные, неулыбчивые поэты, которые мнили себя гениями, говорили загадками, читали туманные стихи. Однажды, во время занятия, когда кто-то читал стихи, вошел один такой юный «гений», шумно подвинул стул на середину комнаты, взял со стола пепельницу, поставил ее возле себя на пол и, усевшись, закурил. В перерыве мрачный юноша подошел к Тарковскому и сходу стал читать ему что-то заумное и длинное. Арсений Александрович, который видимо надеялся в перерыве отдохнуть от стихов, покорно выслушал чтение до конца. Но когда тот собрался читать следующее, прервал его, спросив кто он и откуда. Молодой человек сказал, что работает в подвале. «Что Вы там делаете? Пытаете?» — осведомился Тарковский.

Арсений Александрович был терпим. Он не любил конфронтаций, острых углов. Никогда не спорил с пеной у рта, а просто молча оставался при своем мнении. Но он был непримирим и определенен, когда речь шла о принципиальных вещах. Мой друг Феликс Розинер был свидетелем такой сцены на семинаре молодых литераторов в Красной Пахре в 70-х годах. На общем собрании один из участников семинара вышел на трибуну и гневно заявил, что накануне вечером имярек пел под гитару антисоветские песни. «За такие песни расстреливать надо!» — кричал обличитель. И тут из зала раздался громкий голос Тарковского: «Того, кто говорит, что за песни надо расстреливать, необходимо немедленно лишить слова».

Наступил день, когда на семинаре в ЦДЛ обсуждались мои стихи. Не помню, что мне говорили, но помню, что я была удручена. Мне казалось, что Тарковского мои стихи оставили равнодушным. Некоторое время спустя Арсений Александрович вдруг попросил меня дать ему стихи. Он сказал, что хочет повнимательнее прочесть их. Когда я пришла к нему домой через несколько дней, Тарковский был в страшном волнении. Он шел мне навстречу. Вернее не шел, а прыгал на одной ноге (он был без протеза), тяжело опираясь на палку. «Здравствуйте, детка. Я как раз пишу Вам письмо. Вы чудо и прелесть, — говорил он. — И стихи Ваши чудо. Вы все прочтете в моем письме. Пойдемте в комнату». Мы сели на диван. Голова моя кружилась. Мне казалось, что это сон. Арсений Александрович придвинул к себе лист бумаги и стал дописывать письмо. «Читайте». — Он подал мне густо исписанный листок бумаги. Я читала и не верила своим глазам. Когда я кончила читать и посмотрела на Тарковского, он, улыбаясь своей особенной растроганной и ироничной улыбкой, быстро провел ладонью по моим волосам. «Все правда, детка. Вы чудо. Только пишите». Даже сейчас через двадцать с лишним лет, вспоминая тот день, я завидую самой себе. Потом до меня доходили слухи, что Арсений Александрович читал знакомым мои стихи, носил их в журнал «Юность» и читал вслух в отделе поэзии, что он ездил в издательство «Советский писатель» на прием к главному редактору Соловьеву и пытался ускóрить издание моей книги, которая лежала там без движения¹. Сам Тарковский никогда мне об этом не говорил. Разве что вскользь, без подробностей. Я не боюсь, что меня обвинят в нескромности, по нескольким причинам. Во-первых, как говорила Ахматова, беседуя с кем-то из друзей: «Мы не хвастаемся. Мы просто рассказываем друг другу все подряд». Могу ли я, вспоминая о своих отношениях с Тарковским, пропустить

одно из самых важных в моей жизни событий, связанное с ним? И кроме того, поэт не рожден поэтом раз и навсегда. Он может иссякнуть. Любое его стихотворение может стать последним. И тогда он гол, как сокол. И никакие прошлые стихи и успехи не утешат. Во всяком случае, меня. И потому я позволю себе привести полностью письмо Тарковского.

«Дорогая Лариса!

Я прочитал глазами Ваши стихи, прочитал весь Ваш 1967 год моему приятелю Владимиру Державину, и (как и он) нахожусь в состоянии восхищения, все радуюсь, каким очень хорошим поэтом Вы стали в ЭТОМ году. Раньше все было в начале шкалы отсчета, теперь же Вы занимаете наивысший уровень над поэтами послевоенного времени.

У Вас уже есть все, для того, чтобы задирать носик и не считаться ни с кем. Больше, чем в чье-нибудь, я верю в Ваше будущее. У Вас свой взгляд на каждую изображаемую реалию, все проникнуто мыслью, Вы прямо (в лучших стихотворениях) идете к цели; мысль крепко слажена, и нова, и нужна читателю. Особенно внимательно я прочитал стихотворения 1967 г., помéтил — что, по-моему, нужно исправить (ударения, звуки). На книгу стихов еще не набирается, не стоит хорошее разжижать ранними (послабей) стихотворениями. Что еще у Вас хорошо — это большое дыхание: синтаксического периода хватает на всю строфу и Вы прекрасно ее строите; что до формы, то идеалом мне кажется — совпадение ритма и синтаксиса, а это у Вас есть. ПОСЛЕДНИЕ СТИХ-НИЯ очень выигрывают от того, что вы стали строго рифмовать. Вы прелесть и чудо; теперь все — для поэзии, я уверен, что русская поэзия должна будет гордиться Вами; только ради Бога, не опускайте рук! Я верю в Вас и знаю, что Ваше будущее — не только как поэтессы, но и как поэта у Вас в кармане, вместе с носовым платком. Еще год работы — и слава обеспечена, причем слава еще более, чем Вам, нужна Вашим будущим ЧИТАТЕЛЯМ.

Преданный Вам А. Тарковский 10.IV.1967 г.

P.S. Не выбрасывайте этого письма, спрячьте его на год. Посмотрим, что принесет он Вам (нам), проверим мое впечатление. А. Т.»

С этого дня началась наша многолетняя дружба.

Так хочется удержать в памяти его мимику, голос и выговор. Он произносил какие-то усечённые, редуцированные гласные. Говорил так, будто ему не хватает воздуха, слегка задыхаясь. И стихи читал, будто на последнем дыха-

нии, замирая к концу. И тем не менее, великолепно доносил каждое слово, каждый звук.

А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду — стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду — стоит
В семи шагах, рукою манит...

Сама строка здесь прерывистая, как дыхание. И последнюю фразу он произносил, как бы сходя на нет: «А мать пришла, рукою поманила — и улетела...» Кто бы и как ни читал стихи Тарковского, я всегда буду слышать только его голос, помнить только его интонацию:

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

Арсений Александрович делает глотательное движение, будто сглатывает то, что стоит в горле и мешает читать...

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло,

и еле слышно —

Только этого мало.

Он читал абсолютно без пафоса, иногда с волнением, иногда почти индифферентно, но я не думаю, что кто-то может прочесть его стихи лучше, чем он сам. В 70-е, 80-е годы Тарковский нередко выступал в научных институтах, библиотеках, творческих союзах. Арсений Александрович всегда читал с мужем. «Из уважения к Музе», — говорил он. В 1976 году мы с мужем купили магнитофон и приехали к Тарковскому, чтоб записать его чтение. Это была моя давняя мечта. Арсений Александрович читал долго и щедро. К сожалению, качество кассет оказалось низким и сейчас их почти невозможно слушать. Слава Богу, теперь выпущены пластинки.

Тарковский любил читать стихи других поэтов. Однажды при мне к нему пришел прощаться перед отъездом в Израиль Анатолий Якобсон², и они с Тарковским наперебой читали Пушкина. Арсений Александрович часто читал Тютчева, Ин. Анненского, Мандельштама, Ходасевича, Ахматову. По-моему, Тарковский очень тосковал без нее. Однажды он грустно сказал мне: «Вот нет Анны Андреевны и некому почитать стихи». Когда Тарковский читал Ахматову, на глаза его наворачивались слезы. «Ее рукой водили ангелы», — говорил он. Тарковский любил вспоминать шутки Ахматовой. У Татьяны Алексеевны даже есть записная книжка, в которую она все годы их знакомства записывала ахматовские остроты.

Как-то, придя к Тарковским в Переделкино, мы увидели у Арсения Александровича на кровати маленький сборник Георгия Иванова, изданный за рубежом. «Послушайте, какой дивный поэт!» — воскликнул Тарковский и, открыв книжку, прочел:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны,
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Потом мы долго листали сборник и читали стихи по очереди. Арсений Александрович с удовольствием читал гостям стихи и прозу Даниила Хармса из хранившегося у него самодельного сборника. Часто читал понравившиеся ему стихи молодых своих друзей: Саши Радковского, Марка Рихтермана, Миши Синельникова, позже Гены Русакова. Всех нас он опекал, пытался помочь, хотя это было не просто и не всегда ему удавалось. «Плохие времена, детка, пятидесятилетие». — со вздохом говорил Арсений Александрович еще в начале нашего знакомства.

На моей книжной полке стоит фотография, сделанная в 72-ом году в библиотеке им. Чехова, где мы, молодые поэты Саша, Миша, Марк, Алик Зорин и я выступали со стихами. Тарковский вел вечер. «И как это было давно!» Марк Рихтерман умер в 80-ом году. Он успел увидеть в печати несколько своих стихотворений. Случилось это только благодаря усилиям Евгения Евтушенко, Арсения Александровича и его жены Татьяны Алексеевны Озерской, которая стала

другом всех молодых друзей Тарковского. У Саши Радковского до сих пор нет ни одной книги и даже ни одной настоящей публикации³. А те несколько стихотворений, что напечатаны, тоже, по-моему, появились в печати не без помощи Тарковского. Остальным участникам того вечера больше повезло: у нас есть книги. Хотя и урезанные, препарированные, но есть, что само по себе чудо, если учесть, что пятидесятилетие плавно перешло в шестидесяти-, а потом в шестидесятипятилетие. И все это время мы ждали, когда кончатся «праздники» и начнется жизнь. Невольно приходят на память строчки из самодельной книги никогда не печатавшегося поэта Владимира Голованова «Сентяб, октяб, нояб, декаб, кап, кап, кап...» Одно время Тарковский, которому случайно попал в руки машинописный сборник Голованова, с удовольствием угощал гостей его странными, абсурдными, смешными и горькими стихами: «А ледники ползут, как змеи, и тают, гадины, как масло...» — громко хохоча, читал Арсений Александрович.

Сентяб, октяб, нояб... Шли годы. И все это выморочное время Тарковский оставался для нас заповедником, где мы находили то, что исчезало на глазах: корневую, нерушимую связь с Русской и Мировой Культурой, благоговейное отношение к Слову, Музыке, Жизни. Арсений Александрович не любил пафоса, и мы ему никогда не говорили высоких слов, хотя каждый из нас понимал, что такое Тарковский. Его присутствие на земле вселяло надежду. И он сам всегда призывал надеяться, не опускать рук, хотя вовсе не был оптимистом. Вот как он надписывал свои сборники: «... с надеждой добра и пожеланием счастья, в ожидании новых стихов и книги, с заветом писать во что бы то ни стало... 18.8.69»... «с неистребимой верой в физическое бессмертие произведений подлинного искусства, в неодолимую силу их духовности, в то, что грядущему они — хлеб насущный. 7.2.1975».

Я всегда показывала Тарковскому свои новые стихи. Сперва читала их сама, потом он брал листки у меня из рук и прочитывал про себя или вслух своим особым вибрирующим голосом. Последние две строки он обычно произносил медленнее и тише, как бы замирая к концу и возвращая стихотворение туда, откуда оно пришло: в тишину, безмолвие, небытие. Тарковский редко ругал стихи, которые я ему читала, но я всегда видела, когда он по-настоящему взволнован. Иногда очень ценные замечания делала его жена Татьяна Алексеевна, переводчик художественной литературы с английского языка. У нее прекрасное чувство слова, и мне всегда было важно ее мнение. Когда я дарила Тарков-

ским свой очередной самодельный сборник, я всегда поражалась тому, с каким вниманием Татьяна Алексеевна прочитывала его и потом звонила мне, чтоб поговорить подробно о стихах. Случалось, что Тарковский просил меня почитать новое, но я вздыхала: «Новых нет. Не пишется». «Ничего, — отвечал он, — это перед стихами». Сам он некоторое время не писал и очень страдал от этого. И вдруг, по-моему в середине 70-х, произошел новый взлет. Он написал сразу несколько прекрасных стихов. Тарковский удивительно помолодел. И даже его реакция на чужие стихи изменилась. Он стал требовательнее, придирчивее, острее реагировать на то, что ему читали. После стольких лет привычного: «Все у вас хорошо, детка», я вдруг услышала замечания, критику, что было неожиданно и необычно.

Я никогда не видела Арсения Александровича озабоченным литературными делами. Он был далек от всех и всяческих группировок, от редакционной суеты и сплетен. Он был сам по себе. Я думаю, что книги его вышли во многом благодаря трудам Татьяны Алексеевны.

Я никогда не видела Тарковского сосредоточенно работающим за письменным столом, как подобает профессиональному литератору. Может быть, он работал так прежде, когда был моложе. И тем не менее в те годы, когда я его знала, им была написана целая книга стихов. А среди них такие шедевры, как «Пушкинские эпиграфы», «Зима в детстве», «Вот и лето прошло», «Памяти Ахматовой», «И я ниоткуда». Да разве все перечислишь. Он записывал стихи в свой толстый небольшого формата кожаный блокнот с ленточкой-закладкой. Этот блокнот он всегда брал с собой на выступления и читал оттуда новое.

Конечно, я занимаюсь зряшным делом, пытаюсь передать словами его облик, живую мимику, жесты. Лицо Тарковского казалось чрезвычайно подвижным. В глазах была нежность, а в углах губ уже таилась ирония. Временами, когда он себя плохо чувствовал, глаза его были полуприкрыты, и на лице появлялось страдальческое выражение. Но услышав что-нибудь смешное, он мог мгновенно просиять и расхохотаться. Иногда он вздрагивал и стонал, жалуясь, что у него болит нога. Ампутированная.

«Где моя палка-упалка, палка-пропалка?», — говорил Арсений Александрович, собираясь встать. Он часто ронял и терял свою палку. Но и когда тяжело опирался на нее, не было ощущения, что он устойчив. И, правда, он нередко терял равновесие, падал. Наверное, потому, что был импульсивен, порывист. И потому, быть может, что осмотрительность, осторожность не были свойственны ему. Он мог

полезть по приставной лесенке за книгой, лежащей на верхней полке. Мог встать на что-нибудь шаткое, чтобы починить лампу. Он ломал то руку, то ногу, но не менялся.

Тарковский часто немного играл, и не всегда удавалось понять, серьезен он или шутит. «Ой, умираю», — вскрикивал он, хватаясь за сердце, за локоть или плечо. «Что с Вами, Арсений Александрович? Что у Вас болит?» «Все болит. Душа болит. Я устал». «Отчего устали?» «От всего устал. Жить устал. Обмениваться, дышать». Когда раздавался звонок в дверь или телефонный звонок, Тарковский страшно вздрагивал, и лицо его искажалось, как от внезапной боли. «Таня-я-я», — громко звал он жену. «Звонят». Причем это «звонят» звучало как «пожар». По-моему, у Арсения Александровича была телефонофобия. По телефону его голос звучал почти панически, и он быстро кончал разговор.

Вижу его большие крепкие руки. Руки мастеравого. Тарковский и правда многое умел делать руками. Он мне показывал журнальный столик, который сам обтесал и отполировал. Он умел переплести книги и делал это изящно и со вкусом. В 1977 г. Арсений Александрович подарил мне рукопись только что написанной шуточной поэмы «Чудо со щеглом». Он сам переплел ее и оформил. Это был его подарок нам с мужем на наш пятнадцатилетний юбилей. Тарковский читал свою поэму вслух, хохоча так, что с трудом дочитал до конца. Он был очень артистичен. Удивительно красиво держал сигарету и ловко пользовался зажигалкой. В последние годы Татьяна Алексеевна запрещала ему курить. Он, как ребенок, пытался перехитрить ее, куря тайно и прося свидетелей его преступления не говорить Тане. «Из чего только сделаны мальчишки?» Тарковский всегда оставался мальчишкой. Если не карманы, то ящики его стола были набиты всякой всячиной: изящными зажигалками, красивыми записными книжками, разнообразными ручками, маникюрными наборами разного калибра. Он радовался красивым и экзотическим мелочам. Любил получать их в подарок и любил дарить. Когда родился мой старший сын, Тарковский подарил нам золоченый стаканчик с изящным рисунком и золотую лбжечку с орнаментом. «На зубок», — сказал он. Но главным его богатством были книги и пластинки. Если книги были навалены всюду и везде: на полках, на столе, на кровати, на полу, — то пластинки были тщательно разобраны, расставлены по местам. На них была заведена картотека, и Тарковский легко находил нужную. Когда у него появлялись дубликаты, он отдавал мне старые пластинки. Они и сейчас хранятся у меня в конвертах, на которых рукой Тарковского написано что и кем исполняется.

Однажды Арсений Александрович спросил есть ли у меня сонаты Бетховена. Я сказала, что есть. «А кто исполняет?» — спросил Арсений Александрович. Я не помнила. «Вы сами не знаете, что у Вас есть», — сказал он скучным голосом. Я очень расстроилась и с той поры изучила все свои записи и пластинки. У Тарковского пластинки никогда не лежали мертвым грузом. Он жил с ними. У него был прекрасный проигрыватель, и слушать музыку у Тарковского было особым удовольствием. И не столько из-за качества звука, сколько из-за самого хозяина. Трудно даже объяснить почему. Когда у него появлялась новая полюбившаяся пластинка, он сообщал об этом, едва вы входили в дом. Он как бы угощал вас ею. «Вот послушайте. Дивная вещь». Он прыгал к полке, доставал пластинку и, сняв с нее рубашку, аккуратно ставил на проигрыватель. Затем плюхался на диван и, откинувшись на подушку, слушал. Иногда при этом курил, а иногда полировал специальной пилочкой ногти. Ничего особенного не происходило, но для меня он был, пожалуй единственным человеком, в чьем присутствии мне было легко слушать музыку. Когда мы слушали Моцарта, он иногда брал с полки каталог Кехля и проверял, в какое время написана та или иная вещь. Он вообще очень любил словари и справочники. Когда я читала ему свои новые стихи, он, если в чем-то сомневался, посылал меня за словарем. «Ларисочка, вон словарь на нижней полке. Подите, детка, принесите. Вы молодая, у Вас ноги есть».

Помню, как эти книги и пластинки превратились в бешеную взбунтовавшуюся стихию, когда Тарковские собирались переезжать с Аэропортовской на Садово-Триумфальную. Помню, как измученные хозяева пытались укротить ее с помощью коробок и бечёвок. Помню, как на борьбу со стихией бросились Саша Радковский, мой муж и кто-то третий. В новой квартире оказалось шумно и пыльно и приходилось держать окна закрытыми даже летом. Все больше времени Тарковские проводили в домах творчества или на даче в Голицыне. Арсений Александрович не очень любил покидать свою московскую квартиру. Особенно жалко ему было расставаться с пластинками. Одно время он даже собирался завести лишний проигрыватель, чтобы возить с собой. Но так и не завел. В начале 70-х мы с мужем провели у Тарковских в Голицыне несколько летних дней. Дача казалась большой, тенистой. В комнатах, заставленных книжными полками, ностальгически пахло старыми книгами. Помню, что в одной комнате стоял тяжелый письменный стол, в столовой — камин, который иногда топили. Но главной достопримечательностью Голицына был старый телескоп.

Когда-то Арсений Александрович очень увлекался астрономией и в его огромной голицынской библиотеке было множество книг по астрономии. Он вообще интересовался науками: естествознанием, физикой. Любил беседовать с людьми, занимающимися наукой. Часто говорил с моим мужем-физиком на разные космические темы. На дачном участке росли кусты сирени, шиповника, малины. Живя там, мы каждый день собирали к чаю мелкую, сладкую малину. Дом казался загадочным, старым, скрипучим, хранителем многих тайн, свидетелем давних событий. Однажды я встала раньше всех и пошла на террасу пить кофе. Туда выходило окно комнаты, в которой спал Арсений Александрович. Он неровно дышал во сне, его рот был полуоткрыт, щеки ввалились. И я вдруг осознала, что Тарковский — старый человек и что он смертен. Когда он бодрствовал, лицо его становилось таким подвижным, он умел так смеяться и шутить, что подобные мысли не приходили в голову. Но сам-то он, как всякий поэт, думал о смерти и писал о ней.

А! Этот сон! Малютка жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши.
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!

Невозможно в таком рассказе придерживаться хронологического порядка. Вспоминается то одно, то другое. И хочется все удержать, все донести. Осень 1977 года. Мы с мужем едем к Тарковским в Голицыно. Я везу ему свою первую книгу, которая наконец-то после долгого ожидания вышла. Тарковский в постели. Он недавно упал, сильно ушибся и еще малоподвижен. Арсений Александрович берет книгу в руки, перелистывает страницы, кое-что читает вслух, изучает обложку и иллюстрации. Он рад моей книге, очень ждал ее появления и немало для этого сделал. Вижу, как он держит книгу своими большими сильными руками, как проводит по странице ладонью. Увы, когда десять лет спустя в 1986 году вышла моя вторая книга, Тарковский был уже почти отключен от внешнего мира. После операции под общим наркозом, которую он перенес в 1984 году, Арсений Александрович стал совсем плохо слышать, и даже то, что слышал, не всегда понимал. Он почти не говорил. Единственной живой реакцией была паника, когда он не видел рядом Татьяну Алексеевну. Он испуганно искал ее глазами и как ребенок, потерявший мать, восклицал: «Таня! Танечка! Где Таня?» На это было больно смотреть. В это не хотелось верить. Иногда вдруг случались просветы. Тарков-

ский оживлялся, радуясь приходу знакомых, друзей. Шутил. Но это длилось недолго. И снова на лице возникало столь несвойственное ему растерянное, беспомощное выражение. Тарковский уходил. Помню один из последних разговоров, когда он был еще самим собой. Весна 83-го года. У меня только что умерла мама. Кто-то из друзей дал мне книгу Моуди «Жизнь после жизни». Эта книга была мне нужна, как воздух. Благодаря ей мне казалось, что я сохраняю связь с мамой. Я сидела в переделкинской келье у Тарковских и рассказывала им содержание книги. Я видела, какое впечатление производят на Тарковского мои слова. Он слушал серьезно и напряженно, стараясь не пропустить ни слова. Как ему хотелось верить в те чудесные явления, о которых писал Моуди. Как хотелось ему верить в жизнь после жизни.

И я ниоткуда
Пришел расколоть
Единое чудо
На душу и плоть.

.....
А сколько мне в чаше
Обид и труда...
И после сладчайшей
Из чаш — никуда?

А тогда в 77-м он читал и перелистывал мою книгу. Тогда же зашел разговор об Андрее. Арсений Александрович с грустью сказал, что Андрей давно не звонил, не появлялся и даже не знает, что отец болен и лежит в Голицыне. И, о чудо, возвращаясь в тот день из Голицына, мы оказались в вагоне метро рядом с Андреем. Я бросила случайный взгляд на рукопись, которую он читал, и увидела, что это сценарий о Моцарте. Велико было искушение сказать ему, что мы едем от отца, который болен и скучает, но мы не решились, так как не были знакомы. Я много раз встречала дочь Тарковского Марину, которая часто навещала отца. Мы подружились и иногда перезванивались. Андрея же я видела только дважды в жизни: в первый раз в Политехническом музее на вечере Арсения Александровича, второй — тогда в метро. Саша Радковский видел его чаще и говорил мне, что порой казалось, будто Арсений младше Андрея. Рядом с Арсением Александровичем, который часто шутил и дурачился, Андрей казался молчаливым и серьезным. Саша видел, как они играли в шахматы. Когда Арсений Александрович проигрывал, он так расстраивался, что даже чувство юмора ему изменяло. Он требовал новых партий и играл до тех пор.

пока не выигрывал. Если же не удавалось взять реванш, Тарковский долго оставался не в духе. Я не видела, как играл в шахматы Арсений Александрович с Андреем, но знаю, что он не мог равнодушно смотреть на чужую партию. Однажды в шахматы сражались мои сыновья. Я что-то рассказывала Арсению Александровичу, но увидела, что он меня не слушает и весь поглощён игрой моих детей. Младшему было тогда лет девять или десять. Он только учился играть. Ему требовалось время, чтоб обдумать ход. Но не тут-то было. Арсений Александрович, передвинув на доске фигуру, требовал: «Ходи так». Но мой сын хотел ходить сам. Он поставил фигуру на место и сделал другой ход. Нелепейший с точки зрения Арсения Александровича. «Что ты делаешь?» — кричал Арсений Александрович и хватался за голову. — «Кто так ходит?». Он пытался повторить свой прежний ход, но мой сын вцепился в фигуру и не отпустил. Он был почти в слезах, Тарковский — в гневе, а я — в ужасе. Положение спасла Татьяна Алексеевна. Она пришла (это было, кажется, в фойе переделкинского Дома творчества) и увела всех в парк.

Я почти не встречалась с Андреем, но Арсений Александрович нередко говорил о нем. Особенно во время съемок фильма «Зеркало». Да и позже. Однажды Арсений Александрович сказал мне: «Сегодня был Андрей и рассказал сон: мы с ним по очереди ходим вокруг большого дерева: то я, читая стихи, то он. Скрываемся за деревом и появляемся снова...» Сон был длинный. Я не придавала этому рассказу значения и мало что запомнила. А позже поняла, что этот сон был началом «Зеркала», моего любимого фильма. Арсений Александрович видел фильм много раз, хотя это давалось ему не просто, и он всегда имел при себе валидол. Как больно смотреть «Зеркало» теперь, когда нет ни Андрея, ни Арсения Александровича, ни Марии Ивановны — матери Андрея. Какое счастье, что остаются стихи и фильмы. Какое счастье, что остался голос Арсения Александровича. Его неповторимый, глуховатый, вибрирующий голос:

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

Думая о «Зеркале», особенно о последних кадрах фильма, тех, где бескрайнее поле, через которое идут мать с детьми, я невольно вспоминаю маленький любительский снимок, который я видела у Арсения Александровича: по тропинке, взявшись за руки, идут отец с сыном. Снимок довоенный. Отец еще без палки, молодой, в белой рубашке с закатанными рукавами, а сын маленький, стриженный. Они сфотографированы со спины, идущими через поле солнечным летним днем.

Арсений Александрович часто повторял: «Зачем они мучают Андрюшку? За что они его так мучают?» Когда Андрей уехал, Тарковский долго не имел от него прямых вестей. Получив, наконец, длинное письмо, он читал его, перечитывал, давал читать друзьям. В том письме Андрей писал о причинах своего отъезда, о своих многолетних мытарствах и горестях. Теперь это письмо опубликовано и многократно процитировано. Когда Андрей умер, Арсений Александрович уже мало осознавал происходящее. И тем не менее Татьяна Алексеевна, боясь за него, старалась подготовить Тарковского к страшному известию⁴. Узнав о смерти сына, Арсений Александрович плакал. И все же удар, наверное, был смягчен тем состоянием, в котором он находился. Я была у Тарковских в Переделкине, когда туда приехала Марина, только что вернувшаяся из Парижа, с похорон. Она была утомлена и подавлена. Ей трудно было говорить. Арсений Александрович спал, одетый, на диване. Марина, несмотря на усталость, хотела дождаться его пробуждения, чтобы поздороваться и поговорить. Наконец, Тарковский открыл глаза. Марина наклонилась к нему: «Папа. Папа». Тарковский, увидев ее, спросил: «Что? Похоронили?» «Похоронили», — ответила Марина. Больше Арсений Александрович ни о чем не спрашивал.

Случилось так, что Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна пережили своих сыновей. Андрей похоронен в Париже, а Алеша, сын Татьяны Алексеевны, поблизости в Вострякове, куда Тарковские часто ездили. Несколько лет назад поздней осенью мы сопровождали их на кладбище. Арсений Александрович с трудом шел по размокшим от дождя дорожкам. Сперва мы навестили могилу Алеши, а потом могилу Марии Ивановны, похороненной там же.

Жизнь меня к похоронам
Приучала понемногу.
Соблюдаем, слава Богу
Очередность по годам.

Но ровесница моя,
Спутница моя бывая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия⁵.

Пишу одно, а вспоминаю другое: и драматичное, и забавное, и смешное. Вспоминаю, как летом 1972 года Тарковские приехали навестить нас в Заветы Ильича, где мы снимали дачу. Мы пошли вместе на речку, и мой старший сын, которому тогда было четыре года, завел с дядей Арсюшей разговор о том, что каждый человек похож на какое-нибудь животное. «Ну а я на кого похож?», — спросил Арсений Александрович. «Ты?» Мой сын задумался, внимательно разглядывая Тарковского. «На обезьяну», — уверенно заявил он. Арсений Александрович расхохотался. По-видимому, он был польщен, так как любил обезьян, считал их милáшками, и даже держал старую плюшевую обезьяну на своем диване. Когда мы собирались уходить с речки, мой ребенок отличился снова. Он долго следил за тем, как Тарковский пристёгивает протез, а затем громко спросил: «А дядя что, разборный?» Арсений Александрович всегда запомнил чужие шутки и любил их повторять. Он не терпел котурнов и даже о драматичном и тяжелом в своей жизни умел говорить, как о чем-то будничном и смешном. Однажды Тарковский рассказывал, как он со своими солдатами брал высоту. Мой муж спросил его: «А как Вы поднимали солдат в атаку? Кричали? Приказывали?» «Нет, — ответил Тарковский, — я им сказал: «Ребята, надо взять эту высоту. Если не возьмем, меня расстреляют». Даже о том, как он потерял ногу, Арсений Александрович рассказывал, как о забавном эпизоде. Он уже погибал, нога загнивала, а раненых все несли и несли. Госпиталь был переполнен. Врачи не справлялись, санитары спали на ходу. Тарковского спас лежащий рядом офицер, который выхватил пистолет и, направив на вошедшего хирурга, приказал нести раненого на операцию.

Интонация, междометия, улыбка Тарковского — этого не передашь. И все же, вспоминая один эпизод за другим, не хочу отпускать их в небытие. Даже мелочи. Вот идет разговор о фильме, который Тарковский видел накануне. «Что вы вчера смотрели?» — спрашиваю я Арсения Александровича. «Таня, что мы вчера видели?» Татьяна Алексеевна называет фильм. «Хороший?» «Чудовищный», — отвечает Арсений Александрович. «Как! Арсюша! — возмущается Татьяна Алексеевна, — ты вчера говорил, что хороший». «Я же не воробей, чтоб каждый день чирикать одно и то же», — невозмутимо отвечает Тарковский. Однако были фильмы, о

которых Тарковский всегда «чирикал одно и то же»: фильмы Чаплина. Как он любил Чаплина! Как оживлялся, когда говорил о нем! Я всегда вспоминала его строки из стихотворения, посвященного Мандельштаму:

Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.

Все, что происходило в жаркий майский день 89-го года в Большом зале Дома литераторов, казалось, не имеет никакого отношения к Тарковскому. На сцене гроб с телом покойного. Справа от гроба стулья, на которых сидят родные: жена, дочь, внуки. В полутемном зале те, кто пришел проститься с Тарковским. Обычная церемония: почётный караул, речи, цветы, музыка. Но Тарковского здесь нет. Мертвое лицо с ввалившимися щеками — разве это он? И вот я еду с панихиды, вспоминаю его стихи, говорю с ним, смеюсь его шуткам: «Ларисочка, приезжайте, детка. Я купил Ваше любимое желе — тварь дрожащую». Я вижу, как он характерным движением откидывает прядь со лба, слышу его голос:

И страшно умереть, и жаль оставить
Всю шушеру пленительную эту,
Всю чепуху, столь милую поэту,
Которую не удалось прославить...

Наступило лето. Месяц назад, 25-го июня был день его рождения. Первое лето без Тарковского. Первый день рождения без поэта. Но без поэта ли? Ведь я слышу его голос:

А если был июнь и день рожденья,
Боготворил я праздник суетливый,
Стихи друзей и женщин поздравленья,
Хрустальный смех и звон стекла счастливый,
И завиток волос неповторимый
И этот поцелуй неотвратимый...

«ЕДВА КАЛИТКУ ОТВОРЯЛИ...»

Попытки воспоминаний

...Никогда не помнил ни номера дома, ни названия улочки. Знал, что нужно идти от станции до фанёрного щита с киноафишей, а потом сворачивать налево...

Вот сейчас увижу пролёзшие меж досок забора ветки огромного одичавшего шиповника, поверну шею влево и... «едва калитку отворяли...» (далее, как говорится, по тексту...).

Конец шестидесятых, начало семидесятых.

Июнь. Июль. Август.

Господи, сколько тогда было света!

В Москве все словно пропитано едким, сухим дымом горящих торфяников, тяжело дышать, а здесь — воздух и свет.

Все окна нараспашку...

Старая засыхающая береза. Под ней дощатый круглый стол, все глубже врастающий в землю. Бревно, на котором он держится, подгнивает. Подгнившую часть отпиливают, и стол опускается все ниже и ниже.

Арсений Александрович перевешивается через подоконник, протягивает руку:

— Здравствуйте! Что происходит в мире?

— Как всегда, Арсений Александрович: «В Европе холодно, в Италии темно...»

— Да, да... «Власть отвратительна, как руки брадобрея...»¹

Впрочем, в эти годы власть была благосклонна к Тарковскому, точнее, смотрела на его поэзию сквозь пальцы: что-то запрещала, что-то корёжила — в общем, положение было довольно сносным — готовилась к изданию третья книга²...

Третья... Хотя, конечно, правильней назвать ее четвертой, но дело в том, что от первой книги остались рожки да ножки — два-три экземпляра. В сорок шестом ее набрали, но вскоре после известного постановления отослали на дополнительную рецензию Е. Ф. Книпович. И та по указке своего сердца («Злобствующие враги за рубежом утверждают, что мы пишем по указке партии. Дело обстоит несколько иначе. Все мы пишем по указке сердца, а сердца наши

целиком принадлежат партии», — навсегда втемяшены в головы советских школьников слова нашего верховного классика³) написала, что имя Тарковского естественно вписывается в черный пантеон русской поэзии, к которому принадлежат Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Ходасевич...

И не солгала ведь критикесса — и впрямь имя Тарковского принадлежит этому пантеону. Жаль вот только: не внесла Книпович в свой черный список Александра Александровича Блока. Видит Бог, он оказался бы в достойной компании. Внесла бы, и, может, не пришлось бы ей еще сорок лет с благоговейным придыханием рассказывать, извлекая — из памяти? — все новые и новые подробности, о своей дружбе с великим поэтом.

Что ж, спасибо ей и на том, что она сделала.

А первая книга Арсения Александровича, само собой, пошла под нож...

Но сейчас все более или менее сносно.

Конечно, кружат низко над головой, как вороны, договора — высятся горы подстрочников... «Как тот кавказский пленник в яме...»⁴ (правда, эти строки еще не написаны). Не снят запрет с фильма Андрея о Рублеве. Он объявлен антинародным. Лихие ребята! Они и историю собственного народа запросто объявят антинародной, если она не влезет в их схемы.

Но все-таки.

Идут стихи. Это — главное.

— Знаете, быть поэтом просто, нужно только полностью распоясаться... (Просто, Арсений Александрович, ой как просто! Надо всего-навсего раскрепоститься, обрести внутреннюю свободу. Но у большинства на это уходит вся жизнь. Да, вот еще новые закавыки: ты свободен, а судьба твоя не задалась или голоса, произносящего то единственное Слово, не слышно. И все: вся твоя свобода — псу под хвост.)

«Много званых, а мало призванных».

Одиночество.

Не обособленность, а именно одиночество Тарковского ощутилось мной с первой встречи.

Первая встреча. Еще не с ним самим, а с его стихами.

Ночь после отбоя. Древний немецкий городок Перлеберг. Коридор казармы. Запах хлорки и сосновых опилок, которыми моют пол. Стон органа в соборе. Фонарь за окном, «корябающий» асфальт средневековым светом. Стою у тумбочки дневального, перелистывая какой-то московский журнал. И... вдруг!

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий,
Я пил степную синь
И суп варил из мидий...

.....
И потому семья
У нас не без уroda
И хороша моя
Дунайская свобода⁵.

Обожгло свежестью легкие.

Кто это? Незнакомая фамилия. Появился новый поэт? Откуда у него такая полнокровная русская речь? Нынешние так не говорят. Внятность, членораздельность, невероятная естественность. Естественность *невероятная*, как пастернаковская простота *неслыханная*. И это в годы, когда за поэзию выдается грохот, скрежет, лязг? Не слова — рев стадионов, громыжание железнодорожных составов, тараканье мотоциклов. Можно оглохнуть. Потерять навсегда слух. (Что, кстати, со многими и произошло.)

И... вдруг!

Возврат.

Прочность.

Земля под ногами и небо над головой.

Все стало на свои места.

Цель поэзии неизменна — внесение гармонии в хаос.

Физически ощутилась правда блоковского определения.

Конечно, это теперь, тридцать лет спустя, я пытаюсь осмыслить происшедшее в ту ночь. А тогда я просто был потрясен и благодарен судьбе, что где-то живет поэт, сказавший:

Все разошлись. На прощанье осталась
Оторопь желтой листвы за окном⁶...

— Хорошо, что вы вместе, — есть хоть кому стихи почитать, — произнес Арсений Александрович в день нашего знакомства, когда я пришел к нему с Марком Рихтерманом.

Года еще не прошло, как умерла Ахматова.

И ему самому уже некому стало почитать свои стихи. Почти — некому.

Да, конечно, число любителей поэзии Тарковского росло довольно стремительно. Да, двери его дома на улице Черняховского были распахнуты и старым друзьям, и новым. Он заинтересованно всматривался и вслушивался в стихи молодых поэтов. Он еще не говорил полусерьезно, полусерьезно,

прочитав несколько строк присланной ему книги или рукописи и откладывая ее в сторону:

«Стар я стал...»

Смерть Ахматовой несла с собой не только горе потери последнего великого поэта, но и ощущение катастрофы, гибели культуры...

Когда я написал эти строки, пришел журнал со статьей Вячеслава Всеволодовича Иванова (человека, к которому Арсений Александрович относился с неизменной дружбой). Он, принадлежащий к другому поколению, пишет о том же.

Не хочу догадок о состоянии Арсения Александровича. Но вот его собственное признание:

...стою
Пред белой, бедной, непокорной
Твоею высотой горной

И сам себя не узнаю,
Один, один в рубахе черной
В твоём грядущем, как в раю.

Из цикла «Памяти А. Ахматовой».

«Один, один...»

Почти не осталось в его окружении (да и сколько их осталось во всей России?!) людей с той же, что у него, группой крови... Людей, у которых культура и нравственность растворены в крови, входят в ее состав, как красные кровяные шарики, а не благоприобретены (да и это редкость).

Как-то заговорили о современных поэтах, пользовавшихся шумным успехом, Арсений Александрович с непривычной для него резкостью сказал:

— Надо реже смотреть по сторонам, чаще оглядываться. Наглость считать себя поэтом, когда сзади такие гиганты: Тютчев, Баратынский, Блок. Да, да, не улыбайтесь — чрезвычайная наглость. Одно оправдание, если не можешь не писать, — жить с тем же душевным напряжением, что они. Пишите, как пишется. Не старайтесь быть понятными. Идиотизм считать других глупее себя. Не беспокойтесь, кому надо, тот вас поймет.

* * *

Голицынская дача... Впрочем, какая там дача! Одно название — просто половина старого дома, где до вселения

Тарковских располагалась сапожная мастерская и где поэтому в жаркие дни или когда растапливали камин возникал запах разогретой кожи и воска...

Две комнатки и запечная каморка, да еще небольшая веранда — место обитания Татьяны Алексеевны. Там она, обложившись словарями, либо переводила, либо правила гранки очередного переводимого ею американца или англичанина.

От веранды — через «каминную» (она же «столовая») — комната Арсения Александровича: стеллажи с книгами по астрономии, два телескопа, один, разобранный, — в ящике, другой, позеленевшей меди, — у окна, деревянная кровать, в изголовье фотография дочери. Полулёжа на кровати, Арсений Александрович читает, переводит, раскладывает карточные пасьянсы, решает шахматные задачи... И так изо дня в день, из года в год в течение почти двадцати лет. Ничего не менялось. Только провели воду и газ, и в темном коридорчике вместо электрической плитки зашуршали два голубых венчика.

Но, Боже мой, как же там было хорошо! Сколько там пережито и горького и горестного, но сколько там было веселья, безалаберности, чудачества!

И все снова и снова тянет вернуться туда, хоть знаешь, что это невозможно. Но вдруг отчетливо звучит голос *оттуда*, к нему присоединяются другие голоса — («и управлять я научился ими...»). Какая разница, что, быть может, именно *этот* разговор, именно *эта* встреча произошли не на голицынской даче, а в комнате или на кухне на улице Черняховского, на Садовой-Триумфальной, в Переделкине, просто на улице? Какая разница, если памяти угодно *так*, если она жива тем голицынским воздухом («твердым, слюдяным, земным, холодным и благословенным»)?

* * *

С кем только не сталкивала и не сводила жизнь Арсения Александровича, с кем — на миг, с кем — на час, с кем — на долгие годы: с генералом Самсоновым (да, да, с тем самым, чья армия погибла в Мазурских топях, — он был начальником кавалерийского училища в Елизаветграде — на родине Арсения Александровича), с атаманшей Маруськой Никифоровой, с убийцей германского посла Мирбаха левым эсером Блюмкиным, историком Е. В. Тарле, пушкиноведом Цявловским («Поразительно: он знал жизнь Пушкина буквально по минутам, но был начисто лишен поэтического

слуха — его реконструкции пушкинских текстов ужасающих»), с выдающимся знатоком и переводчиком античной литературы Андрианом Пиотровским, чешским публицистом Юлиусом Фучиком, физиком С. И. Вавиловым, художником Р. Р. Фальком...

Список, конечно, не полный, а если в него еще включить писателей, начиная с Ф. К. Сологуба («первый поэт, с которым я познакомился»), нескольких страниц не хватит только на одно перечисление имен.

Арсений Александрович рассказывал о встречах с ними, его неоднократно просили написать воспоминания: он то обещал, то отшучивался, как-то попробовал надиктовать на магнитофон, но потом попросил уничтожить запись, а мне не хватило ума записать за ним следом. Приходится отглаткиваться от весьма скудных заметок, которые я изредка делал...

* * *

Семья Тарковских состояла в родстве с семьей замечательных деятелей украинской культуры Тобилевичей, с драматургом — И. К. Карпенко-Карым, с актерами П. К. Саксаганским и Н. К. Садовским.

Арсений Александрович любил рассказывать, как однажды, во время гастролей в Петербурге, после спектакля за кулисы поблагодарить труппу за великолепную игру пришел царь Александр III. Актеров начали представлять: — Тобилевич... — Тобилевич... — Тобилевич... И вдруг... — Заньковецкая... Царь захохотал своим громовым хохотом: — О-ри-ги-наль-но!!

* * *

Мария Константиновна Заньковецкая была неравнодушна к отцу Арсения Александровича. У Арсения Александровича хранились ее письма к Александру Карловичу. Арсений Александрович собирался передать их в музей Заньковецкой в Киеве, но было ли это сделано или письма где-то затерялись, не знаю.

* * *

Мальчиком Арсению Александровичу случилось сидеть в артистической уборной П. К. Саксаганского и наблюдать.

как тот, пока его гримировали, пересчитывал червонцы, отбрасывая засаленные и мятые... К ужасу, говоря современным языком, театрального начальства, он требовал, несмотря на сборы, выплаты не после спектакля, а — до и всегда — одной и той же довольно значительной суммы, и всегда — новенькими купюрами. Мог задержать спектакль. Но на сцене был бесподобен (в тот день Арсений Александрович видел его в роли Голохвастого в комедии Старицкого «За двумя зайцами...»). Арсений Александрович говорил, что еще только Михаил Чехов и итальянец Моисси так запомнились ему своей игрой.

* * *

— Саша, хотите послушать мои воспоминания о Троицком? Я приятельствовал с его сыном (Арсений Александрович назвал имя, но сейчас не припомню)... Мы кутили в одной компании, а далеко за полночь всей компанией ввалились к нему домой. Уселись на кухне. Пили вино. Шумели... Вдруг открывается дверь, появляется Лев Давыдович. Поднимает руку, смотрит на часы: «Молодые люди, уже пять часов утра»... и уходит...

—??—

Вот и все мои воспоминания о Троицком.

* * *

Не знаю, насколько достоверен рассказ Арсения Александровича, или это просто писательская байка.

«А. С. Грин почему-то патологически ненавидел Андрея Белого. Помню как-то в доме Волошина он стоял наверху у тяжелого цветочного горшка. Внизу под лестницей сидел Белый. Александр Степанович тихонечко, как бы случайно, двинул горшок к краю, пока он не сорвался и, пролетев в нескольких сантиметрах от Андрея Белого, не разбился об пол.

«Опять промáзал», — в ужасе прошептал Грин».

* * *

«Я встретил Переца Маркиша⁷ незадолго до его ареста, на углу Кузнецкого и Петровки. Он был близок к безумию, затравленно оглядывался. Он знал, что его дни сочтены. Мне хотелось как-то отвлечь его от страшных мыслей, и я начал

ему говорить, что в каком бы языке ни жил поэт, национальность обязательно скажется. «Не мучнистой бабочкою белой я земле заёмный прах верну...» «Бабочка *мучнистая*» — это чисто еврейское определение. И тут Перец разрыдался. Я понял, что он не столько вслушивался в мои слова, сколько думал об ужасной судьбе Осипа Эмильевича и соотносил ее со своей».

Когда Арсений Александрович закончил рассказ, по его щекам текли слезы.

* * *

За четверть века менялись (порой очень значительно) привязанности Арсения Александровича в поэзии, отношение его к слову, да и в мировоззрение вносились некоторые коррективы.

Пушкин. Баратынский. Тютчев. Постоянные спутники. С ними Тарковский никогда не разлучался.

Неизменно благоговел перед Ахматовой (и перед ее поэзией, и перед ней самой).

Любил всегда, но все с большими оговорками, Блока и Пастернака.

Во время первой встречи:

— Вы не знаете поздних стихов Мандельштама?! «Стихи о неизвестном солдате» имеют для XX века такое же значение, как Эйнштейн, Фрейд (Арсений Александрович всегда произносил не Фрейд, а — Фрëйд), Пикассо...

А в последние семь-девять лет — прохлада, неприятие мандельштамовской синтаксической сложности.

Еще более резко изменилось его отношение к поэзии Цветаевой.

Арсений Александрович говорил, что не может переносить ее нервическую разорванности предложений, постоянного крика.

Нет, нет, и Цветаева, и Мандельштам оставались для него великими поэтами, но говорил он о них отстраненно, без былой страстности и любви.

Зато вошел в постоянный душевный обиход Арсения Александровича стоящий раньше в стороне Владислав Ходасевич. Тарковского восхищала его простота, пронзительность, безметафоричность. (О, как хохотал Арсений Александрович, вычитав у Вознесенского: «Метафора — мотор стихотворения»:

— А Пушкин!?. без мотора!!. «Я вас любил: любовь еще, быть может, / В душе моей угасла не совсем...»)

* * *

Высоко ставя «Столбцы» и «Торжество земледелия» Н. Заболоцкого, Арсений Александрович совершенно не принимал его поздних натурфилософских стихотворений, считал их навеянными популярными марксистскими книжонками.

Мне кажется, дело обстояло несколько иначе.

Заболоцкий был *воодушевлён* знаниями. Тарковский *отягощён* ими.

Сравните:

Мы, люди, — хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги...
От моря до моря, от края до края
Мы учим и пёстует младшего брата,
И бабочки, в солнечном свете играя,
Садятся на лысое темя Сократа⁸.

Это — Заболоцкий.

А мы уже в горле у мира стоим
И бомбою мстим водородной
Еще не рожденным потомкам своим
За собственный грех первородный⁹.

Это — Тарковский.

Заболоцкий ощущал вычленение человека из природы *торжеством* человека, Тарковский — *трагедией*.

Поэтому мне кажется, что Заболоцкий (при всей своей приверженности к так называемому традиционному русскому стиху) в своих натурфилософских стихотворениях порывал с традицией. Тарковский оставался верен баратынско-тютчевскому мировосприятию, обострённому современностью.

* * *

Заключив договор и получив аванс, Арсений Александрович честно пытался сразу приступить к работе. Но из этой попытки, как правило, ничего не выходило: подстрочники откладывались в долгий ящик и в переносном, и в буквальном смысле.

Но вот приближались сроки сдачи рукописи. И тогда Арсений Александрович заболел какой-то предпереводной нервной горячкой. Он становился раздражительным, у него болела голова, поднималась температура, с ужасом смотрел он на кипу подстрочников, хотел отказаться от работы, вернуть аванс (от которого уже оставались крохи), говорил.

что совершенно разучился переводить. И только когда из издательства звонили и предупреждали о выпадении книги из плана, он собирался, сосредоточивался и начинал переводить. Быстро, блестяще, легко. Совершенная естественность. Ни одной капельки трудового пота ни в одной из переведенных строк. Но как тяжело давалась эта легкость, как страшно она его изматывала, сколько крови высасывала!

Не один раз приходилось спорить с Арсением Александровичем о переводимости (точнее — о непереводимости) поэзии. Мне казалось, да и сейчас я так считаю, что передать живую интонацию поэта на другом языке (а это, на мой взгляд, главное в стихотворении) невозможно. В лучшем случае можно говорить о стихотворном впечатлении переводчика от подлинника или об импульсе, получаемом поэтом от стихотворения, написанного на другом языке, для рождения собственного стихотворения. Иногда Арсений Александрович со мной соглашался. Рассказывал, как однажды в юности сделал звуковой перевод стихотворения одного древнегреческого поэта. (Арсений Александрович читал вслух это стихотворение на древнегреческом, а затем свой звуковой перевод.) Русские слова по звучанию почти полностью совпадали с древнегреческими. Русское стихотворение имело смысл, конечно, совершенно не совпадавший со смыслом подлинника. Этот перевод Арсений Александрович принес Якову Голосовкеру. «Что это, молодой человек?» Тарковский объяснил, что, переводя, мы всегда стараемся передать смысл стихотворения, а он захотел передать его звучание. Голосовкер еще раз прочитал перевод и вздохнул: «Это, конечно, очень интересно, но если мы напечатаем такой перевод, нас вряд ли кто поймет. В слишком уж серьезное и скучное время мы живем».

Но чаще Арсений Александрович говорил, что цель переводческой работы — достижение эквивалентности между подлинником и переводом. Тут мне трудно, точнее, невозможно судить: для этого надо жить одновременно в стихиях не только двух языков, но и двух культур.

Но вот что безусловно: Махтумкули, Абу-ль-Аля аль-Марри в переводах Тарковского — явление российской словесности. И этими переводами, особенно Абу-ль-Аля аль-Марри, мне кажется, ему удалось сказать то, что он не успел (или не смог) сказать в собственных стихах (хоть сам Арсений Александрович говорил, что старается выбирать для перевода поэтов, которые далеки ему по духу, — но тут он либо лукавил, либо ошибался, либо мне не удалось его понять). Без этих переводов поэзия Тарковского оскудела бы, они — естественная, органическая ее часть.

* * *

Арсений Александрович, как никто другой, понимал, что в искусстве не действительно ньютоновское заключение: в искусстве нельзя, в отличие от науки, став на плечи гигантов, увидеть дальше других, в искусстве нет поступательного движения. Художник суверенен. Возможно только саморазвитие с опорой на внутренний духовный опыт.

* * *

Слух Тарковского был поразителен. Он безошибочно отличал, *написано* стихотворение или *записано*. Если версификация оказывалась удачной, мог сказать: «Что ж, возможна и такая поэзия». Но это в редких случаях.

* * *

Небольшое застолье за сценой после одного из вечеров в Ленинграде (начало 80-х).

— Арсений Александрович, что вы думаете о переселении душ?

Вопрос молодой, приятной во всех отношениях дамы, которая где-то что-то краем уха слышала о метемпсихозе, да ей, собственно, и дела нет до переселения душ, но ужасно хочется поучаствовать в «умном» разговоре.

— Я?!. ничего не думаю... Но как-то в 20-е годы Федор Сологуб взял меня с собой на заседание то ли философского, то ли теософского общества и ему там задали такой же вопрос... Федор Кузьмич ответил: «Да, да, я уже жил однажды... Древняя Греция. Точно такой же стол. И вокруг сидят точно такие же идиды».

И невинно улыбаясь, добавил: «Это к присутствующим не относится, я никого не хотел обидеть».

* * *

Я носился с только что вышедшей книгой Альберта Швейцера «Культура и этика». Дал почитать ее Арсению Александровичу. Он за ночь прочел.

— Швейцер — ангел. Но человек слишком зол, чтобы принять это (речь шла о швейцеровском благоговении перед жизнью).

* * *

От веры во множественность жизней во вселенной Арсений Александрович пришел к мысли, что наша жизнь единственна. Он часто повторял услышанное, кажется, от акад. А. Н. Несмеянова, что вероятность возникновения живого равна вероятности возникновения цветного телевизора из груды металлолома.

* * *

Как известно, отец Арсения Александровича был товарищем по сибирской ссылке Юзефа Пилсудского. Как-то, находясь в Вильнюсе, Арсений Александрович возложил цветы на могилу, в которой покоится сердце Маршала Польши. Этим он весьма шокировал узкий круг «широкой советской общественности», оскорбив его верноподданнические чувства, и тут же у него потребовали объяснений.

— Мой отец завещал мне чтить память его друзей! — ответил Арсений Александрович.

* * *

В холле переделкинского Дома творчества.

За столиком под лестницей Арсений Александрович, П. Г. Антокольский, Миша Синельников. Разговор вольный обо всем и обо всех.

Вдруг Павел Григорьевич резко вскрикивает:

— Вот мы тут болтаем, что в голову взбрédет, а в эту лампу (показывает на настольную лампу) вмонтирован микрофон.

Арсений Александрович:

— Садись, Павлик, садись! Сиди спокойно. Сейчас мы все уладим.

Подносит к губам лампу и громко:

— Гри-ба-чев о-чень хороший человек!

Пауза.

— И Соф-ро-нов о-чень хороший человек!

* * *

— Не любишь ты меня, Арсений! Ох, не любишь ты меня, Арсений, — некто сановный, судя по виду, сверстник Арсе-

ния Александровича, ставит на стол в цэдээловском буфете, за которым мы сидим, бутылку коньяку.

— Не любишь...

— Знаете, люблю-не люблю — это настолько субъективно... Мне, например, очень нравятся блондинки, а любить подлецов, извините, извращение.

* * *

Но бывали у Арсения Александровича приступы (мягко скажем) излишней осторожности. Конечно, проникали в дом и любители поэзии в штатском, и сверхдлительные стихотворцы, связанные с известным департаментом. Только не в таком количестве, в каком иногда казалось Арсению Александровичу.

Впрочем, об этом мне, родившемуся в другое время, оттепельному поскрёбышу, не след судить.

И еще одно «впрочем». Мне об этом трудно говорить: Татьяна Алексеевна была ко мне неизменно добра. Но... Охраняя Арсения Александровича от людей случайных, а порой и действительно страшных, она пользовалась только ей одной ведомыми критериями. Возникшая у нее неприязнь к какому-либо человеку бывала ничем не объяснима. Обвинения чудовищными. Больно было видеть, что от дома Тарковских почти отлучена Мария Сергеевна Петровых — друг юности Арсения Александровича, изумительный поэт и невероятной чистоты человек. А другой друг юности — Аркадий Штейнберг? Чем он провинился? Как не хватало их Арсению Александровичу в поздние годы!

* * *

Телефонный звонок ранним утром. Возбужденный голос:

— Саша, вы знаете, что вы написали?

Я испугался:

— Что, Арсений Александрович?

— Замечательное стихотворение о...

— Но это же давно, я уже после другие стихи приносил.

— А я сразу его проглядел, а вот вчера перечитал.

Торопливо:

— Не кладите трубку... Таня хочет с вами поговорить.

Счастливейшее утро в моей жизни. Но я не о том: если Арсений Александрович при его телефонофобии, едва прочтя пришедшиеся ему по душе строки, немедленно снял телефон-

ную трубку, чтобы сказать добрые слова молодому поэту, то мне, для которого пытка исписать четвертинку страницы, то мне, которому легче позвонить в Иркутск, чем отправить туда открытку, еще ни разу не пришлось снять трубку и поздравить своего молодого коллегу с удачей (я не говорю о своих друзьях-ровесниках — тут вроде бы все нормально). Что происходит со мной, да и только ли со мной? Или мы стали совершенно глухими? Или впрямь некому звонить? Не знаю.

* * *

Открыв для себя поэзию Ларисы Миллер, восторгаясь ее стихами, Арсений Александрович не однажды с горечью говорил: «Жаль, нет Анны Андреевны, привел бы к ней Ларису, вот бы старуха порадовалась».

* * *

Когда Марк Рихтерман написал на рукописи своих последних стихотворений: «Дорогим Арсению Александровичу и Татьяне Алексеевне — с любовью на всю оставшуюся жизнь мою», Арсений Александрович заплакал. Он знал, что жизни этой осталось совсем немного, знал, что Марка удерживает на свете только поэзия. «Чудо! Чудо!!» — говорил Арсений Александрович, читая приносимые из больницы стихи Марка. А когда Марка выпускали на несколько дней из больницы, как радовался он его приходу.

Разве такое забудется!

* * *

Арсений Александрович был поражен переворотом, происшедшим с Геннадием Русаковым. «Жена его, Людя Колылова¹⁰, очень талантлива, я от нее многого жду, а у него стихи умелые, но довольно слабые». И вдруг... вторая книга Г. Русакова¹¹, и в течение нескольких дней всем, кто только ни приходил, Арсений Александрович с восторгом читал стихи из этой книги.

* * *

Сегодня, всматриваясь в поредевший круг своих друзей, понимаешь, что почти всех нас свел вместе Арсений Александрович. Его друзья становились нашими общими друзьями. Потом друзьями становились друзья друзей. На долгие годы. В Москве. В Ленинграде. На Украине. На Кавказе. В Сибири.

* * *

— Вы едете в Киев? К кому? Счастливый человек — у вас еще есть бабушка!.. Я вам дам письмо к одному моему другу — Евдокии Мироновне Олышанской. Думаю, вы подружитесь...

Подружились, Арсений Александрович. До сих пор дружим. Уже четверть века.

* * *

— Давайте попробуем вас напечатать. Хотите? В нашем подъезде живет Женя Ласкина, она заведует отделом поэзии в журнале «Москва», я отнесу ей ваши стихи, а вы ей через неделю-другую позвоните...

Бог мой, мог ли подумать я тогда, что это начало знакомства с Евгенией Самойловной Ласкиной — моим (да и только ли моим?) ангелом-хранителем, моим светом, совестью, поддержкой, порой единственной, в самые тяжкие годы.

* * *

Перед переездом на Садовую-Триумфальную.

Сидим. Перебираем архив. Уйма писем. Зачитываю обратные адреса и фамилии отправителей. Арсений Александрович командует:

— В зеленую папку... — В корзину... — В корзину... — В красную папку...

— От Чуковского...

— Давайте я вам прочитаю. Это очень смешно.

Действительно, письмо от Корнея Ивановича по-чуковски язвительное, остроумное, озорное...

И вдруг несколько конвертов, надписанных никогда мной не виданным почерком — каждая буква отдельно от другой:

Минск. В. М. Айзенштадт.

— Дайте-ка, дайте-ка сюда! Это прекрасный, но очень мрачный поэт.

Отец мой — Михл Айзенштадт — был всех глупей
в местечке.
Он утверждал, что есть душа у волка и овечки.

Он утверждал, что есть душа у комара и мухи.
И не спеша он надевал потрёпанные брюки.

Когда еврею в поле жаль подбитого галчонка,
Ему лавчонка не нужна, зачем ему лавчонка?..

Знал бы я семнадцать лет назад, что судьба сведет меня с автором этих строк — поэтом Вениамином Блаженным и возникнет новая дружба — последний посмертный подарок Тарковского.

* * *

Насколько легко, просто, раскрепощённо (вот и попало никак не дававшееся слово, чтобы определить то влияние, которое оказывал Арсений Александрович на моих друзей и меня, — он помогал нашему раскрепощению, обретению внутренней свободы), так вот, насколько раскрепощенно я чувствовал себя, общаясь с Арсением Александровичем, настолько напряженно в присутствии Андрея Арсеньевича (видел я его раз восемь — десять, не больше). Разговора никогда не получалось, да, думаю, и не могло получиться. Я чувствую какую-то душевную несовместимость с поколением, к которому он принадлежит. При всей чрезвычайной одарённости (даже гениальности) многих из этого поколения, меня всегда отталкивала агрессивность их внешнего самоутверждения (я не говорю о нашем личном общении). Я отлично понимаю, что так, и только так они могли отстоять свою суверенность в послесталинское время. Понимаю, что они дали возможность нам, которые младше лет на десять — пятнадцать, жить «на глубине»... и все-таки, за исключением Владимира Леоновича, я ни с кем из них не ощущал душевного родства. Именно душевного, а не духовного. Я не говорю о творчестве. Без фильмов Андрея Тарковского жизнь для меня не представима.

* * *

Чего-чего, а агрессивности Арсений Александрович был лишён начисто. Ее не было ни в его поступках, ни в его поэзии, ни в его характере. Никакого внешнего самоутверждения. Ни разу я не видел, чтобы он вспылil, закричал, в сердцах хлопнул дверью, а ведь поводов для этого бывало предостаточно.

— Не будете печатать это стихотворение? Не печатайте. Да и вообще снимите всю подборку, — ровным голосом, без раздражения говорил он редактору очередного «Дня поэзии» и клал трубку. «Бандиты, что с них возьмешь. Все-таки мы счастливые люди — стихи можно положить в стол и дожидаться лучших времен. А вот что делать Андриюшке?»

Нет, нет, Тарковский не был мягок. Никто ничего из него не мог вылепить — ни социалистического реалиста, ни литературного деятеля, — хоть попытки такие делались, и неоднократно.

В начале тридцатых годов Арсения Александровича назначили довольно крупным радиона начальником. («В первый и последний раз», — говорил он.)

Но после передачи о Ломоносове¹², в которой руды, металлы, воздух и вода говорили человеческими голосами, да еще стихами, его вызвали к себе цеккистские верховоды и обвинили в том, что он протаскивает в советский эфир мистику.

— Какие вы все скучные, — сказал Тарковский и ушел, чтобы уже больше никогда не занимать никаких должностей, а те до того растерялись, услышав такое от молодого поэта, что даже не сделали подобающих случаю оргвыводов, которые могли быть по тем временам весьма суровыми.

Он не был мягок. Но он не был и борцом. Хотя и подписал несколько писем в защиту гонимых и не подавал руки писателю-чеккисту Аркадию Васильеву — «общественному» обвинителю на процессе Синявского и Даниэля.

Тарковский был просто русским поэтом. Порой капризным. Порой по-детски упрямым. Иногда чуточку надменным. Печальным он бывал, обескураженным тоже. Но никогда — угрюмым, а тем более мрачным я его не видел.

Была в нем лёгкость людей двадцатых годов прошлого века, людей с «прыгающей походкой», о которых так хорошо написал Тынянов. Да и чертами лица, когда я с ним познакомился, он походил на дагерротип вернувшегося из сибирской ссылки декабриста.

* * *

На улице Черняховского.

С Ларисой (?). С Марком (?).

Открывает Арсений Александрович. Испуганный. Бледный.

Одной рукой опирается на костыль, другой придерживает на лбу мокрое полотенце.

— Ой, ой, плохо мне.

— Что случилось, Арсений Александрович?

— Я думал, он возвратился...

— Кто?

Оказывается, приходил некий молодой поэт и несколько часов кряду читал свои стихи.

— Хорошие?

— Чудовищные, голова раскалывается.

— Как же вы от него избавились?

— Он попросил, чтобы я написал к его стихам предисловие...

— Ну и?..

Виновато:

— Написал.

Сокрушённо:

— А что мне оставалось делать?

* * *

Не знаю, от кого Тарковские узнали, что Арсению Александровичу, как инвалиду войны, могут разрешить поставить гараж во дворе дома на Маяковке. Но чтобы получить гараж (в который заодно приткнётся и «Волгу» Татьяны Алексеевны), надо получить «Москвич» с ручным управлением, но чтобы получить «Москвич», надо получить водительские права.

Началась машинная эпопея.

Медицинские комиссии, изучение правил уличного движения, практическое вождение и т. п.

Арсений Александрович с мальчишеским рвением и с мальчишеским любопытством постигал шоферские премудрости. С утра до вечера (в течение нескольких месяцев) только и разговоров о дорожных развязках, коробках передач, скоростях, сигналах...

Наконец новенький красный «Москвич» у подъезда.

Садимся. Машина трогается.

— Сейчас будет правый поворот. Для этого надо...

Руль брошен... и Арсений Александрович начинает рассказывать, что надо сделать, чтобы совершить этот самый поворот...

Бац!.. Бампер помят... Хорошо хоть «Москвич» еле полз.

Но довольно скоро Арсений Александрович освоился и стал водить машину совсем неплохо (конечно, не так, как Татьяна Алексеевна, когда водители обгоняемых машин только качали головами и крутили пальцем у виска, увидев за рулём бешено мчавшейся «Волги» далеко не молодую женщину — Татьяне Алексеевне в ту пору было под семьдесят).

Прошло еще месяца два-три, и опасная игрушка была заброшена.

Долго, долго стояла она, недобитая и испорченная, у голицынской дачи. Потом и вовсе куда-то исчезла. А гараж во дворе дома на Маяковке, из-за которого и разгорелся сыр-бор, так и не появился.

* * *

Голицыно... За окнами дождь. Промозглый, злой, бесконечный. Котята, дикие, взъерошенные, шипящие, никому не дающиеся в руки, прячущиеся даже от взгляда, по только им известным щелям пробираются в дом и забиваются под кровать погреться, а может быть, послушать, как рождается в смехе хозяина и гостей ими внушённая и им посвященная бессмертная книга «КОТАКИСИС»: «Муризм — это котизм наших дней», «Кошки насобачились ловить мышей», «Котфей всех наук», «Лучше мяукать стоя, чем мурлыкать на коленях», «Кто с мышом к нам придет, тот от мыша и погибнет», «Кошечка от кóтика не далеко падает»... и т. д. и т. п.

* * *

Голицыно... Идем на станцию после встречи Нового года. Идем от домика под заснеженными яблонями, от домика, пропахшего яблоками и хвоей, от домика школьной учительницы сына Татьяны Алексеевны, Алеши, — Анны Петровны Томашевской и ее мужа Дмитрия Ивановича Лапоткова.

Милые, милые Анна Петровна и Дмитрий Иванович! И за дачей-то они приглядывали, и продукты-то они приносили, а Дмитрий Иванович — он и водопровод чинил, он и мебель подправлял, он и окна стеклил. Любили они Тарковских, а Тарковские их.

Рано-рано. Свежо-свежо. Редкие звезды. Легкий морозец... Легкий хмель.

Арсений Александрович берет меня под руку.

— Знаете, мне хочется написать о гибели ремёсел. Я уже начал.

Мне другие мерещатся тени,
Мне другая поет нищета.
Переплётчик забыл о шагрени,
И красильщик не красит холста,

Златобит молоток свой забросил,
Златошвейная кончилась нить.
Наблюдать умиранье ремесел —
Все равно что себя хоронить.

А дальше не получается...

Никогда прежде Арсений Александрович не читал мне своих незавершённых стихотворений. Да, кажется, это одно из немногих его стихотворений, которое не родилось сразу.

* * *

Голицыно... Бредем к первой электричке. Еще далеко то время, когда Арсений Александрович, вспоминая кого-нибудь из недавно умерших друзей, будет говорить: бедный, бедная.

— Бедный Толя (о А. Якобсоне).

— Бедный Марк (о М. Рихтермане).

— Бедная Маруся (о М. С. Петровых).

— Бедный Павлик (о П. Г. Антокольском).

— Бедный Юрий Осипович (о Ю. О. Домбровском)...

Бедный Арсений Александрович. Бедные все мы.

Но до этого еще далеко.

Далеко, далеко до того дня, когда мне придется написать:

Иногда он как бы выныривал из глубины, в которую погрузился и испуганно оглядывался:

— Где Таня?

Увидев, что Татьяна Алексеевна рядом, успокаивался, опускал голову, казалось, дремлет. Но как-то (это было недели за две до его помещения в больницу) Татьяна Алексеевна наклонилась к нему:

— Арсюша, не спи. Врач просит, чтобы ты не спал днем. Не спи, не спи, художник! Как дальше, Арсюша, как дальше?

И вдруг Арсений Александрович (до этого несколько дней молчавший), с трудом выговаривая слова, но внятно, членораздельно и твёрдо произносит:

— Ты веч-но-сти за-лож-ник.

У вре-ме-ни в пле-ну.

Вскоре. Недолго. Больница.

«...Я БЫЛ, И ЕСМЬ, И БУДУ...»

Для меня Арсений Александрович Тарковский — самая значительная личность из всех, кого я встретила на своем веку.

А узнала я о нем довольно поздно.

Сначала прочитала в книге Лидии Лебединской «Зеленая лампа»: «Очень молодой и неправдоподобно красивый Арсений Тарковский, с глазами, поставленными по-кошачьи, декламировал свои, еще никому не известные стихи». Попыталась представить себе: «неправдоподобно красивый — это какой?..» В «Литературной Армении» прочитала потрясшие меня строки:

Друзья, правдолюбцы, хозяева
Продутых ветрами времен,
Что вам прочитала Цветаева,
Придя со своих похорон?..

Автором стихов был Арсений Тарковский.

Познакомилась с ответами Анны Ахматовой на анкету, где она называла Арсения Тарковского и лучшим современным поэтом, и лучшим переводчиком. А когда Ахматова умерла, и ко мне попали воспоминания о ее похоронах, такие безыскусные и точные по чувству, написанные вдовой Бенедикта Лившица Екатериной Константиновной Лившиц, я прочитала в них следующее:

«Говорил еще Тарковский, тоже очень тихо. Наверное, он плакал, когда говорил, потому что потом, когда он оказался рядом со мной, он все еще плакал, и не так, как плачут взрослые мужчины, а горькими слезами, с лицом, как у ребенка, искажённым гримасой плача. Я очень полюбила его за эти слезы, сразу во всем ему поверила».

Вскоре мне подарили большую фотографию, сделанную на похоронах Анны Андреевны: на фоне деревянного креста — прекрасное и горестное лицо. — «Арсений Тарковский», — сказали мне.

Так по одному лишь стихотворению, по этой фотографии с похорон и по нескольким фразам о нем я поверила в этого поэта и человека, поверила, что он — настоящий. Узнала, что несколько лет тому назад вышла первая книга его стихов, но ни у кого из знакомых ее не было.

К счастью, вторую книгу, вышедшую в том же 1966 году, мне удалось достать. Называлась она «Земле — земное», и

ворожба́ ее стихов настолько вошла в мою кровь, что я восприняла это как знак судьбы: еще так недавно не стало Анны Ахматовой и стихи Арсения Александровича пришли ко мне как утешение. Я твердила их постоянно и вскоре почти всю книгу знала наизусть. Но я и не думала о том, что в недалеком будущем познакомлюсь с Арсением Тарковским.

А потом в печати появились четыре стихотворения Тарковского, посвященные Анне Ахматовой, и я не смогла устоять: очень хотелось в моем ахматовском собрании, которое уже в ту пору стало стержнем моей жизни, иметь автографы.

С такой просьбой я и обратилась к Арсению Александровичу в конце 1968 года.

Ответ пришел быстро. Тарковский писал об Анне Ахматовой, посылал автографы и просил, чтобы я прислала хоть несколько своих стихотворений. Получив их, откликнулся большим интересным письмом. В частности, он писал: «Художнику свойственно умение — трудно, впрочем, определенное — аккумулялировать энергию поэзии, отращивать свои крылья постоянным напряжением духа для того, чтобы через периоды устойчивости время от времени забрасывать себя на новые, более высокие ступени. <...> А Главное — вынашивать в себе новые силы, у души тоже есть что-то похожее на мышцы, и это что-то требует тренировки»...

В конце письма говорилось: «Если будете в Москве — непременно придите к нам. А до того — пишите, пожалуйста!»

А писать в то время я как раз и не смогла: тяжело умирала моя мать, и все мысли и чувства были направлены к ней. Поэтому я ответила на письмо всего несколькими строчками.

Арсений Александрович всей душой воспринял мое горе. Он писал: «Мне очень обидно, что я не знаю, чем я могу быть Вам существенно полезен, но все же, если Вам что-нибудь от меня понадобится — во всех случаях прошу Вас помнить, что я еще существую на свете». Тогда, в первые месяцы нашего знакомства, к тому же заочного, меня поразила отзывчивость Тарковского, но потом я убедилась, что это чувство очень свойственно ему.

В письмах ко мне он по-прежнему делился своими мыслями о жизни, о поэзии, об искусстве, своими радостями и огорчениями. Однажды пожаловался:

«Сегодня меня разокхватило чем-то бревнообразным по голове: по (как говорили в старину) независимым от редакции обстоятельствам из моей книжки изъяли весь цикл

стихотворений «Памяти Анны Ахматовой». <...> И так, книга для меня, верно, наполовину обесцэнена».

Я несколько раз слышала мнение, что Арсений Александрович был совершенно равнодушен к публикации своих стихов. Это, как мне кажется, совсем не так. Конечно, судьба его книги, уничтоженной в 1946 году (от всего тиража осталось 4 экземпляра¹), больно отразилась на нем и он долго не решался на следующую попытку. Только благодаря удивительной энергии его жены, известной переводчицы с английского Татьяны Алексеевны Озерской², вышел в 1962 году его первый сборник со знаменательным названием «Перед снегом». Но о том, что ему нелегко было сознавать свою оторванность от читателя, свидетельствует письмо от 30 марта 1969 года (хоть в нем поэт говорит вроде не о себе, а о необходимости для меня издать книгу):

«Казалось бы, желание увидеть в печати свои стихи — желание мелочное, детское, но это, конечно, не так. Для автора стихов стихи кажутся существующими только для того, чтобы их написать, а читателю — для того, чтобы их прочитать, и стихи начинают существовать только после того, как произойдет слияние этих двух заинтересованностей. До этого стихов просто нет, как нет звука, если он не услышан, или цвета, если его не видят»...

Письма Арсения Александровича... Их много: более сотни. Каждое из них — не формальная отписка, которыми так грешит наше торопливое время, а диалог, искренний и доверительный, умение вслушаться в слова собеседника, хоть и на расстоянии. И еще — желание этого собеседника пусть немного, но порадовать. Поэтому в письмах так много шуток, экспромтов, поэтому в конце письма он рисует симпатичного пса на задних лапах, который в передних держит букет цветов, или целую страницу занимает рисунок «самого большого в мире цветка», а на конверт приклеивается «самая красивая марка» («чтобы Вы знали, как я к Вам отношусь»).

18 мая 1969 года я приехала в Москву и позвонила Арсению Александровичу. Он пригласил меня на следующий день к трем часам дня на обед. И тут произошла смешная история. Я, как истинная провинциалка, решила: на обед не пойду, чтобы не чувствовать себя неловко, а приеду позднее. И приехала в 5 часов.

Двери открыла Татьяна Алексеевна.

Она приветливо улыбалась, но Арсений Александрович, стоящий с ней рядом, был хмур. — «Разве можно так опаздывать!» — с упрёком сказал он. Я смутилась еще больше и хотела уже ретироваться, но Татьяна Алексеевна,

поняв мое состояние, обняла за плечи и повела в комнату. По дороге шепнула: «Не обращайтесь внимания: Арсений уже два часа ждет обеда. А голодный мужчина — это зверь!»

Пока обед разогревался, все выяснилось: оказалось, он сам ездил на рынок выбирать мясо, затем тушил его, жарил свой любимый сыр сулугуни, чтобы как следует принять гостью, и очень огорчился из-за моего опоздания.

Вначале он смотрел на меня несколько настороженно, оценивающе: видно, не сразу «накладывался» новый образ на тот, что сложился во время переписки. Но очень скоро настороженность исчезла. Арсений Александрович много шутил и сам заразительно смеялся. Затем стал рассказывать об Анне Ахматовой, а Татьяна Алексеевна дополняла его рассказ интересными подробностями. В основном, они вспоминали всякие веселые истории, любимые словечки Анны Андреевны. И вдруг совершенно неожиданно и очень естественно Арсений Александрович сказал:

«Когда Анна Андреевна умерла, я был уверен, что тоже умру. И Таня не сомневалась...»

И за этой фразой стояла такая печаль, что усомниться в ее искренности было невозможно.

Он показывал вёрстку своей книги «Вестник», читал из нее новые стихи. Я впервые слышала его поразительное чтение.

Он расспрашивал меня о моей жизни, друзьях, попросил прочитать мои стихи. И меня поразило, как внимательно он умеет слушать, как прост и органичен в общении.

Когда я снова пришла через несколько дней, он подарил мне свои семь стихотворений, посвященных Анне Ахматовой, напечатанных на машинке и собственноручно переплетённых, с дарственной надписью: это были те самые стихи, которые выбросили из вёрстки «Вестника». Я была счастлива, и у меня вырвалось: «Вы даже не представляете себе, какой подарок сделали мне в день рождения!»

Арсений Александрович обрадовался: «Сегодня Ваш день рождения? Сейчас выберем Вам подарок!»

Он достал большой альбом Пиромани и написал его экспромтом:

Не могу себя исправить,
Я — нескладный господин,
Но свершаю долг один:
Честь имею Вас поздравить
Со днем Ваших именин.

Далее шла дата, а под ней приписка, очень порадовавшая и смутившая меня:

— От нового друга А. Тарковского.

С этого времени, приезжая в Москву, я почти каждый день посещала гостеприимный дом Тарковских, а иногда даже жила у них.

Никогда не забыть мне этих удивительных вечеров. Сначала, как правило, были гости, ученики Тарковского, которые стали и моими друзьями: Саша Радковский, Лариса Миллер. Потом они уходили, и мы оставались вдвоем, засиживаясь за разговором до глубокой ночи. Ложась спать, Татьяна Алексеевна или Арсений Александрович спрашивали, читала ли я ту или иную книгу, которая недавно их заинтересовала. В большинстве случаев, в Киеве я этой книги даже не видала, и они торжественно приносили ее мне для прочтения. По утрам они вставали довольно поздно, так что я успевала многое прочитать и даже переписать, если это были стихи.

Сначала я посещала их в доме по улице Черняховского, а потом — в новой просторной квартире на Садовой-Триумфальной³.

В 1973 году, когда производился этот обмен, Арсений Александрович писал мне: «Если... удастся переехать, то для Вас в доме всегда будет постоянное пристанище, когда бы Вы ни захотели приехать — днем, ночью, летом, зимой».

Часто Арсений Александрович делился своими мыслями по самым разным вопросам, которые занимали его. Например, в 1974 году он рассказывал нам с мужем, что впервые в книге, вышедшей в издательстве «Наука», приводится отрывок из «Евангелия от Фомы», и прочитал оттуда вслух несколько страниц. Затем рассказал о своей версии, почему у Иисуса и Пилата произошел следующий разговор:

— Ты царь иудейский? — (Пилат).

— Ты слышал об этом или сам знаешь? — (Иисус).

— Но ведь я не иудей! — (Пилат).

Арсений Александрович узнал из книги о том, что недалеко от Иерусалима находился монастырь (или другой религиозный центр), где проходили обучение, а закончившие его и выдержавшие экзамен именовались «царями иудейскими». О Христе ничего не известно, где он был с 13 до 30 лет. Тарковский считал, что он был в таком монастыре и вышел оттуда, получив звание «Царя Иудейского».

Потом так же серьезно, как только что рассуждал о Христе, Арсений Александрович стал говорить о детях, о том, как они бывают порой мудры. Он сказал, что сын Ларисы Миллер Илюша, которому 6 лет, очень красив и умен. Недавно он подошел к Арсению Александровичу и

сказал: «Скоро найдут такую таблетку, чтобы человек принял ее и стал бессмертным».

«Но это же очень скучно — жить вечно!» — ответил Арсений Александрович.

«Это прекрасно!» — возразил Илюша.

Тарковский очень любил музыку. Помню, как при мне позвонила ему директор магазина «Мелодия» и сообщила, что прибыла большая партия зарубежных пластинок, и он тотчас заспешил в магазин. На следующий день смущенно сказал: «Истратил все имеющиеся в наличии деньги, даже перед Таней неудобно».

Не помню ни разу, чтобы во время наших встреч у него дома он не предложил бы послушать музыку. Огорчился, что я не знала композитора Шютца, который значительно раньше Баха писал прекрасную музыку для органа, и подарил мне пластинку. Уже после его кончины я в Ленинграде у Михаила Кралина увидела такую же пластинку с дарственной надписью Арсения Александровича. Любил и знал не только классическую, но и хорошую современную музыку. В новой квартире так разместил пластинки, что за одну минуту мог найти любую из них.

Когда в последние годы из-за бытовых трудностей Тарковские вынуждены были жить сначала в Доме творчества в Переделкине, а затем в Доме ветеранов кино в Матвеевском, Арсению Александровичу очень не хватало его любимых книг и музыкальной коллекции.

Лариса Миллер, Александр Радковский, Марк Рихтерман, Михаил Синельников были учениками Арсения Александровича. Не помню ни одной нашей встречи, чтобы кто-нибудь из них не посетил Тарковских. Их вспоминали во время беседы, о них поэт часто упоминал в письмах. Особенно о Ларисе и Саше.

«Саша пишет все лучше и лучше» — читаю в одном из писем.

«Лариса, как заведённая, пишет зальпами изумительно прекрасные стихи».

Он их называл «мои дети». В одном письме говорится:

«Дети, — мои и не мои, — меня навещают».

«Мои» — это сын Андрей и дочь Марина.

«Не мои» — это ученики. Он представлял их на вечере. У себя в кабинете поставил большую фотографию Ларисы. («Правда, хорошее лицо?» — спросил у меня однажды.)

Его интересовали не только их стихи, но и их жизнь. Он тревожился о них, как о близких, и радовался за них. В одном письме писал о том, что Марина (дочь) и Лариса Миллер одновременно ждут второго ребенка и хорошо бы, если бы родились девочки.

Одно время Саша зачастил в Киев, и Арсений Александрович спрашивал у меня в письме:

«Как там у Вас в Киеве мой Сашенька? Нравятся ли Вам его стихи?» Очень печалился он, когда умер один из этой четверки -- Марк Рихтерман. В Голицыне в 1978 году (Марк тогда уже был обречён) говорил мне, давая прочитать последние стихи молодого поэта: «Он уже умирал, но Бог оставил его на этом свете, чтобы он мог высказаться до конца».

Часто рассказывал о своем детстве, о родителях. В нем до последних лет жил любознательный мальчишка, и это особенно проявлялось в его смешных и печальных рассказах о детстве, которые он вскоре начал записывать⁴. Один из рассказов появился в журнале «Семья и школа», и Арсений Александрович подарил мне этот журнал. Остальные же не находили своего издателя.

В 1973 году, когда скопилось десять рассказов, он собрал их в книжку, которую назвал «Константинополь и другие рассказы». Третий экземпляр этой книжки переплёл и подарил мне с надписью:

«Милой Евдокии Мироновне с давней любовью от ее старого друга, константинопольца.

А. Тарковский».

Прошло чуть ли не 15 лет. И вот я узнаю, что в журнале «Знамя» должны были печатать несколько рассказов Тарковского, но самый большой из них — «Обмороженные руки» — в редакции потеряли; и другого экземпляра нет. Арсений Александрович расстроен, Марина, дочь, советует ему написать рассказ наново, но это невозможно.

Счастливая, я сообщаю: рассказ есть у меня!

Прекрасные автобиографические рассказы Арсения Тарковского появляются в журнале. И мне приятно: хоть один из его многочисленных подарков заслужен мною.

А сколько книг и художественных альбомов я получила в подарок от Арсения Александровича! И на всех была надпись, — чаще всего шуточная и в стихах. Он был мастером экспромтов, и как все, за что ни брался, они у него выходили изящными и милыми. Приведу для примера хоть немного таких надписей.

На альбоме постимпрессионистов Арсений Александрович написал: «Мы с Сезанном слагаем эту книжку к ногам милой Евдокии Мироновны с любовью.

Ван-Гог

и А. Тарковский».

На прекрасной книге Яна Панадовского «Алхимия слова» написан такой экспромт:

Все на свете полова,
Кроме милости Божьей,
И алхимия слова,
Правду вымолвить, тоже.
Но — для чтения — это
Книга, нужная людям,
Как намёк, что поэта
Уважать мы не будем,
Что и он — прощелыга,
И циркач, и бродяга,
Что поэзия — иго,
А не вечное благо.

В 1978 году я по приглашению Татьяны Алексеевны и Арсения Александровича гостила у них в Голицыне. Тарковские жили там довольно уединенно, много времени посвящая работе. Лишь изредка приезжали гости: помню прекрасный вечер за чаем, когда в гостях были друзья из Армении — писатель Леонид Гурунц и его красивая жена.

Арсений Александрович показывал мне свою, оборудованную собственными руками, домашнюю обсерваторию, откуда он наблюдал за звёздным небом. Может быть, приезду большого количества гостей мешала плохая погода: пять дней, почти не переставая, лил дождь. Но на даче было уютно, а сколько интересного рассказал за эти дни Тарковский о Марине Цветаевой и Александре Кочеткове! Своих стихов он не читал тогда, но прочитал свой перевод очень сильной поэмы грузинского поэта Ираклия Абашидзе «Голос у Голгофы».

Татьяна Алексеевна и Арсений Александрович огорчились, что из-за дождя не могут показать мне окрестные места, которые они любят.

Лишь на пятый день распогодилось, и утром Татьяна Алексеевна сказала: «Сегодня мы Вам покажем самые красивые места Подмосковья!»

В дороге Арсений Александрович рассказывал о тех местах, мимо которых мы проезжали, а я снова удивлялась, как много он знает об эпохе Бориса Годунова, ее архитектурных памятниках. Места действительно были очень красивыми, и Арсений Александрович сказал, что не зря их называют «русской Швейцарией».

Посетили Захарово, имение бабушки Пушкина, где он проводил лето в раннем детстве. Грустно было видеть, что после дома отдыха или пионерлагеря, который был много лет на месте имения, почти ничего не уцелело. Заглядывали в щели деревянных ящиков, в которые были зашиты две

мраморные скульптуры — последнее, что сохранилось от убранства имени, и пытались представить себе, как все это выглядело в пушкинские времена. Арсений Александрович читал стихи Пушкина, навеянные этими местами, и многие другие, которые любил. И сейчас слышу, как он читает:

«В начале детства школу помню я...»

Возвращаясь домой, проезжали мимо книжного магазина, увидели, что двери его открыты, и вышли из машины. Но нас ждало разочарование: в дверях стоял стул — это означало, что в магазине перерыв. Постояв немного, с огорчением пошли к машине, но вдруг из магазина нас окликнула молодая девушка. Она увидела, как Арсений Александрович шел к машине, опираясь на палку, и решила сделать для него исключение.

В магазине Тарковский увидел какую-то книгу и обрадовался: «Вот ее я и хотел купить!» — Это был довольно объемистый, но изящный томик зеленого цвета — «Путеводитель по Подмосковию».

Вечером он протянул мне эту книгу: «Вот Вам подарок». Я стала отказываться, а Арсений Александрович сказал, улыбаясь: «Отказываться уже поздно: Вы в этом убедитесь, если заглянете в конец книги».

На чистом листе «Путеводителя», оставленном для замечаний экскурсантов, было написано:

Голицына беспечный житель,
 Дарю с любовью
 Вам этот вот «Путеводитель
 по Подмосковию».
 Вы киевскую Вашу дремлю
 Избыть спешите
 Иль путь к голицынскому дому
 Хоть здесь найдите.
 Преодолев поток событий
 Посредством прыти.
 В объятья наши упадите,
 У нас живите!

29 июля 78

Голицыно

А. Т.

Не только чужие книги, но и книги своих стихов и переводов Арсений Александрович надписывал шуточными экспромтами. (Не любя патетики, он таким образом избавлялся от излишней торжественности, с какой обычно делают

подарки). Так книжку своих переводов поэмы И. Чавчавадзе он написал стишком:

Чавчавадзе — князь грузинский
Преподносится Ольшанской
В знак огромной, исполинской,
Необъятной и гигантской
Дружбы: так привет Тарковский
Шлет в Ваш город украинский
Из провинции московской.

Одну из самых любимых мною своих фотографий, снятую в 50-е годы, в день своего рождения, тоже написал стихами. На этом снимке запечатлен счастливый, улыбающийся Тарковский. Руки у него подняты вверх, и в одной из них — бутылка, а в другой — шампур с шашлыком. Надпись же гласит:

Здесь плотоядный, как калмык,
Я пью вино и ем шашлык.
Дарю на память Евдокии
Свой ужасающий портрет:
Смотрите же — вот мы какие!
И этот человек — поэт?

В 1970 году Арсений Александрович подарил мне свою первую книгу «Перед снегом», вышедшую в 1962 году: как я ни пыталась ее достать за эти годы, но не смогла. На ней — тоже стихотворная надпись:

Вы для меня — родных родней, —
Примите от души усталой
Дела давно минувших дней,
Преданья старины бывалой.

Подарок этот я получила в Киеве, в своей квартире. В июле 1970 года Тарковские ездили на Украину, в Житомир, чтобы повидаться с его другом детства⁵. (Как счастлив был Арсений Александрович, что успел побыть с другом, которого через несколько месяцев не стало...) По дороге «в оба конца» они дважды гостили у меня в Киеве.

Случилось так, что в те же дни в Киев приехал из Ужгорода Феликс Кривин⁶ с женой. Они «нагрязнули» в гости и здесь застали Тарковских.

Это был очень веселый вечер: Арсений Александрович и Феликс наперебой рассказывали смешные истории. Татьяна Алексеевна прекрасно прочитала юмористическую поэму Ар-

сения Тарковского «по восточным мотивам». Сохранившаяся магнитофонная запись запечатлела буквально взрывы смеха, которые сопровождали это чтение.

А потом, по моей просьбе, Арсений Александрович читал свои стихи, посвященные Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Николаю Заболоцкому, Осипу Мандельштаму, и это чтение мы тоже записали на магнитофон... Хотелось показать поэту «наш» Киев. Решили поехать на Андреевский спуск, 13, к дому Михаила Булгакова. Теперь этот дом широко известен и почитаем, на нем имеется мемориальная доска и открыт музей, а тогда, в 1970 году, его мало кто знал и были серьезные опасения, что он будет снесен. Поэтому мне очень хотелось показать гостям дом. Правда, улица была уже тогда объявлена пешеходной, но владелец машины, скульптор, большой поклонник Арсения Александровича, решил рискнуть: в случае, если нас остановит милиция, мы объясним, что Арсений Александрович не может пешком одолеть эту улицу. Доехали мы благополучно, но все же поездка закончилась печально. В квартире Михаила Булгакова в то время жила дочь бывшего владельца дома. Она нас встретила приветливо. Арсений Александрович сказал, что он дружит с вдовой писателя, Еленой Сергеевной, и тут мы услышали в ответ, что Елена Сергеевна умерла несколько дней тому назад...

В следующий раз, в мае 1981 года, Тарковские приехали в Киев по приглашению Городского общества книголюбов. Были запланированы три вечера в огромных залах, билеты были распроданы за один день. Вечера пользовались большим успехом.

Но я особенно ожидала встречи Арсения Тарковского с руководимым мною клубом поэзии «Родник», которому Тарковский присылал письма, книги, члены которого так любили и знали его поэзию, как ни одного из современных поэтов.

Еще возле станции метро «Дарница», откуда нужно идти в помещение клуба, я увидела, что в том же направлении движется множество людей. Некоторых из них я узнала и удивилась: ведь мы держали в тайне предстоящий вечер, потому что наш зал вмещает не больше ста человек! Но я понимала этих людей, шедших на встречу с Арсением Александровичем без приглашения: одно дело — присутствовать на вечере, где собралось свыше тысячи человек, и совсем другое — в почти домашней обстановке «Родника».

Оказалось, что в зале поместились все (не беда, что сидели по два человека на месте, что некоторым пришлось стоять у стен).

Члены клуба приветствовали своего любимого поэта, читали его стихи. Юная студентка прочитала свои хорошие переводы стихов Тарковского на украинский язык. Один из членов «Родника» исполнил свои романсы на стихи Арсения Александровича, понравившиеся ему.

По тому, как он читал на этот раз свои стихи, по словам, с которыми он обратился к членам «Родника», назвав их своими давними и милыми друзьями, чувствовалось, что он взволнован.

Присутствовавшие подходили к Арсению Александровичу с просьбой надписать книгу. Их было много, и это было несколько утомительно. Но вот подошла и Мария К. Книжки Тарковского она не смогла достать, поэтому всю ее переписала от руки своим каллиграфическим почерком, подклеила фотографию и переплела стихи, сделав такой уникальный сборник. Смутьившись, она попросила у поэта прощения, что книга не настоящая. Я посмотрела на него и увидела в его глазах слезы.

Все пять дней, проведенных Тарковскими в Киеве, мы почти не разлучались: у нас дома, где собрались мы в первый же вечер, после выступления (здесь были и Дмитро Павлычко с женой, и наши молодые друзья), Арсений Александрович открыл нам всем безвестного поэта из Минска Вениамина Айзенштадта, назвав его «гениальным и безумным». Арсений Тарковский прочитал наизусть два его очень сильных стихотворения, произведших на присутствующих огромное впечатление.

Один вечер провели у поэта Леонида Вышеславского, где по кругу все читали свои стихи, а его дочь показывала свои картины.

Устраивали всевозможные экскурсии: Тарковских приглашали в керамическую мастерскую и театральный музей, возили по древнему Подолу, — и хоть это «киевское гостеприимство» было утомительным, но Арсений Александрович сносил его безропотно, понимая, что оно продиктовано любовью к нему киевлян...

Перебираю в памяти все встречи с Арсением Тарковским, и каждая кажется драгоценной, и жаль ее упускать.

В 1976 году, 2 мая, мы с мужем приехали в Москву. Тарковские в это время жили в Доме творчества в Переделкине, и мы сразу же направились к ним. Был пасхальный день. Возле Дома творчества Татьяна Алексеевна и Арсений Александрович жгли костер. К ним приехали и другие гости. Трапезничали на воздухе. Арсений Александрович много шутил. Одна из посетительниц приехала с маленькой собач-

кой, Тарковский взял ее на руки и гладил, и мы сфотографировали их вместе.

Вошли в помещение... Из писем я уже знала, что у Арсения Александровича есть новые стихи, и попросила их прочитать. Он долго отказывался, а потом прочел два поразительных стихотворения о Григории Сковороде и сказал, что в следующий раз прочитает и другие.

Через два дня приезжаем в Переделкино — и опять застаём гостей. Они заехали на короткое время, т.к. собирались на день рождения какого-то мальчика. Показали игрушечную железную дорогу, которую везли ему в подарок, и Арсений Александрович тотчас увлекся ею. А я вспомнила, как два года назад он так же увлекся детским конструктором, и подумала о неистребимом детстве, которое соседствует в нем с мудростью: может быть, в этом — один из секретов его дивной поэзии?

Гости увлекались камнями, коллекционировали их, и Арсений Александрович вспомнил смешную историю о том, как он однажды приехал в Коктебель и там увидел кусок берега, отгорбленного шпагатом, с надписью: «Здесь собирает камни Мариэтта Шагинян», запрещающей другим там находиться. Ночью они с приятелем разрисовали камни, покрыли их яичным белком и подбросили в участок. Утром, стоя неподалёку, с восторгом наблюдали за Мариэттой Сергеевной, которая, подобно мастодонту, склонялась над пёском, а потом, торжествуя, поднимала руку с новым камнем. Камешки эти складывались в панамку. Затем горничная пошла их мыть, а когда она вышла из воды, панамка сияла всеми цветами радуги...

— А еще, — вспомнил поэт, — когда мы ехали в Калининград, Мариэтта Сергеевна попросила меня привезти ей что-нибудь с могилы Канта. Я действительно привез камешек, отбившийся от памятника. Но когда вернулся, узнал, что за это время Мариэтта Сергеевна опубликовала восторженную статью о Федоре Панферове, и сказал ей:

— Теперь Вы получите только камень с могилы Панферова!

Мы смеялись, слушая этот рассказ, и сам Арсений Александрович смеялся не меньше нас.

А потом снова читал свои стихи — может быть, лучшие из написанных им: стихи с пушкинскими эпитафиями, а также о голодном 1919 годе, когда ему

Муза в розовой одежде
не дала ночами спать.

(Теперь эти стихи известны всем.)

И когда я сказала, что безумно жаль мне расставаться с этими стихами, — Арсений Александрович присел к столу и переписал для меня последнее стихотворение.

...Снова и снова перечитываю письма Арсения Тарковско-го, и всякий раз поражаюсь, как он умел шутить, казалось бы, в самых неподходящих условиях. Так, например, в письме за 3 марта 1974 г. рассказывает, как, пытаясь снять картину Фалька, чтобы протереть стекло, и будучи, как он пишет, «носителем слоновой грации», сломал два ребра. Невыносимая боль. «Скорая», укол промедола... И тут же: «Наутро пришла наша писательская хирургесса, завязала мне (ни охнуть, ни вздохнуть) бюст (?!), сделав новокаиновую блокаду <...>. Зарастать мои ребра должны три недели, а болеть, говорят, будет еще четыре месяца.

Теперь из моих ребер можно делать Ев. Вот это жизнь! <...>

В Чехии у меня вышла книжка с послесловием, где меня сравнивают — как бы Вы думали, с кем? С Бахом, Моцартом и Гайдном!

Книжку высылаю в надежде, что Вам кто-нибудь переведет это послесловие. Все это чудно, только Бах был умный старик, и на стенки не лазал...»

В этом же письме:

«Мой Андрей снимает фильм по своему сценарию — из времен своего детства, меня там кто-то играет, Марусю тоже. Марину тоже — и я боюсь возможности какого-то скандала и европейского срама».

В другом письме, жалуясь на то, что он не переносит зимы, Арсений Александрович пишет:

«Таня все пытается меня развлечь, водит меня в кино, но я на эти пейзажи и позы смотрю как сквозь сито, и воспринимаю все не мозгом, а вроде спинным хребтом, превращаясь в какую-то рыбу. Заметили ли Вы, что появилось много никогда не бывших до сих пор рыб с чудными названиями, которые и запомнить нельзя: палтус, еще что-то и арсениум? Это я — арсениум».

И дальше добавляет: «Все-таки вот Вам стихи (за этим следует тут же, на том же листке переписанное стихотворение «Земля пересохла, как губы», которое потом вошло в «Избранное» — только одно слово изменено⁷). А за стихотворением — приписка:

«Посылаю Вам эти плохие стихи в доказательство того, что я хоть и впал в оупдение, но, может быть, что-нибудь еще вернется ко мне летом...»

Свои стихи он присылал мне довольно часто, почти всегда — по собственному почину, зная, что это самая большая радость, которую он может мне доставить.

Он и меня просил в письмах присылать новые стихи. Я сначала считала это признаком вежливости, но когда и Татьяна Алексеевна в письмах ко мне (а с ней мы очень подружились и часто писали друг другу) стала повторять ту же просьбу, я поняла, что — искренний интерес к тому, чем я живу на свете. Однако стихи посылала очень редко: мне страшно было представить себе, что их читает Арсений Тарковский, чье слово для меня стало вровень с великими поэтами «Серебряного века». Но когда в 1970 году вышел мой сборник, в журнале появилась добрая рецензия на него, написанная Арсением Александровичем. Это стало для меня самой высокой наградой.

Меня очень интересовало, кто из поэтов особенно близок Арсению Тарковскому. Я знала, что из классиков XIX века — это Пушкин и Баратынский. Помню, как уже в последние годы жизни он получил от кого-то в подарок прекрасное издание Баратынского и, разговаривая со мной, время от времени гладил рукой обложку этого тома. Уже в 1987 году, давно и тяжело больной, он радовался прекрасно изданному томику Николая Заболоцкого, присланному из Свердловска. Любил стихи Марии Петровых: с молодых лет их связывала дружба. Однажды Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна наизусть, в два голоса читали стихотворение Марии Петровых:

Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба.
Она ко мне внимательна особо
И на немые муки таровата...

Любил стихи Леонида Первомайского и его самого. Однажды Арсений Тарковский признался, что в молодости очень любил стихи Осипа Мандельштама, а теперь немного охладил к ним, все реже читает стихи Марины Цветаевой (зато прозу — всегда с неизменным интересом). А вот Анна Ахматова всегда необходима его душе. В письмах он тоже часто писал об Анне Андреевне.

«Со страшным волнением и трудами, ссорой с магазинами получил Ахматову в Библиотеке поэтов под редакцией Жирмунского. Там «Поэма без героя» полностью со всеми готическими пристройками, вариантами и прочими подробностями. Она была великий поэт, и я подумал, что очень многие до своего полного величия не доживали, потому что его возраст где-то между 60 и 80 годами. А вообще, есть у

меня противоречащее этому – вот что: каждый поэт, когда бы он ни умер, полностью осуществляет свой общий замысел и больше не может быть ничего, что он бы написал. Не обращайтесь внимание на противоречие. Кто-то из аферистов опубликовал в две колонки афоризм А и афоризм Б. Последний (Б) утверждал совершенно обратное относительно А»... (Письмо за 9 февраля 1977 г.).

Ловлю себя на том, что слишком велики цитаты и слишком много их, но не могу и не хочу прерывать их: ведь так несправедливо хранить от других все эти интереснейшие размышления и наблюдения! И потому продолжаю выписывать почти наугад.

«Юнна Мориц прислала мне свою книгу, там есть много очень хорошего, есть и послабей, она никак, видимо, не может выпутаться из верёвок, которыми связала самое себя, а ведь она такая даровитая и умница! <...> Если у Вас нет ее книги, напишите, я вышлю, у меня появился второй экземпляр, кто-то принес мне...»

«У меня книжный праздник: мне достали том рассказов (всех) Эдгара По, издание Академии Наук: По был первым автором, которого в детстве я прочитал своими глазами: потом были «Страшная месь» Гоголя. потом «Стёпка-растрёпка» (не знаю чей), потом какая-то сиреневая книжка о том, что солнце расчесывает гребнем деревья, и дивный «Пиноккио» Коллоди (из лучших книг на земле). Я перечитал все, что у меня есть по истории Рима, в надежде когда-нибудь (в ложной надежде) написать поэму про Калигулу».

О своем сыне Андрее он говорил и писал часто и охотно. В одном из писем 1969 года вспоминал, что его первая книга и первый фильм Андрея вышли в один год, а теперь почти одновременно с его книгой «Вестник» выходит на экраны второй фильм — «Андрей Рублев»⁸. И по поводу Андрея он часто шутил, но за всеми шутками угадывалась нежность.

В 1972 году Тарковские пригласили меня в ЦДЛ на просмотр «Соляриса». Помню, как тщательно одевался Арсений Александрович, как выбирал галстук и как красив был в машине.

Фильм на всех произвел очень сильное впечатление. Татьяна Алексеевна пригласила в ресторан несколько близких друзей, чтобы отметить это событие.

За наш столик сели Андрей с женой. Арсений Александрович поздравил сына с успехом фильма, они расцеловались. Потом, за столом они беседовали отнюдь не торжественно. Арсений Александрович, как всегда, шутил, но какие счастливые взгляды бросал он порой на своего сына!..

Он часто вкладывал в конверт, помимо письма, еще и красивую открытку. На некоторых из них делал смешные приписки, а то и писал шуточные стихи. В 1974 году, когда Тарковские обменяли квартиру, он прислал открытку с изображением медведя из русской народной сказки — с деревянной ногой, опирающегося на березовую клюку.

К типографскому тексту на обороте открытки: «На липовой ноге, на березовой клюке...» Арсений Александрович добавил: «переселяется сочинитель Тарковский». Много ли найдется людей, чтобы шутить над таким, тем более, если это касается их...

А вот еще о литературных пристрастиях и впечатлениях:

«...На ночь я перечитываю теперь Лескова и радуюсь, как малый ребенок, его шутовству и его невероятной доброте. Это чуть ли не единственный писатель в мире, у которого все хорошие и добрые: я бы ввел его изучение обязательным предметом в школах и вузах, чтоб знали, что человек не только произошел от злой обезьяны, но и от обезьяны доброй. Мне кажется, что Лесков — киевское чтение с «Печерскими антиками» и киевскими архиереями. Попробуйте перечитать, увидите, как лучше станет жить на свете...»

«Все мои болезни на человеческом языке называются старостью. А кругом плохо: бедный Твардовский умирает от самой страшной из болезней, и грех жаловаться на собственные хворости. А я с Твардовским ссорился, и теперь очень жалею, хоть был и прав, об этом. Я уже настолько стар, что научился ни во что не ставить свою правоту, и надо быть добрей, да трудно, когда поминутно раздражаешься и вспыливаешь, чтобы через минуту впасть опять в мерлихлюндию».

«У меня открылся новый источник наслаждений: я купил полностью весь «Колокол», всю «Полярную звезду» Герцена, фототипическое переиздание, и радуюсь, читаю, не пропуская ни строчки. Времена меняются, но писательское слово, особенно такое страстное и убежденное, как у Герцена и его присных — остается в поучение нам, многогрешным...»

А сколько в письмах разбросано удивительных наблюдений, высказываний о жизни, кратких и емких формулировок. Вот одно из них: «Люди рождаются на свет не для счастья, а для того, чтобы не терять на него надежды».

В письмах он делится и своими чувствами, переживаниями:

«Как мне хочется на Украину, в Киев и в мой Кировоград, — я поехал бы на родину — за слезами, больше мне в мои годы ехать не за чем. Да разве еще за детством, которое так нужно в старости...»

«Пишите стихи во всех обстоятельствах, стихи для нас — это воздух, которым дышит душа, — пусть она дышит...»

Посылая свои новые стихи, он настаивал, чтобы ему было высказано совершенно искреннее мнение о них. Прислав машинописный экземпляр своей поэмы «Чудо со щеглом», писал:

«Скажите умное и правдивое слово: понравилась Вам или нет, а если не целиком, то и другое, то чем и что, и почему понравилась или не понравилась поселковая поэма «Чудо со щеглом»? Ради Бога, без дружеской снисходительности, а с придирчивостью во вкусе Писарева — прочитайте ее и, пожалуйста, напишите Ваше мнение».

Арсений Александрович очень уважал людей, которые многое умеют делать, и сам был талантлив не только в литературе. Я очень любила его рисунки в письмах и не раз, получив очередной рисунок, думала о том, что он был бы прекрасным художником-оформителем. Эти рисунки особенно радовали потому, что под многими из них были смешные стихи. Вот, например, в конце большого и довольно «серьезного» письма, где много рассуждений о поэзии, он нарисовал пером красивую розу. Под рисунком — подпись:

Что письмо? простая проза!
А вот роза — это да!
Проза вянет от склероза,
Ну, а роза? — Никогда!

Арсений Тарковский был одним из самых благородных людей своего времени, но, к сожалению, в чем-то это время коснулось и его, как и любого из нас. В знакомствах он иногда бывал слишком осторожен. Однажды, в году, наверно, 1970-м, к нему в гости приехал журналист из Польши, довольно милый человек. В то время я мечтала о «Библии», которую у нас практически невозможно было купить. Мы сидели за столом и беседовали. Польский гость предложил мне дать стихи для их журнала (ему понравилось стихотворение об Иисусе Христе), а за это обещал привезти «Библию». Я уже собиралась с большой радостью согласиться, но Арсений Александрович вдруг под скатертью сильно сжал мне руку... Потом, когда мы остались одни, он объяснил, что гость из социалистической Польши представляет религиозный журнал и сотрудничать там опасно для меня.

Он подозрительно относился к хорошему человеку, истинно любившему его стихи и его самого, которого я ввела в их дом, и к нескольким общим знакомым. Однажды я назвала имя одного литератора, и в ответ услышала:

— Что у Вас за страсть окружать себя «стукачами»?

На это я ответила, что некоторым москвичам повсюду мерещатся «стукачи». Тарковский с обидой и горечью сказал:

«Да, да, нам они действительно повсюду мерещатся!» — и словно отделился от меня непроницаемой стеной... В этот день я уехала в Киев, и потом от Арсения Александровича целый месяц не было писем: видимо, он не на шутку обиделся, и только после моего письма к нему прошла эта обида.

Когда я гостила у Тарковских в Голицыне, произошла трогательная история. Один дипломат привез Арсению Александровичу из Америки прекрасную книгу об Анне Ахматовой, в которой были резкие антисоветские высказывания ее брата Виктора Горенко. Тарковский прятал ее в табурет с двойным дном. Он подарил мне эту книгу с огромным количеством тогда еще редких фотографий, я долго отказывалась — не хотелось «грабить» его. Наконец, он меня уговорил, и я была совершенно счастлива...

А ночью я услышала голос Арсения Александровича:

— Танечка, что я наделал: подарил Дусе американскую Ахматову, а у нее ведь нет табуретки с двойным дном!

...Среди друзей Арсения Тарковского были люди самых разных национальностей. Гнев и боль вызывали в нем проявления антисемитизма.

В 1972 году я вместе с Татьяной Алексеевной и Арсением Александровичем побывала на посмертной выставке художника Меера Аксельрода. Они хорошо знали его творчество, были знакомы с ним, а я впервые услышала это имя. Картины произвели на меня сильное впечатление. Тарковские познакомили меня с женой художника, известной еврейской писательницей, и его очаровательной дочкой Еленой, которые пригласили меня в гости. Так я узнала, что Елена — талантливый поэт.

Возвратившись от них к Тарковским, я сказала о том, что это поразительно талантливая семья. Арсений Александрович согласился со мной, при этом добавив: «Вы еще не знаете, что сын Лены, двенадцатилетний Миша, очень одаренный художник, прекрасный колорист. Думаю, что он перерастет своего деда. Я написал о нем статью и отнес в «Юность», но у меня там спросили: «Арсений Александрович, почему у Вас такое пристрастие к еврейским фамилиям?»

Тарковский помолчал немного, размышляя, а потом добавил: «Не могу понять, откуда у них эти чудовищные предрассудки? Наверно, из чувства неуверенности в себе, в своих способностях, в боязни конкуренции? Ведь было бы дико, если бы я, например, опасался Ларисы по той причине, что она — талантливый поэт».

О войне рассказывал редко. Один его рассказ я записала 31 мая 1972 года и привожу по записи. Рассказ предварило то, что Тарковский показывал давние свои фотографии. Вместе с ними было два снимка молодой женщины. Арсений Александрович сказал:

— А это — Катюша. Она была самым добрым существом на свете, которое я знал. Это моя давняя любовь. Во время войны она меня спасла. Была у меня овчарка — огромная. Она оценёлась, принесла шесть щенят. Война, нужно уходить, а я не могу ее бросить. Иду по улице, встречаю Катюшу, рассказываю ей. И вот она кладет в сумку всех шестерых щенков, я беру за поводок собаку, и мы идем. А сумка — тяжелённая... Воздушная тревога, а нас с собакой не пускают в убежище. И мы ложимся между рельсами. Так мы шли... Я не знал, куда денем щенков. Но самое удивительное, что — в войну! — их у нас разобрали, даже очередь стояла. Я выбирал еще, кому давать.

В другой раз рассказывал о госпитале, где ему ампутировали ногу и где он чуть было не погиб, но об этом уже писали в других воспоминаниях, и я не хочу повторяться.

Арсений Александрович очень переживал, когда его сын Андрей вынужден был остаться за рубежом. Тогда, помимо всего, это вызывало большое любопытство обывателей. Помню, как, приехав к ним в гости во время международного кинофестиваля, я невольно заставила его пережить неловкость. У Тарковских были билеты на просмотр фестивальных фильмов в Центральном доме литераторов, но они хотели, чтобы и я посмотрела с ними эти фильмы. Выйдя из машины, Арсений Александрович подошел к стоящему на улице директору ЦДЛ и попросил билет для гостыи. Тот расплылся в улыбке, пообещал помочь и тут же спросил: «Арсений Александрович! А когда возвращается Ваш сын?» Я посмотрела на Арсения Тарковского: в глазах у него была боль.

При всей мягкости, интеллигентности, боязни «давить» на собеседника, я всегда обнаруживала в Арсении Александровиче непреклонность, когда дело касалось его убеждений или просто понимания человеческой порядочности и долга. Эту непреклонность однажды я испытала на себе.

В Тбилиси жил хороший человек и писатель Эммануил Фейгин. Тарковские и Саша Радковский с ним встречались, а я была знакома заочно, переписывалась, получала в подарок его книги, которые мне нравились. И он, и его жена несколько лет звали меня в гости, но приехать я не смогла.

А потом случилась с ним беда: рак гортани. После операции он не мог разговаривать, его учили «чревовещанию», но учение давалось с трудом.

В письмах он выражал сожаление, что мы так и не повидались. Весною 1984, кажется, года сообщил о том, что вместе с женой едет в Переделкино и хорошо бы, если бы я приехала повидаться. Но у меня при одной лишь мысли об этой встрече сжималось сердце, и я понимала, что не смогу найти в себе силы не проявить жалость.

Когда Фейгиным осталось пробыть в Переделкине всего несколько дней, я случайно приехала в Москву. Тарковские уже тогда жили в Матвеевском, в Доме ветеранов кино. В первый же день я как-то проговорила о своей слабости.

И тогда Арсений Александрович мягко, но непреклонно сказал: «Нужно ехать, иначе Вы не простите себе».

Мы поехали вчетвером (с нами был еще Саша Радковский). По дороге заехали на кладбище, на котором покоится сын Татьяны Алексеевны Алеша, Мария Ивановна, мать Андрея и Марины Тарковских, и ученик Арсения Александровича Марк Рихтерман. Все вместе идем к Алеше и Марку. А к Марии Ивановне Арсений Александрович идет один, одной рукой тяжело опираясь на палку, а в другой неся букет цветов...

Я боялась момента встречи с Эммануилом Фейгиным. Но Татьяна Алексеевна, Арсений Александрович и Саша были так естественны, что и я успокоилась, и уже через несколько минут была очарована этой мужественной супружеской парой, которая очень обрадовалась нам. Когда мы прощались, Фейгин спросил: «Можно, я Вас поцелую?»

Потом, в машине, Тарковский сказал: «Вот видите, как хорошо получилось, что Вы нас повезли к этим прекрасным людям!»

Теперь, когда нет уже ни Фейгиных, ни Тарковских, я с благодарностью вспоминаю тот жизненный урок, который тогда преподали мне он и Татьяна Алексеевна. И думаю о том, что без Арсения Александровича и его стихов я была бы, наверное, другим человеком.

В последний раз мы виделись с Арсением Тарковским в конце сентября 1987 года.

Перед этим он долго болел и все больше уходил в себя (в письмах уже несколько лет сетовал, что ему все труднее «доставать себя из себя»). А потом пришло письмо от Саши Радковского, который сообщал, что Татьяна Алексеевна отыскала, наконец, хорошего врача, который очень успешно лечит Арсения Александровича, и теперь его состояние гораздо лучше. Исчезла апатия, и он несколько раз говорил о том, что хотел бы меня видеть.

И на следующий день я поехала в Москву.

До конца жизни буду благодарна Саше за эти две последние встречи с Арсением Тарковским.

Татьяна Алексеевна рассказала, что если другие врачи рекомендовали всячески оберегать Арсения Александровича, то нынешний врач прописал ему активность поведения. Поэтому она даже согласилась, чтобы он сегодня выступал на большом вечере, организованном журналом «Огонек». На этот вечер я не смогла поехать, так как очень устала.

Когда я приехала на следующий день, Арсений Александрович выглядел печальным. Он сразу мне пожаловался, что накануне, на вечере, опозорился.

«Как опозорились? — удивилась я. — Этого не может быть!»

«Я поднялся, чтобы читать стихи, — и вдруг весь зал встал. А я заплакал и не смог читать», — горестно рассказывал Арсений Александрович.

Я сказала: «Конечно. Вы испытали потрясение, когда зал поднялся: ведь из поэтов так встречали только Анну Андреевну!»

И он улыбнулся.

Я предложила выйти в сад. Он был весь в золотых и багряных листьях. Мы шли по аллее, Арсений Александрович опирался на мою руку, а у меня невольно вырвалась строка его стихов: «Вот и лето прошло, словно и не бывало». «На пригреве тепло, только этого мало», — подхватил Арсений Александрович.

Мы медленно шли, в два голоса читая его изумительное стихотворение. И закончили чтение как раз у скамейки, на которой потом долго сидели молча, наслаждаясь осенним садом в его тревожном осеннем убранстве. На этой скамье и сфотографировал нас наш общий друг Александр Кривомазов.

И сейчас, заканчивая эти записки, я тоже мысленно произношу стихотворение Арсения Тарковского, но уже другое:

...Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду.
Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу...

И я твердо знаю: эти стихи — пророческие. Потому что он не только был, он есть и будет.

УРОКИ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

Вначале была статья о нем и о его стихах. К счастью, она сохранилась. Я ее воспроизведу, потому что с нее, собственно, и началось мое знакомство с Поэтом.

АНТЕЙ

(Заметки о стихах Арсения Тарковского)

I

«Я уверен, что у каждого настоящего поэта лежат в столе стихи, написанные за много лет. Теперь их можно будет напечатать, и тогда станет ясно, как всегда была богата и разнообразна наша поэзия». Это сказал Н.А.Заболоцкий в 1953. По отношению к поэту Арсению Тарковскому эти слова сбылись только почти через десяток лет.

Первый сборник его стихов «Перед снегом» вышел в 1962 г. тиражом всего в 6 тысяч экземпляров и был замечен взыскательными любителями поэзии. Книга «Земле — земное», выпущенная четыре года спустя, в 1966, привлекла пристальное внимание критики и читателей. Эта небольшая по объему книжка многими признается значительным событием в поэзии последнего времени. Стоит задуматься, почему почти всеобщее признание пришло к Тарковскому в 1966 году и могло ли вообще произойти это раньше?

Поэтические судьбы редко бывают схожи между собой. Нелегко иногда доходят стихи до читателей. Тем большая радость, когда, одна за другой, появляются целые книги поэта, до этого широкому читателю почти не известного. Так единственна в своем роде судьба Арсения Александровича Тарковского, что мне представляется не лишним присмотреться к ней более пристально.

Поэзия Тарковского привлекает, прежде всего, искренностью, человеческой обнаженностью души. Когда закрываешь вторую книгу поэта, читая на последней странице «судьба моя сгорела между строк, пока душа меняла оболочку», то этим строчкам по-настоящему веришь, а перед глазами стоит весь путь поэта, нелёгкий, не прямой, путь «в никуда и в никогда», но результат пути — несомненная творческая победа автора.

Я рассматриваю здесь обе книги Тарковского, так как они в основе своей едины. Вторая развивает и углубляет все темы, затронутые в первой. В обоих сборниках представлены стихи, над которыми автор работал в течение 36 лет (1929-1965). Срок для жизни в поэзии, что и говорить, немалый. И все эти годы велась непрерывная, «подземельная» работа над словом! Совершенствовалась техника, мужала мысль, закалялось сердце. Теперь плоды

работы перед читателем. Печально, что целых 30 лет и три года эти стихи были почти неизвестны. Публикации в периодике, очень немногочисленные, не могли, разумеется, дать сколько-нибудь полного представления о поэте. Зато читателям на протяжении многих лет был известен Арсений Тарковский — блестящий переводчик чужих стихов. Всем памятно время, когда многим мастерам советской поэзии приходилось видеть свои фамилии лишь под переводами! Думается, не один мог бы подписаться под горькими строчками Тарковского:

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

В другом стихотворении, вариации на тему немецкой сказки о карлике Румпельштильцхене, этот же мотив звучит так:

Румпельштильцхен от гнева
Прыгнул, за ногу взялся,
Дёрнул и разорвался
В отношении: два к одному.
.....
Сам свое подземельное тело
Разорвал он своею рукой.

Это сказка про карлика, но это и правда про себя. Отсюда — тот драматизм, даже оттенок горечи, что ощутим в ряде стихотворений.

В статье «Хранитель огня», опубликованной на страницах «Литературной газеты», писатель Владимир Солоухин посетовал на «недостаточную широту тематики», чуть ли не на отсутствие социальных мотивов в творчестве Тарковского. Что ж, не всякая поэтическая судьба складывается так, как хотелось бы самому поэту или его критикам. У Тарковского есть очень важное для понимания его пути стихотворение «Стихи из детской тетради». В нем, вглядываясь в далекую юность, в 1921 год, поэт говорит о своих потенциальных возможностях: «могла бы алкеева лира у меня оказаться в наследстве». Не мне объяснять, что это были за годы. Тарковский голодал («Воров московских был бесплотней»), зато вдоволь дышал стихами, пронизывающими воздух тех лет.

Лидия Либединская вспоминает: «Очень молодой и неправдоподобно красивый Арсений Тарковский, с глазами, поставленными по-кошачьи, декламировал свои, еще никому не известные стихи». Тарковский приводит отрывок из таких стихов в эпиграфе:

О, мать Ахайя гористая,
Пробудись! Я — твой лучник последний...

И такое уж это было необыкновенное время, что эти, никому не ведомые, страшно далекие от жизни стихи, вдруг наполнялись социальным смыслом:

Надо мной не смеялись матросы,
Я читал им: «О, мать Ахайя!»
Мне дарили они папиросы,
По какой-то Ахайе вздыхая.

Но жизнь сыграла злую шутку; в свободные от занятий переводами часы писались стихи, но не те, где «мать Ахайя», а другие, те, что уходили на годы в ящик письменного стола, те, которые поэт назвал своим «постылым подвигом ночным». Надо много перестрадать, чтобы с типично русской писательской совестью сказать о стихах, которым отданы годы и годы труда, и значение которых поэт знал, и, тем не менее, произнести им такой приговор:

Ямб затасканный, рифма плохая,
Только бредни, постылые бредни.

Что же, перед нами неудачник, побежденный несправедливой судьбой хулигель собственных творений? Обращаясь к стихам, мы видим нечто совсем иное:

Пытай меня, не изменюсь в лице.
Жизнь хороша, особенно в конце.
Хоть под дождем и без гроша в кармане,
Хоть в судный день — с иголкой в гортани.

И в другом стихотворении — о верблюде:

А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

Подобных тем в поэзии Тарковского немало. Это не дежурный оптимизм — это убежденность, выкованная в процессе преодоления невзгод личной судьбы. Тарковский вышел победителем из схватки со временем. Даты красноречиво говорят о судьбе стихов, но уберите даты, и, я ручаюсь, вы не определите, какое стихотворение написано в 1939 году, а какое — в 1960. Правда, испытание временем не обошлось без неизбежных курьезов. Приведу два случая, подмеченные мною. В очень содержательной, но не очень правомерно сопоставляющей творчество Тарковского и поэта Кушнера статье, критик Алла Марченко пишет: «А. Тарковский может позволить себе щегольнуть такой фразой (нынче у лириков модны физические термины): «Был язык мой правдив, как спектральный анализ». Действительно, «нынче» физические термины модны, но этого никак нельзя сказать о времени, когда было написано стихотворение, «щегольская» строчка из которого приводится критиком. А. Марченко не сочла нужным обратить внимание на дату, а она, в данном случае, говорит о многом — 1954 год. И вот теперь меня тревожит, как бы Тарковскому не сделали замечание за его строки:

И только стрекоза, как первый самолет,
О новых временах напоминает.

Ведь у А. Вознесенского уже было нечто похожее... как это:

Мой кот, как радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мир.

Правда, «было» через 25 лет после Тарковского, но ведь на это можно и не обратить внимания. Так платит поэт за свою «позднюю зрелость». Но приходится признать, что стихи эти (исключая, пожалуй, лишь военную лирику), будь они опубликованы раньше, не имели бы столь явного успеха у читателей, ни, тем более, у критики. Здесь А. Марченко совершенно права, когда она пишет, что «пройдя через испытание элегической иронией Б. Окуджавы, Н. Матвеевой и А. Вознесенского, читательский интерес вдруг резко качнулся к «прелюдиям и фугам» А. Тарковского». Но только ли потому качнулся, что где-де «романтики навыворот», а этот классически реален? Думаю, дело несколько сложнее. Восприятие поэзии Тарковского подготовлено знакомством читателей со стихами Марины Цветаевой, Мандельштама, Заболоцкого, продолжателем традиций которых является этот поэт. Все более глубокое познание мира властно призывало поэзию Тарковского, которая живет и дышит этой сложностью.

II

Человек на земле. «Скупой, охряной, неприкаянной я долго был землей». В лирике Тарковского человек — только с большой буквы; он приобретает черты величия: это, одновременно, и любой конкретный человек, и человек — синтез всего самого совершенного, накопленного за тысячелетия существования земной жизни:

Я человек, я посредине мира.
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

Но это не только современный человек, это, быть может, человек в его потенциальных возможностях. И, как мифический Антей, только от матери-земли черпает человек свою необъятную силу.

Мне грешная моя, невинная,
Земля моя передает
Свое терпенье муравьиное
И душу крепкую, как йод.

Родство человека и природы ощущается Тарковским как прямая кровная связь; отсюда его своеобразное мироощущение, которое условно можно назвать «антеизмом». Именно из «антеизма» происходят важнейшие конфликты его поэзии.

Поэты — «уста пространства и времени». А время и пространство безграничны. Поэтому Тарковский, сознавая свою роль и свои права, может заявить: «Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем». И блистательно осуществляет это намерение в таких стихотворениях, как «Мщение Ахилла», «Сократ» или «Юродивый в 1918 году». Седая древность проступает из пепла, когда мы читаем:

Равнодушно пьют герои
 Хмель времен и хмель могил
 И вокруг горящей Трои
 Гонит Гектора Ахилл.
 И еще на город ляжет
 Семь пластов сухой земли
 И стоит Ахилл по плечи
 В щелке, прахе и золе.

Но поэту самому пришлось пережить события, не менее значительные, чем падение Трои или 1917 год. Он прошел по дорогам Великой Отечественной, и в лирике военных лет все становится более конкретным, реальным, но отнюдь не менее поэтичным. Очень досадно, что стихи эти стали так поздно известны читателям, жаль, что критика до сих пор почему-то не обращает на них должного внимания, а между тем эта лирика занимает свое особое место в нашей богатой поэзии военных лет. Общее понятие «земля» здесь везде звучит очень конкретно — Россия, Русь.

Русь моя, Россия, дом, земля и мать!..

На родимую землю «словно черные кони Мамая» напали фашистские полчища. Лютует ветер, колхозники, ставшие бойцами, идут в бой «за Великие Луки, чтоб снова ... крестные муки принять». Перед взором поэта проходят развалины дымящихся городов, «видения цезарианского Рима»; в морозном воздухе еще видны взмахи рук убитой за холмом батареи. Но — «ты, мое сердце, и это стерпи». Русские люди «намертво» знают, за что умирают, врагам — «за ворованный хлеб — умереть». Война почует поэта солью, «нет горечи горше» этой, лучший друг, «ангел гнева и праведности», Марина Ивановна Цветаева, гибнет «на черной Каме ночью без костра». Но испытания только закаляют душу поэта, острят зрение; в стихах тех лет как никогда много душевной твердости, того чувства, которое испытал Блок, когда писал: «Узнаю тебя, жизнь, принимаю».

Хорошо мне в теплушке
 Тут бы век вековать.

 Мне б из этого рая
 Никуда не глядеть.

И не тогда ли впервые заговорила под пером А. Тарковского земля, когда он увидел (услышал!) звучащий ящик, прикрытый телом расстрелянного связиста:

Где когда-то с боями прошли мы
От большого пути в стороне,
Разбегается неповторимый,
Терпкий звук на широкой волне.
Это старая честь боевая
Говорит: «Я — Земля! Я -- Земля!»
Под землей провода расправляя
И корнями овсов шевеля.

Человек наделяет звучащей речью все окружающее; только ему дано вдохнуть в корни трав «любовный бред самосознания».

И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам
И дар прямой разумной речи
Вернет и птицам и камням.

Плоть умирает, становится прахом; слово остается, «маячит под луной». Природа может принять в наследство речь поэта и заговорить его языком. Здесь прямое родство с Заболоцким, с его знаменитым:

И голос Пушкина был над водою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.

Подобно Заболоцкому, А.Тарковский слышит Овидиеву латынь в тишине неплодородной степной горючей земли:

Изгнание чужое вспоминая,
С Овидием и я за дестью десть
Листал тетрадь на берегу Дуная.

Выходя в степь, человек получает земное бессмертие. Краткая и мудрая формула поэта — «я бессмертен, пока я не умер» воспринимается, как открытие. Листая страницы книг Тарковского, мы убеждаемся, что поэт верит не в повторение своей электронной оболочки завтра или через миллион лет, но в бессмертие своего сегодня. «Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят».

А смерть? Вспомним классическое, ахматовское, — тоже о родной земле, об уходе:

*Но ложимся в нее и становимся ею.
Оттого и зовем так свободно -- своею.*

Нечто близкое к этому находим у Тарковского. Соединение с покинутой на время земных скитаний державой, уход в землю, как во что-то родное, и не может быть в этом уходе чувства страха:

Кончаются мои скитания.
 Я в лабиринт корней войду
 И твой престол найду, Титания,
 В твоей державе пропаду.

Тот же мотив возвращения в лоно родной земли присутствует и в стихах, посвященных памяти Анны Ахматовой:

Домой, домой, домой
 Под сосны в Комарове.

А земля, не помня о поэте, уже шепчет что-то другому. Он пришел в гости к леснику, сидит за кружкой чая, но что это:

Кажется мне, что к себе
 Попал я, по чаще блуждая.
 Открыла мне память моя
 Таинственный мир соответствий.

Что из того, что для многих язык земли или воды «без смысла и значенья»? Придет поэт (не обязательно пишущий стихи), поймет

Рассказ какой-то про одно и то же,
 На блеск воды, на белый блеск слюды,
 На предсказание беды похожий.

Родится и новый стих, чтобы обжечь «пересохший рот земли» новым огнем. Сейчас она обожжена огнем поэзии Арсения Тарковского. И разве не в этом смысл его «постылого ночного подвига»?

Март 1967.

Когда я писал эту статью, было мне 19 лет. Писал не по заказу, а под непосредственным впечатлением от второй книги поэта «Земле — земное», которая очень мне понравилась. На филологическом факультете Ленинградского университета, где я тогда учился, одно время носились с идеей издания сборника студенческих работ «Двенадцать коллегий». Этот сборник, кажется, так и не увидел света, но статья моя какими-то сложными путями (через Виктора Андрониковича Мануйлова и Екатерину Константиновну Лившиц) все-таки дошла до поэта. Тарковский тогда отнюдь не был избалован вниманием критики (не упомяну других статей, кроме солоухинской в «Литературной газете» да статьи Аллы Марченко в «Воплях»¹). Возможно, поэтому Арсений Александрович с таким вниманием отнесся к «пробе пера» молодого критика и первым написал мне.

Прошло немало времени. Я и думать забыл о своей статье в потоке студенческих дел. Но в один прекрасный день

обнаружил на тумбочке у телефона, в своей родной коммуналке на Васильевском, конверт, надписанный изящным летящим почерком.

«22.XI.1967

М., А-319, ул. Черняховского, 4, кв. 16

Телефон — АД.1.06.34.

Дорогой товарищ Кралин, я не знаю Вашего имени и отчества, потому обращение к Вам недостаточно вежливо. Мне передали Вашу статью о том, ради чего я живу на белом свете, — и я не знаю, как благодарить Вас. Меня смущают непривычные похвалы, и все же — они очень радуют меня. Спасибо Вам! Не собираетесь ли Вы в Москву? Я был бы рад повидать Вас и познакомиться с Вами. Если когда-нибудь приедете — позвоните по телефону и приходите, пожалуйста, к нам. Одновременно с этим письмом, но отдельно, посылаю Вам книгу «в зеленом переплете» с исправлениями, которые мне хотелось бы сообщить Вам. Я очень занят теперь работой и у меня нет сил (да и неловко) написать Вам подробно о Вашей статье. Я надеюсь поговорить с Вами при встрече, которая должна, непременно — должна! — состояться. Пожалуйста, напишите мне, чем Вы заняты, как живете, кто Вы и каковы и Вы, и Ваши работы и пристрастия...

Вероятно, осенью будущего года «Сов. Писатель» издаст мою книгу (стихи из «Перед снегом», из «Земле — земное» и новые — все вместе), я занят пересоставлением этой книги, затем — переводами и рецензиями — и очень устал, поэтому письмо не подробно и суше, чем мне хотелось бы.

Благодарно жму Вашу руку и надеюсь, что наше знакомство выйдет из тесного русла переписки на волю. Всего Вам доброго.

Уважающий Вас

А. Тарковский».

Я был страшно рад, получив это письмо, — надеюсь, читатель поймет чувства тогдашнего второкурсника филфака. В ответном письме, восторгов которого я не помню, сообщил, что книга «в зеленом переплете» (то есть сборник «Земле — земное») у меня есть, а случая приехать в Москву в ближайшем будущем не предвидится. Ответа на свое письмо я не получил. Прошло больше года. Случай, наконец, представился. Перед поездкой я написал Арсению Александровичу небольшое письмо, в котором просил назначить день встречи с ним, в частности, как с человеком, близко знавшим Анну Ахматову. Вскоре получил короткий ответ:

«31 янв. 1969.

Дорогой Михаил Михайлович!

Я буду очень рад повидаться с Вами, поговорить об Анне Андреевне и послушать Ваши стихи.

Пожалуйста, позвоните мне по телефону — 1.51.06.34 — и приходите ко мне! Желаю Вам всего доброго.

Уважающий Вас

А.Тарковский».

Признаться, меня немного удивил официальный тон этого письма и то, что Арсений Александрович больше ни словом не обмолвился о моей статье. Впрочем, тогда я не придавал этому большого значения, а о том, что он мог позабыть фамилию автора статьи, читанной больше года назад, я как-то не подумал. Однако особенности нашей первой встречи объясняются во многом именно этим обстоятельством, о котором Тарковский еще напомнит мне в письме, посланном вдогонку нашему первому свиданию.

Об этой — первой — встрече с Поэтом я мог бы навспоминать очень много. Но не стану этого делать — и не только потому, что мы говорили о встречах Тарковского с Ахматовой, а об этом уже рассказано людьми, знавшими поэта несравненно лучше меня. Нет, конечно, мы говорили не только об Ахматовой — ведь разговор затянулся за полночь, но все слилось в какую-то сплошную восторженную гамму. Отрезвел я, кажется, только на кухне у Тарковских, где заночевал на медвежьей шкуре, предложенной мне в качестве ложа гостеприимным хозяином. Помню, что утром я выскользнул из квартиры, постаравшись никого не разбудить. К счастью, мне не надо ничего спрашивать у неверной памяти — сохранилась дневниковая запись об этой встрече, сделанная сразу же по приезде в Ленинград.

«9 марта 1969 г.

<...> главное — встреча с А.А.Т. Этот день сделал для меня мир еще на одно измерение глубже.

Человек удивительный, неповторимый.

Он сам открыл мне дверь. Я увидел большого человека с широкой грудью моряка, с лицом, красиво изрезанным морщинами. На этом лице была настороженная заинтересованность. С трудом передвигаясь, он повел меня в кабинет.

Я присел на тахту, сразу ошалев от роскоши книжных полок. Уже потом я разглядел, что добрую половину полок занимали пластинки. Большая стопка их лежала на столе, и, похоже, А.А. занимался прослушиванием. Когда я вошел, звучала музыка Баха.

А.А. предложил мне сигарету. Я благоразумно отказался, сказав, что курю временами. Он очень горячо посоветовал не приучаться. Скоро он спросил: «А что, вы серьезно занимаетесь Ахматовой или это ваше временное увлечение?» Я отвечал довольно смело. Надо сказать, что, идя к нему, в каком-то кафе на грузинский лад, что на улице Горького, я заказал 200 граммов «Цинандали» и поэтому был смел.

Но очень скоро я забыл, что разговариваю с Поэтом и просто с человеком, которому 62 года. Он предлагал мне виски, я отказался, потом жалел.

Что поражало в нем? Это сочетание мудрого Поэта и непосредственной юношеской природы. У него ангельски добрый характер. Как мне было хорошо говорить с ним об Анне Андреевне. И было досадно, когда меня прерывали другие его визитёры. Явился, между прочим, какой-то древний старик-переводчик, какой-то сосед, любитель пластинок, и с ними он говорил тоже увлеченно, без конца. И то надо думать: я у него был с 6 вечера до 2 ночи в кабинете. Это похоже на нахальство, — говорю я себе сейчас, наблюдая со стороны, но тогда я, человек чуткий к такого рода вопросам, не ощущал в нем и тени незаинтересованности, он говорил, что Анна Андреевна была лучшим человеком на земле, лучшим его другом, что и сейчас ему сиротливо без нее.

«Когда пришел с кладбища, измученный, совершенно разбитый, достал с полки «Бег времени», и мне открылось:

При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».

Когда он это шёпотом, с трудом вспоминая, говорил, глаза его были тяжелы от слез...»

На этом кончается моя дневниковая запись. К ней можно добавить надпись дарственную на книге «в зеленом переплете» «Земле — земное»:

«Мише Кралину с сердечным приветом и общей тоской по ААА 6/III-1969. А.Тарковский».

Вдогонку, через несколько дней, уже в Ленинграде, получил от него письмо, ради которого, собственно, и пишется сегодня все остальное. Оно не датировано, но по ленинградскому штемпелю можно определить дату прибытия: оно было получено 11 марта. А посетил я его 6-го. на следующий день после траурной ахматовской годовщины.

«Милый Миша, я недавно сообразил все, как надо, и у меня кое-что стало с головы на ноги. Когда-то Е.К.Лившиц

передала Вашу статью о моих стихах; когда Вы были у меня, Вы и ее автор — были два персонажа. Теперь я нашел ее, и эти оба слились в одно лицо. Вóвремя я не ответил Вам, потому что неминуемо пришлось бы писать о самом себе, а это до ужаса неловко. Так это и осталось в состоянии неустойчивого равновесия. А теперь — я очень благодарю Вас за Вашу тогдашнюю заинтересованность.

Вы написали мне очень хорошее, очень милое и доброе письмо; дай Вам Бог счастья за любовь к памяти Анны Андреевны. Меня только пугает вот что: Вы как бы подавлены поэзией АА, ее личностью, ее судьбой. Стихи о ней, не говоря об их качествах, — полностью зависят от ее поэзии. И вот почему это меня страшит. Был когда-то такой поэт — Арсений Альвинг². Это был очень способный человек, но, из-за любви к памяти Анненского, вся его личность была Анненским вытеснена и от него самого совершенно ничего не осталось. Когда ему говорили, что стихи его — слéпок поэзии Анненского, он нисколько не огорчался, а радовался: слава Богу, я этого и хотел. Простите, что я вмешиваюсь в дела Вашей души, но послушайте меня, отодвиньтесь немного от иконы, что Вы создали для себя из живого (когда-то) человека и живой поэзии. Нет на земле неопасных для адептов земных культов. Они воспитывают в мужчине женское начало (одно из начал), в женщине — мужское, а такие начала с обратным знаком в зачаточном состоянии есть у каждого, особенно у поэта. Не надо давать и величайшему чужому властвовать над собою, поглотить себя. В поэзии есть и демоническая сила, даже если это и святая поэзия. Если говорить об А.А.А., то «Поэма без героя» не только покаяние (что в ней главное), а и гофманиада, а последняя — демонологична, как самый грех, от которого автору должно было очиститься. Хоть грех ее был и невелик, только грех близости к тем, что вызвало смерть бедного Вс. Кн<язева>, а все-таки у поэта было ощущение крови на пальцах; я боюсь, что в поэме ощутительней соблазн греха, чем стремление к покаянию. Я все это пишу Вам, потому что меня пугает Ваша молодость с ее податливостью; из-под влияния трудней выйти, чем полностью поддаться ему. Мишенька, подумайте об этом — и тоже испугайтесь. Я тоже полон любви к памяти А.А., и мне очень плохо без нее, но кроме нее было еще много замечательных поэтов, ее современников — Блок, Мандельштам, Цветаева. Их трудней любить, да и они лучше были защищены от своей души своими стихами, чем А.А.; но культ А.А. не только опасен, он еще противоречит тому, чем была А.А. и есть ее поэзия: в основе своей она была очень скромна, и ее самое испугала

бы возможность такого ее превращения. А главное — старайтесь самоутвердиться в своей собственной здоровой личности — любя, но не боготворя, уважая, но не поклоняясь и уж лучше безусловно зная, чем безусловно веря. Не нам судить — что земное, а что небесное, но нам дано знание о вреде рукотворных кумиров. Все это я написал, потому что и сам был в опасности, угрожающей Вам; но то, что для Вас — ровная площадь поглощения, для меня было вспышкой острейшего горя мартовских дней 1966 года и после, и стало хоть и болезненным для памяти, но воспоминанием о свете личности и творчества поэта; и это добрая боль, в ней есть и предостережение: будь самим собой, и желание охранить меня от других возможных несчастий. Не надо снизу — вверх, надо отсюда — вдаль, вширь, не к ней, но с нею и под ее охраной, а не влиянием. Культ Цветаевой шире распространён, чем культ А. Мне приходится видеть много «Цветаевок» — и это в большинстве случаев непоправимо — и как шоры на глазах. Культ близок к болезни, мании, истерии; он способствует развитию слабости, женственности, податливости. Цветаева и сама была подвержена культо-созданию, и нам теперь таят ее — бонапартистку и пушкинчанку.

Даже если я и ошибаюсь, и ААА для Вас еще не вполне икона, то и в этом случае я должен был написать то, что написал. Для АА такая судьба (стать иконой) показалась бы, я уверен, еще более ужасной, чем та, что выпала ей на долю.

Ну вот, с этой частью письма покончено; еще только несколько слов: ради Бога — спокойнее, в большем отдалении, с большим сознанием того, что и в самой прекрасной поэзии есть немного оздоравливающего начала работы, трезвости, литературы.

Я с удовольствием вспоминаю Ваш приезд и вечер, что Вы провели у нас в Москве. Очень Вы хороший, и очень хочется верить в Ваше хорошее будущее; и еще радуется мысль о том, что мы — звенья одной легкой цепи, что тянется из прошлого туда, где нас не будет, а за эту цепь руками держась, еще кто-нибудь пойдет по своему пути с душой, полной благодарности и любви к тому, что когда-то заслуживало любви, было любимо и само полно благодарности и любви.

Пишите, пожалуйста, мне и, если будете в Москве, приходите к нам.

А я живу в диком труде, перевожу араба Абу-ль-Аля аль-Маарри³ (XI век), и хоть оригинал очень хорош, с большим удовольствием я бы лег в постель и почитал роман.

Моя книжка прошла уже все круги свои и подписана к печати, после всех корректур, чтений, прочтений и т.п. Она должна выйти из печати в течение апреля-июня. Вам я ее пришлю, Вы не покупайте ее. Оказывается, книга эта мне нужна, с нею кончается то, что было, и верится, что начнешь заново, снова, по-новому, и неудовлетворённость книгой будет исчерпана тем новым, что придет за нею.

А как Вы живете, как Ваши дела с учением? Все ли хорошо? В Ваше будущее мне верится, вы еще так молоды, и Вам много дано.

Будьте здоровы, уверены в своих силах и веселы.

Ваш А.Тарковский».

Потом было еще одно письмо, развивающее и дополняющее соображения, высказанные в предыдущем:

«31.III.1969. Милый Миша! Вот это меня и испугало, что Вы все видите через призму ААА и забываете себя, а это помещает Вам, когда Вам понадобятся именно Ваши собственные глаза, без всяких призм. Для Вас она — только поэзия, а образец жизни — сама жизнь, поэзия же — не хлеб, а рот, который хлеб поедает. Культ и есть — заслон, очи, призма. Все, что я написал Вам, я написал потому, что почувствовал богатство, которое Вам дано, и Вам ли нужен кто-нибудь, кто бы помог считать в Ваших сундуках. Вот и все, а больше ничему не надо придавать значения. Что до меня, то, как выяснилось, не все обстоит так благополучно, как выглядело сначала. Цикла об Ахматовой в книге не будет «по не зависящим от редакции обстоятельствам»¹, но это, м.б., не такое уж горе (если бы не память об ААА), потому что 4 из семи стихотворений цикла были напечатаны ранее — 2 в «Литературной газете» и 2 в «Вопросах литературы».

Мой араб, который действительно великий, застрял, — верно, я устал и нужна передышка. Вы пишете, что я мало говорил о своих стихах, но это такая нерадость говорить о своем, да и не очень это пристойно — заниматься собою.

Вот Вам перевод из Абу-ль-Аля аль-Маарри:

СВЕЧА

Восковая свеча золотого отлива
Пред лицом огорчений, как я, терпелива.

Долго будет она улыбаться тебе,
Хоть она умирает, покорна судьбе.

И без слов говорит она: «Люди, не верьте,
Что я плачу от страха в предвиденьи смерти.

Разве так иногда не бывает у вас,
Что покатаются слезы от смеха из глаз?»

Ну, будьте здоровы, пишите.

А.Т.»

Но больше писем не было. В течение 1970 года я был в гостях у Тарковских несколько раз. Арсений Александрович, кажется, ко мне привык, потому что говорил о вещах, самых для него больных и болезненных: о судьбах сыновей. Тогда еще свежи были в памяти мытарства его знаменитого сына с «Андреем Рублевым». Но и о трудной судьбе другого сына — Алеша — Арсений Александрович говорил с неменьшей болью. Однажды я вспомнил о высказывании Лидии Либединской, которая назвала Тарковского в молодости «неправдоподобно красивым». Арсений Александрович оживился и громко сказал в другую комнату: «Танюша, принеси Мишеньке мою молодую фотографию, мы на нее вместе полюбуемся». — «Сейчас, Арсюша», — ответила его жена. Татьяну Алексеевну сейчас в мемуарах часто описывают, как женщину властную, самовлюбленную, выбирающую друзей для своего знаменитого мужа. Ничего подобного я не ощущал. Ко мне Татьяна Алексеевна всегда относилась одинаково дружелюбно, отнюдь не стараясь хоть чем-то проявить свой характер.

Однажды у Тарковских я познакомился с женщиной, которая произвела на меня неизгладимое впечатление своей красотой, порбидистостью и обаянием. Я читал в ее присутствии многие, тогда еще не опубликованные стихи Ахматовой 30-40-х годов и, видимо, тоже понравился гостье, потому что, уходя, она сказала Арсению Александровичу: «Когда Миша в следующий раз придет к вам, непременно позовите и меня». Это была Ольга Георгиевна Чайковская, чьи судебные очерки, печатавшиеся тогда в «Литературной газете», будоражили всю страну.

В ноябре 1970 года в Ленинграде очень торжественно отмечалось 90 лет со дня рождения Александра Блока. Чествование поэта проходило в Большом драматическом театре, и Тарковский находился среди почетных гостей в президиуме. Но внимание зрителей больше привлекал Евгений Евтушенко, который то садился, то вскакивал, щеголяя красными носками, а потом наделал много шума своим выразительным чтением блоковских стихов:

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцей,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

Лицо Тарковского было замкнуто угрюмым. Я пришел в номер гостиницы «Октябрьская», где они с Татьяной Алексеевной остановились. Запомнилось ощущение нестерпимого холода на улице перед гостиницей, где мы долго ждали такси, запомнился болезненный и даже какой-то затравленный вид Арсения Александровича...

6 августа 1971 года я был у него в последний раз. Я знал, что это была прощальная встреча. Университет я закончил, — предстояла работа на севере, в одной из школ Каргопольского района Архангельской области. Арсений Александрович, видимо, почувствовал мое грустное настроение от предстоящей разлуки с Москвой и был как-то особенно внимателен и добр ко мне в то, последнее, свидание. Когда я вошел в его кабинет, там, как обычно, царяла музыка. Звучал один из концертов немецкого композитора Генриха Шютца (1585-1672). Меня поразила великая чистота мальчишеских дискантов, взывающих к Богу. Арсений Александрович своеобразно отреагировал на мое восхищение. Когда пластинка кончилась, он бережно снял ее с проигрывателя, мелко надписал в левом нижнем углу: «Дорогому Мише от нас с Шютцем. А.Т.» и протянул пластинку мне.

В эту встречу он читал мне много стихов. Так было каждый раз, когда я у него бывал, но в этот раз он читал не только свои стихи, но и переводы из Важа Пшавела, над которыми тогда с увлечением работал. Чтение Тарковского напоминало мне всегда медленный горестный плач. Записи на пластинках не передают этих сдержанных рыдающих интонаций, которыми заканчивалось почти каждое стихотворение, не передают они и обращенности лично к тебе, которой не мог не чувствовать каждый, кому посчастливилось слушать стихи Тарковского в исполнении автора с глазу на глаз.

На прощание он подарил мне две своих книги. На первой, «Перед снегом», он надписал: «Милому Мишеньке Кралину на добрую память о его старом друге. 6.VIII.71. Москва», на второй, только что вышедшей книге переводов Абу-ль-Аля аль-Маарри «Стихотворения» он сделал такую, благословляющую, надпись: «Милому Мише Кралину с пожеланием добра и счастья, на долгую дорогу, чтобы у него все было хорошо. 6.VIII.71. А.Тарковский».

В последний раз мы встретились с Арсением Александровичем совершенно случайно. Было это где-то в конце 70-х, когда я в очередной раз приехал в Москву. Арсений Александрович шел, опираясь на палку. Увидел меня, узнал, заулыбался. Начал расспрашивать о жите-бытье. Потом сказал, что переехал на новую квартиру, записал в моей записной книжке свой новый адрес на Садовой-Триумфальной. Приглашал заходить к нему в гости. Однако я не воспользовался этим приглашением — помешала развившаяся с годами болезненная стеснительность.

Боюсь, что уроки, преподанные мне Арсением Александровичем в его письмах, не пошли впрок — каждый свершает свою судьбу сам. Однако его письма могут стать предметом размышлений для многих, ищущих в жизни свои пути. Поэтому я и решился предать их огласке. Тёшу себя надеждой, что хоть в стихах мне удалось найти себя. И эти заметки мне хочется закончить стихотворением, посвященным памяти дорогого, незабвенного Арсения Александровича Тарковского:

Уходит жизнь, как нежность.
Приходит неизбежность
Укоров, утешений,
Повторов и лишений.

И дорогие тени
Летят через ступени
Из Божьего творенья
В твое стихотворенье.

Природа не скупится,
Повторов не боится,
И новый ангелочек
Живет в плену у строчек.

Он, грешный, и не знает,
Чью роль, смеясь, играет
В твоей последней песне
На полдороге к бездне.

Пытаюсь о нем писать, но нужно огромное очищение, чтоб получилось, как надо...

Юрий Коваль

Из письма к Фазилю Искандеру

Фазиль! Я хочу тебе рассказать, мне кажется, что тебе будет и занятна и понятна мысль, которую я понял не сразу.

Как-то раз с Арсением Александровичем и Татьяной Алексеевной мы поехали из Переделкина в Солнцево. Это — недалеко, погода прекрасная, все это происходит до обеда в Доме творчества и вполне вписывается в наши житейские рамки. Солнцево интересует Татьяну Алексеевну своими магазинами. Она выпорхнула из машины в «УНИВЕРМАГ», а мы с Арсением Александровичем тихо поплелись следом. Мы вошли в магазин, где Татьяна Алексеевна летала, и я увидел вдруг, что Арсений Александрович явственно побледнел. Я слегка напугался. Он опирался на мою руку и в этот момент сделался особенно тяжел. Понимаешь? Я думал, что-нибудь с Татьяной Алексеевной — нет. Он смотрел на прилавок, на котором стоял великолепный (советский) бинокль. Я понял, что он его тут же немедленно купит (800 рублей), и бинокль — восьмикратный! Ого! Бледный, повторяю, в холодном поту, он пересчитывал свои деньги и говорил мне:

— Надо скорей купить.

У него — не хватило, я добавил, потом он, конечно, отдал, он повесил (это был футляр) бинокль на грудь, и мы пошли гулять далее по магазину.

Татьяна Алексеевна, облетевшая то, что хотела облететь, наконец, увидела и нас.

— Ну надо ехать. Пора — к обеду.

— Поехали, — говорит она. — А это что у тебя на груди болтается?

— Да это, — он говорит, — чепуха — не обращай внимания.

Я, как шофер, и, конечно, друг бинокля, как ты понимаешь, в дело не влезая.

— Нет, позволь, Арсений, — говорит Татьяна Алексеевна, — но это же кажется — бинокль?!

— Да тут мы с Юрочкой думали-думали и решили купить.

— И сколько же он стоит?

— Это был последний экземпляр, и мы его купили по смехотворно низкой цене.

— Но у тебя есть, по крайней мере, шесть биноклей и еще подозрная труба!

— Таня, ты не понимаешь! У меня есть бинокли — шестикратные (труба не в счет), двенадцатикратные, но восьмикратного у меня никогда не было.

— Ну смотрел бы в шестикратный!

— А где он? — резонно спрашивает Арсений Александрович.

— В Голицыне.

— Но мы-то в Солнцево. А я хочу сейчас посмотреть!

— Татьяна Алексеевна, — сказал я, — он, кажется, имеет право.

Теперь, Фазиль, почему я этот фрагмент своих воспоминаний о великом поэте посвящаю тебе: слушай, бинокль интересовал его потому, что приближал далёкое! Понимаешь, то, до чего рукой нашей не дотянуться...

Записи из «Монохроник»

* * *

Когда я встречался с Арсением Александровичем, мы беседовали о чем угодно, на любую тему. И о живописи, конечно. Я никогда его не спрашивал — умеете ли Вы, Арсений Александрович, рисовать? Но я всегда знал, что он прекрасно рисует, почему-то я это всегда знал. Но проверить это как-то не представлялось возможным. И вдруг — ко мне приехали друзья, и кто-то подарил мне набор фламастеров. Я не очень люблю фламастеры, но, захватив их с собой, я вместе с друзьями отправился к Тарковскому в гости. И берет он эти фламастеры, и совершенно роскошно рисует портреты всех окружающих, мгновенно причем, немедленно, одной линией, гениально просто. И в частности мой портрет с трубкой (мы тогда с Арсением Александровичем курили трубки). Среди рисунков есть и очень любимый мною его автопортрет. Мне кажется, это из неплохих автопортретов, вообще писательских автопортретов.

* * *

Когда я учился в институте — сочинял стихи — «Наброски и арабески». Там был такой арабеск:

У политрука
Болит рука...

Арсений Александрович, к моему изумлению, частенько придумывает эту строчку.

— Как ваша рука? — спрашиваю.

— У политрука болит рука...

Руку же его, измученную отложением солей, я массирую. Со стороны никто не понимает, что я делаю.

* * *

На мою просьбу придумать рифму к слову «недопесок» Арсений Александрович отреагировал немедленно:

Не паршивый недонóсок,
А достойный недопёсок...

* * *

«Автопортрет с женой» — первый рисунок, сделанный для меня Арсением Александровичем.

* * *

Арсений Александрович часто цитирует свои старые стихи:

Подойду я к дедушке
Моему — матросу,
 Попрошу его перекувырнуться.
 Улыбнется дедушка,
 Куря папиросу,
 Если только сможет улыбнуться...

Когда же я, предполагая, что Арсений Александрович устал, говорю: — Посидим, — Арсений Александрович живо возражает:

— Посидим, посидим, посидим
И нарвем букетик роз... —

это тоже цитата из старых его стихов.

* * *

— Как вы себя чувствуете, Арсений Александрович?
— Весьма условно...

* * *

Читали с Арсением Александровичем старый журнал «Охота для всех» за 1918 год. В одном из стихотворений встретилось нам слово: «зародь» («...отметав с косарями зародь...»). Мы не знали этого слова, и Арсений Александрович сообразил по контексту: «Это нечто вроде стога». Я проверил по Далю: «...стог, скирд или скирда...»

* * *

Насмешили нас стихи из этого журнала:

Дрофам, этим страусам нашим напольным
Итог подвести мы успеем
Их жизни привольной снарядом трехнольным,
Предел положить мы сумеем...

А в осень охоты бывают как сладки!
Приходится метким дублетом
В просторный ягдташ две иль три куропатки
Вложить... Но оставим об этом...

РАССКАЗ О ШЕСТИ РИФМАХ

Заговорили о переводе Арсения Александровича из Мах-гумкули. Вот эти стихи:

Скажите лжецам и глупцам —
Настало их подлое *время*.
Скажите безумным скупцам —
Казна — бесполезное *бремя*.

Скажите подруге моей —
Растерзан я на сто частей;
В песках раскалённых степей
Сгорело пшеничное *семя*.

Базар мой расхищен, я пьян,
Я болен, я гибну от ран,
Слепит меня горный туман
И грузом ложится на *темя*.

Мой сын не дождался меня:
Он мертв. Из Хивы я три дня
Скакал, и язвило коня
Мое сумасшедшее *стремя*.

Ты смотришь на лик восковой,
 Фраги¹, в этот час роковой.
 Молчи. Твой язык огневой
 Печалит родимое племя.

Татьяна Алексеевна так рассказывала:

— Он перевел все это, потом схватился за голову и сказал:

— Я удавлюсь!

— Что с тобой?

— Ты понимаешь, я перевел стихотворение, но там осталась еще строфа, а больше рифм нет в русском языке¹. Время, бремя, семя, темя, стремя и племя. Это все. Больше рифм нет. Я удавлюсь или выброшусь из окна. Что делать мне? Нету больше рифм.

— Как же так! Ну что же делать! Я тоже в ужасе. Такое великолепное стихотворение. Беру оригинал, беру подстроичник, беру перевод, считаю. Везде пять строк. Оказывается, он перевел все стихотворение. Просто он обсчитался.

РАССКАЗ АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА О ХУДОЖНИКЕ-АХРОВЦЕ

Мы купались на Москва-реке. Переплыли на другой берег и видим: сидит какой-то художник-ахровец². Сидит и пишет пейзаж на Воробьевых горах.

Вдруг из реки вылезает какой-то парень — волосы на лоб — босяцкая физиономия. Подбегает к художнику:

— Дяденька, что ты тут делаешь?

— Вот пейзаж пишу... Искусство... великое... советское...

— Дяденька, дай мазнуть, дай мазнуть. Дай кисточку, где зелененькая, где зелененькая красочка?

Ахровец видит — никак не отвязаться. Ну, надавил краски зеленой на палитру, дал кисточку.

— Дяденька, где мазнуть? Где мазнуть?

— Ну, вот здесь вот мазни, дорогой.

Тот взял кисточку и мастеровито через весь этюд написал чрезвычайно неприличный предмет. Потом так пальцем мастеровито отретушировал. Одним движением кисти с непревзойденным мастерством нарисовал бог знает что.

Мы бросились в воду, поплыли и, оглядываясь, видели, как ахровец все сидит в позе окаменения.

¹ Фраги — псевдоним Махтумкули.

РАССКАЗ АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПРО ХУДОЖНИКА
ЯКОВЛЕВА

Яковлев был слабый художник, но великий был поддельщик. И вот однажды советское правительство даже продало одну его подделку в Лондонскую галерею. Дело дошло до какого-то самого главного английского эксперта.

Эксперт посмотрел на картину и сказал:

— Это первосортный Яковлев.

РАССКАЗ АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОБ ОТСТРЕЛЕ АБРИКОСОВ

Когда я переводил Махтумкули, мы жили в Фирюзе. Там была дача не то совета министров, не то ЦК. Что-то было очень важное. Мы жили в отдельном коттедже, как в раю. Нам готовили «туртуш» — это горная куропатка... Это баснословная вещь!.. Потом еще там что-то было такое: дыни всякие, как в раю мы жили... соловьи пели туркменские.

И там был сад с огромными абрикосовыми деревьями. Снизу на абрикосах урожай был весь собран, а на верхушках деревьев много осталось абрикосов. Вот таких вот! Снизу достать их было невозможно.

Но у меня было духовое ружье с оптическим прицелом. Я приделал оптический прицел к ружью, пристрелял его.

Я в черенок попал!

Абрикосы валились — вот такие вот! Настреляю десяток абрикосов, сажусь работать. Съем — пойду еще отстреляю... Вот такие были абрикосы! Ох, это была жизнь!

* * *

Шел из Литфонда и встретил вдруг Арсения Александровича. Он стоял на той стороне в сугробах снега и не решался перейти улицу. Я кинулся к нему, мы обнялись.

— Переведите меня через улицу, — попросил он.

Потом мы долго ловили для него такси, но свблочи-шоферы не останавливались — мрак, снегопад, скользкость. Арсений Александрович гнал меня, но, конечно, я не уходил, напомнил ему, что он обещал книжку, и тут же вдруг он вынул ее откуда-то и, радостный, отдал мне. Я не мог просить его надписи под снегопадом. Вдруг и остановился какой-то УАЗ. Я помог Арсению Александровичу взобраться в машину и попросил его поцеловаться на прощание.

Арсений Александрович был в поликлинике, он переводил себя из инвалидов 3-й группы во 2-ю. По-моему же, человек без ноги всегда — первый.

* * *

...И я ему сказал, что меня потрясает его перевод из Махтумкули. И он спросил меня:

— А какая строчка?

После общих комплиментов, я все-таки обозначил эту строчку:

— Скажите любимой моей —
Растерзан я на сто частей...

Арсений Александрович очень и очень задумался, сказал, что писал это про себя, что у Махтумкули вообще эти строчки вряд ли есть, и говорит:

— А вам-то что?

Я ответил:

— Не знаю, но чувствую, что буду.

Этот разговор промелькнул, как белка меж сосновых веток, а мы-то за ней все в бинокли наблюдали. А разговор весь происходил в 1981 году. Был жив (и в Москве) Андрей Тарковский. Но я-то не сказал Арсению Александровичу, что меня потрясают и строчки:

Мой сын не дождался меня:
Он мертв. Из Хивы за три дня...

Если было бы возможным мне сейчас поговорить с Арсением Александровичем, все равно мы бы смеялись счастьем видеть друг друга.

И я бы не посмел сказать:

— Поэт! Никогда не предрекай себе ужасную участь, даже переводя Махтумкули.

Но этого сказано не было.

Арсений Александрович от меня этого не слышал, но читал это как провидец:

— Мой сын не дождался меня!

НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ ИЗ ДОЛГОЙ ДРУЖБЫ С ПОЭТОМ АРСЕНИЕМ ТАРКОВСКИМ

РАДИОПЕРЕДАЧА

Арсения Александровича надо понимать, шутник он был большой, собеседника разыгрывал тут же, но всегда мягко и простодушно. Над «юбилейным» стихотворением, посвященным мне, он просидел, по его собственному признанию, целый день, да еще и потом вносил поправки. В таких случаях нередко он сопровождал дружеские послания своими рисунками, так что порой стихотворение приобретало вид мини-книжки. Работа делалась цветными карандашами, и, в конце концов, шутка исчерпывалась, он переходил на кратчайшую прозу, похожую на поэзию и безусловно лестную для юбиляра. Впрочем, не уверен, что подобных мини-книжек было несколько у Арсения Александровича, с таким подарком я встретился впервые.

Вообще ко дню рождения Арсений Александрович относился с трепетом. Накануне своего Дня он укладывался надолго в постель, устанавливал перед собой деревянную легкую доску, кнопками прикреплял белоснежный лист и не подымался до тех пор, пока не появлялось новое его стихотворение. Это был дар самому себе. От того, насколько удавалось ему это стихотворение, зависело настроение всего его праздничного дня. И этот трепет он пытался передать своим близким и друзьям в их дни рождения. Так появилось и стихотворение, посвященное моему пятидесятилетию в марте 1976 года, вместе с огромным тортом, водруженным Арсением Александровичем на стол, и редкостной книгой Данте, надписанной карандашом.

В том же году вышла моя книга стихотворений «Автопортрет». Центральное радио сделало передачу о ней. Сказать об этой книге попросили Тарковского. Он охотно согласился. На следующее утро статья была готова, и мы вдвоем направились на радио. Погода выдалась противная, Арсений Александрович поёживался от морозящего снега. Еще дома я стал уговаривать его не ходить в такую слякоть.

— Успеется, — говорил я ему, — передача будет еще не скоро.

Он же все торопил, несмотря ни на что:

— Вы не знаете их, Гришенька! У них сто пятниц на неделе, поверьте мне!

На радио вся процедура записи заняла не больше двух часов. И вот наступил день передачи. Мы слушали ее отдельно, каждый у себя дома. Текст Тарковского был изощрённо урезан, вся суть оказалась выхолощена, самое важное убрано. Слова автора о том, что нет никакого лирического героя в поэзии, что героем является сам автор, его переживания и что нельзя вводить отсебятину в нашей критике, выдумывать то, чего нет, убраны начисто. Я не узнал Арсения Александровича, когда пришел к нему. Он лежал, забившись в угол. Когда я поздоровался с ним, он не ответил мне, а яростно прокричал:

— Никогда моя нога больше не переступит это бандитское учреждение!

Я, как мог, успокаивал его. Но все было напрасно. Тогда я предложил ему сыграть в нарды. Тут он оживился. После моего крупного проигрыша настроение Арсения Александровича улучшилось, он начал улыбаться мне, это обозначало — надо продолжать игру. И, слава Богу, посыпались его шутки, мы попили чаю, время уже было позднее, Арсений Александрович проводил меня до двери, подал мне пальто. Отказаться от этого было невозможно, так провожал он каждого. Больше никогда мы с ним не сказали ни слова о радио.

КНИГА В ПРОТЕЗЕ

Книг своих Арсений Александрович никому не давал, как не давал пластинок и хранил в недоступном месте свои марки. Он считал, что если человек отдает свое время какому-нибудь познанию или увлечению, он это должен делать с полной отдачей.

Даже внуку своему, тринадцатилетнему отроку, он неохотно дарил марки, хотя тот тоже их коллекционировал. Я даже однажды отважился и сказал Арсению Александровичу: «Неужто жаль дать лишнюю марку мальчику, такому хорошему. Я бы ему все отдал». Он ответил: «Вам легко так говорить. А в рамках столько поэзии и пространства, что Вы себе, наверное, и не представляете. Я привык к своим маркам».

Арсений Александрович очень оберегал свою библиотеку. Не было дня, чтоб он влажной тряпкой и щёткой не протирал стёкол своих книжных шкафов, которые виселись до самого потолка.

Все это было еще ничего. Но видеть его прыгающим со ступеньки на ступеньку на одной ноге и почти у потолка, освобождающим руки от опор, было страшно. На раскладной лестнице стоял живой крест, невольно пошатываясь каждый раз. Когда он кончал работу и спрыгивал вниз, казалось, что больше он не станет взбираться и чистить стёкла, но это было слабое утешение. Каждый раз я снова и снова замирал, завидев его, снова орудуя тряпкой и щеткой у самого потолка. Я даже боялся поздороваться с ним в этот миг — невольно сделает какое-нибудь движение, потеряет равновесие, и молчал, пока он сам не замечал меня.

Как-то он спросил: «У Вас есть Библия?» Я ответил: «Только «Тора». Была у меня полная отцовская Библия, но я подарил ее дочери. В то время достать Библию было трудно и стоила она дорого. У меня — Евангелие, подаренное Марией Сергеевной Петровых.

Арсений Александрович собирался в дорогу, он уезжал в Польшу. Был он там около месяца, вернулся радостным, очарованным монастырями, монастырскими библиотеками. «Вот где мне хотелось пожить. Кстати, я привез Вам Библию». Я опешил. Не знал, как благодарить его. И он вручил мне маленький, с мою ладонь, том. «Как Вы его провезли? На таможене ведь все проверяют», — спросил я. «Очень просто. В протезе». «Представляю, как Вы измучались». «Когда везешь такую книгу, Сам Господь помогает».

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ

Имя Франциска Ассизского прозвучало для меня впервые двадцать лет назад из уст Арсения Александровича Тарковского: «И Вы не читали «Цветочки»? И Вы не знаете Франциска из Ассизи? Ну-ну!» — сказал он. Я засмутился. Мне показалось, что в названии самой книги есть что-то сентиментальное. Я поблагодарил Арсения Александровича и уже собирался уходить, держа эту книгу в руках. Но Тарковский остановил меня: «Эту книгу я никому не даю выносить из дома, сидите и читайте здесь».

Итак, «Цветочки» я читал у него дома. И мне с каждой новой страницы все больше хотелось знать об этом замечательном человеке. Увы, я нашел только статью в словаре Брокгауза и Эфрона, в котором увидел несколько фактов из жизни Франциска, отсутствовавших в предисловии к единственному изданию «Цветочков» 1911 года. Судьба юноши, выходца из купеческой семьи в Ассизи, страстного прожигателя жизни, весьма поучительна. В один прекрасный день

юноша из богатой семьи отказался от светского образа жизни и принял аскетическое существование как единственно возможное и достойное в Италии с ее падшими храмами. Он создал свой орден меньших братьев. На труде и подаянии жила эта необыкновенная семья людей, самых различных по происхождению.

Сейчас, когда я оглядываюсь на прожитые годы, я начинаю понимать, что Франциск, который жил и творил 800 лет назад, оказался одним из самых близких мне людей. Это и предрекал Тарковский, когда усаживал меня за стол с «Цветочками».

Восемь веков назад Франциск из Ассизи предрек все, что случилось в конце концов с нашим обществом потребителей, жаждущих все больших и больших благ, готовых ради этого разрушить и землю и небо. Пророческие деяния монаха Франциска сейчас, как никогда, понятны. Сохранение земли, ее флоры и фауны, которым грозит гибель, в центре внимания всех людей. Франциск знал, что только в ограничении своих потребностей род человеческий может жить и жить, преумножая свои духовные богатства. Что нужно оберегать природу от ненасытности человеческой утробы.

Книга, которую мне открыл большой русский поэт Арсений Тарковский, стала радостью многих лет моей жизни, стихами же о Франциске я обязан опять-таки А. Тарковскому.

Арсению Александровичу нравились эти стихи. В последствии он вручил мне как награду — точно такую же книгу издания 1911 года, не знаю, где и как раздобытую им. Этот бесценный дар его я храню среди двадцати любимых книг.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДРУГ

Мои воспоминания об Арсении Александровиче Тарковском — совсем детские. Я еще не знала, что он поэт, тем более не знала, какой поэт, знала только, что он — мой друг, Арсюша.

Я играла в мяч в вестибюле переделкинского Дома творчества.

— Чудесная девочка! — сказал Арсений Александрович.

— Учительница говорит, она трудный ребенок, — возразила моя мама.

— Это *учительница* — *трудная*, — заметил Арсений Александрович, и поймал мой мяч.

Так у меня появился взрослый друг, который назвался просто Арсюшей. Впервые будучи у него в гостях, я поняла, что наша дружба — неслучайна. На кушетке рядом с ним сидела прекрасная плюшевая обезьяна с человеческими глазами и в платье, с детёнышем на руках. Арсюша нас познакомил. Я была заворожена. Наверное, вела себя в тот раз, как киска на приеме у английской королевы — та, что «видала мышку на ковре».

— Мама, зачем Арсюше обезьянки? Кто играет в них?

— Он сам.

Он был необыкновенным.

На Новый год я получила в подарок от Арсюши плюшевого медведя и — стихотворение о нем.

1 января 1975 года

Дорогая Наташа!
Мы с тобою соседи.
Склонность общая наша
И слоны и медведи.
А вот это, вот это
Тоже зверь позвоночный
Очень вкусного цвета:
Шоколадно-молочный.
Как назвать нам медведя?
Ну конечно — Арсюшей!
С ним у нас, у соседей
Соприродные души.

Мы — вегетарианцы,
 Ценим пшеничную кашу,
 Горячо, как испанцы,
 Оба любим Наташу!

Твой друг Арсений.

Кроме того — автопортрет поэта Арсюши с красным цветком за ухом и портрет медведя Арсюши с таким же цветком в лапе.

Однажды я узнала, что Арсюша болен — ему грустно. Я думала, думала, и вдруг поняла, что нужно сделать... Мне повезло, в «Детском мире» я нашла обезьяну, достойную составить компанию его любимицам. Когда Арсюша посадил ее рядом, мы все очень радовались...

Но нельзя сказать, что ничто и никогда не омрачало нашу дружбу. К несчастью, однажды я прочитала Арсюше стихотворное произведение, «заданное» «трудной учительницей». Злодеи-дворяне угрожали отнять у школьников букварь, но самоотверженные большевики бежали из тюрьмы на помощь... Я выступила с пафосом. Арсюша грустно смотрел на своих обезьянок, а мне не сказал ни слова...

Дома я поделилась огорчением с родителями. И тогда мне объяснили, что мой друг Арсюша — поэт и, кроме того, дворянин.

-- Но ведь у него нет охотничьих собак?

-- Все равно.

Арсюша, конечно, понял, что виновата «трудная учительница». Она меня обманула, и мне было стыдно...

К следующему Новому году я получила башмачки и — стихотворение о них.

Это все подружке нашей
 Милой девочке Наташе.
 Если эти башмачки
 Будут малость велики,
 Их придется в магазине
 На другие обменять,
 Поручаем то Ирине,
 А Ирина — Ваша мать.
 Подношенье просим ныне
 Новогоднее принять.

Башмачки оказались как раз впору. Это была обувь того же свойства, что башмачки Алисы, в которых она убежала

в Страну Чудес. Кажется, я имела тот же шанс. Но вместо лодочной прогулки мы отправились в кино. Шла комедия «Никаких проблем». Проблемы возникли сразу же, уже у входа в зрительный зал атмосфера оказалась накалённой, детей до шестнадцати не пускали, а мне — всего одиннадцать. Взрослые запаниковали — все, кроме Арсюши. Он взял меня под руку.

— Но... — заметила было билетерша.

— Ей шестнадцать, — сказал Арсений Александрович.

— Но... — пролепетала билетерша.

— Просто она у нас *не акселерат*, — с достоинством проговорил Тарковский.

И мы степенно вошли в зал. Арсений Александрович выглядел слишком благородно, ему невозможно было не поверить. Как раз начало для комедии «Никаких проблем»...

А когда мне по-настоящему исполнилось шестнадцать, Арсюша перестал со мной дружить.

— Мама, — пожаловалась я, — почему Арсюша совсем меня не замечает?

— А как себя чувствуют обезьянки?

— Я уже не маленькая и не играю с обезьянками!

Сказала — и все поняла.

«ТАК И НАДО ЖИТЬ ПОЭТУ...»

А разве я не хорошо горю?
Арсений Тарковский

С Арсением Александровичем Тарковским я познакомился в гостинице «Армения» 14 июня 1967 года, в день, когда он с женой Татьяной Озерской приехал в Ереван. Приехал по приглашению Союза писателей Армении переводить стихи Егише Чаренца¹.

Как только мы познакомились, он сказал:

— Знаете, я был в Армении. И мы всюду ездили с Мартиросом Сарьяном. До войны еще. Вокруг Сарьяна была такая атмосфера доброты. С ним было очень хорошо.

— Да, как у вас с молодыми поэтами, есть хорошие?

Я назвал Размика Давояна...

Сказал Тарковскому, что люблю его стихотворение «Комитас»². Когда была прочитана строфа:

Лазарь вышел из гробницы,
А ему и дела нет,
Что летит в его глазницы
Белый яблоневого цвет, —

Тарковский сказал:

— Здесь, в музее, есть «Комитас» Татевосяна...

Очевидно, Тарковский помнил работу художника Е. Татевосяна, когда писал своего «Комитаса». У Е. Татевосяна на первом плане крупно написан Комитас. Он весь в белом. На нем белая сутана. Стоит он с блокнотом в руке, прислонившись к стволу громадного дерева. Вдали стоят крестьяне с детьми. Все кругом цветет. Преобладающее белое — на фоне зеленого, зеленого с коричневым и даже с черным. Гора вдали синяя, за горой желтое солнце и легкая синяя дымка неба...

— Надо пойти в музей, — решает Тарковский. — Знаете, я писал об этом музее. Статьи были для зарубежных газет.

— А то, что вы пишете о переводчиках, — заметил Тарковский, — это очень благородное дело. У меня на книгу «Земле — земное» было 13 рецензий. А переводил я годами, и никто не писал, не было ни строчки. Однажды только за рубежом написали. Очень странно иногда бывает, читают по

радио Китса³ и не говорят, кто же его перевел. Получается, будто Китс писал по-русски.

Говорили не только о литературе. Тарковский рассказал, как после войны в одной артели сшили из бязи зайчиков. Зайчики покупались. Артель шила все новые и новые партии. Прошло несколько лет, и выяснилось, что зайчики были сшиты всего один раз. Сдавалась партия зайчиков в магазин, затем артель скупала их и снова сдавала. И так до бесконечности, пока их не арестовали. Продавались зайчики по твердой цене, а бязь, из которой должны были шить все новые и новые партии зайчиков, продавалась на черном рынке.

В ответ я рассказал о том, как после войны в Кобулети, недалеко от Батуми, построили школу, набрали учеников. В штате держали около пятидесяти учителей. Но реально существовали только директор школы и бухгалтер. Самой школы не было, ее не построили, хотя ежегодно выписывали деньги на ремонт, хотя был стóрож школы, были уборщицы. Директор и бухгалтер много лет получали зарплату за всю школу и делились с заведующим горонó. Летом 1954 года Верховный суд Аджарии судил изобретательных мошенников.

— Эта история почище зайчиков, — смеялся Тарковский.
— Совершенно гоголевская история.

* * *

15 июня

Из подстрочников Егише Чаренца, предложенных Тарковскому, он отобрал очень немного. Позже, уже из Дилижана, где он работал, Тарковский писал заведующей редакцией художественного перевода А. Г. Вартапетян: «Я в тревоге, боюсь, что у меня мало материалов со схемами рифм и размеров стиха... Очень прошу Вас оказать благотворное влияние на авторов подстрочников, чтобы схемы были вписаны поскорей. Не хватает мне подстрочников до договорного объема; нужно и строк 110-150 сверх 1000, чтобы была хоть малая свобода дальнейшего выбора».

Тарковский переводил стихи ему близкие как поэту. Он говорил, что не любит новаторские стихи.

— Классический русский стих очень прочен. Это корабль, который можно грузить и грузить — будет на воде держаться. А новый стих, верлибр, сам себя не держит. Такой корабль ничем не загрузишь.

Я вспомнил Амо Сагияна⁴, сказавшего, что стихи без рифмы — как брюки без пуговиц, только на гениальном человеке могут держаться такие брюки.

— На мне не держатся, — улыбнулся Тарковский.

Спросил, как по-армянски ласточка.

— Цицернак.

— Это очень похоже на Цицерон. Цицернак, Цицерон. Пастернак...

Подарил мне «с чувством дружеской симпатии, с пожеланием счастья» свою книгу «Земле — земное».

Ездили на берег Зангу, смотрели родники-памятники. Разговор об Ахматовой. Тарковский:

— Блок однажды сказал про молодую Ахматову, что она пишет так, словно на нее смотрит мужчина. А надо писать так, будто на тебя смотрит Бог. Ахматова многие вещи так и писала. На нее смотрел Бог...

Вечером были у Галенцев. Работы Арутюна Галенца⁵ очень понравились Тарковскому;

— Больно, что он умер, странно, что жил... Таких художников, как Галенц, бездарности держат в тени. Для государства они не опасны.

— Знаете, Левон, сЕров — так называют Владимира Серова в отличие от настоящего Серова, Валентина, передвижника... Никогда еще непонимание искусства не доходило до такой высоты.

Тарковский так и сказал: «...до такой высоты», хотя мог бы сказать: не падало так низко. Но высота (если речь о непонимании в высоких властных структурах), она ведь тоже может быть низкой.

* * *

16 июня

Поехал с Тарковскими, Владимиром Соколовым⁶ и Вл. Лифшицем⁷ (они, как и Тарковский, переводят Чаренца) в Дилижан. Живем в коттеджах Дома творчества композиторов. У каждого из нас — огромные апартаменты с роялями. Коттеджи утопают в зелени. Здесь очень прохладно, пасмурно.

Вечером Тарковский рассказал, как он отдыхал в Дубл-тах, как ездил в Калининград (Кёнигсберг) и как Мариэтта Шагинян попросила привезти кусок камня с могилы Канта.

— Я взял отвалившийся от цоколя памятника кусок. Когда ехал назад, прочел статью Шагинян о Федоре Панфё-

рове, она его хвалила. Вернулся в Дубулты, Шагинян спрашивает:

— Привез камень?

— Я теперь привезу вам камень с могилы Панфёрова, — ответил я.

И еще одну историю о крутом характере Тарковского рассказала Татьяна Озерская. Председатель московского Литфонда невзлюбил Тарковских. У них не было квартиры, и, по распоряжению Фадеева, жили они в Доме творчества, но их оттуда все время выгоняли. Однажды Тарковский приходит к Литфондовскому председателю и говорит, что он зверь, а не человек. Затем хлопает дверью и закрывает за собой дверь на ключ (ключ был в дверях) и уходит, сказав секретарше: «Пусть этот зверь посидит в клетке, а ключ я возьму с собой».

Об Александре Твардовском:

— С Твардовским я в очень плохих отношениях. Он у себя печатает ужасные стихи. Он не понимает чужих стихов. Поэзии у него в журнале нет.

* * *

21 июня

Дилижан. Тарковский читал свои переводы из Чаренца. Очень ему нравится «Газелла матери».

— Переводить, словно тифом болеть, — говорит он. — Сегодня я перевел очень мало, всего 16 строк. Сажусь переводить, и всякий раз такое ощущение, что никак не перевести это стихотворение, что это невозможно, такое ощущение, словно я никогда не переводил и первый раз пробую перевести...

Читал стихи из двух своих книг, переплетённых вместе. В книгу вшиты листки с новыми стихами, написанными от руки. Стихи свои любит. Читает, не выделяя рифму, хотя рифма в его стихах многое значит, о чем он сам говорит.

Закончив чтение и глядя на книгу своих стихов, Тарковский говорит:

— Напишешь стихотворение — оно еще совсем младенец, напечатается на машинке — уже взрослое, появится в журнале, в книге — это уже полная зрелость. А вот когда умрет поэт, начинается для стихотворения новая жизнь, оно воспринимается иначе.

Вспомнил я прошлогоднюю статью Вл. Солоухина о Тарковском «Хранитель огня». Сказал, что, по-моему, никто о нем так не писал. И не напишет.

Статья у меня сохранилась в папке о Тарковском. «Была в древнейшую старину, в доисторический период почетная и ответственная должность, — писал Солоухин. — Люди, исполняющие ее, назывались, вероятно, хранителями огня. Важно было во время битвы ли, на долгом ли переходе с одного края земли на другой сберечь золотую искорку, чтобы потом, когда соберутся под безопасным и мирным навесом ветвей, опять запылало пламя.

Арсений Тарковский — такой хранитель огня». («Лит. газета», 1 ноября, 1966 г.)

* * *

22 июня

Дилижан. Арсений Тарковский:

— У меня есть ученица Лариса Миллер, пишет стихи как большая сложившаяся поэтесса. Я учу писать точно. Часто пишут небрежно, отклоняясь. Я как-то говорил: представьте, человек разбил стекло и сильно порезал руку. Первое, что он начинает делать, берет тряпку и вытирает пол, на котором следы крови, затем думает о том, как вставить разбитое стекло, звонит и договаривается с мастером, а надо бы ему сразу же заняться рукой, побежать в поликлинику...

Вспомнили почему-то Ст. Щипачева⁸. Тарковский:

— Знаете, это очень хороший человек. Это единственный писатель, который стал секретарём и которого стали еще больше уважать.

В столовой Дома творчества композиторов на обед не давали совершенно зелени. Приходилось самим покупать.

По нраву все мы папуасы,
Возобновить бы нам травы запасы, —

предложил Тарковский и добавил:

— Дети меня называли папаас.

Тарковский подарил мне машинописный экземпляр своего перевода знаменитого непереводаемого стихотворения Чаренца «Ес им ануш Айастани...» На машинописном экземпляре перевода «Я слов Армении сладчайшей пропахший

солнцем лад люблю...» Тарковский написал: «Левону — до книги, после знакомства, во время дружбы с завтрашней и сегодняшней любовью».

Но в книге (Егише Чаренц, Избранное, Ереван, 1967) этот перевод Тарковского не был опубликован, редакторы предпочли другой перевод. Да и завтрашняя любовь и дружба кончились, увы, в конце 1968 года.

* * *

24 июня

Дилижан. Завтра Арсению Александровичу Тарковскому — 60 лет. Поэты, которым сейчас за пятьдесят, знают, как жестоко ошибались те из них, кто изменял поэзии и правде, щедро предлагая читателям стихи на случай. Арсений Тарковский, может быть, самый взыскательный из поэтов этого поколения. У него две книги стихов. Вторая его книга «Земле — земное» вышла в свет в прошлом году, а в нынешнем поэту исполнилось 60 лет.

Две небольшие книги принесли Тарковскому славу и известность одного из лучших поэтов России. Он не делал себе имя на сомнительных литературных сенсациях. Работал в традиционной манере и твердо верил, что источник, из которого пили Пушкин и Фет, Блок, Пастернак и Ахматова, никогда не иссякнет, не устареет...

Во вчерашнем номере армянской литературной газеты «Гракан терт» опубликована к 60-летию Тарковского небольшая моя статья «Поэт».

В Доме творчества композиторов живет большая мохнатая собака по имени Том. Говорят, она чуть не загрызла поросёнка. Тарковский сочинил устную «Балладу о Томе-свиноеде»:

Жил-был желтый пёс по прозванью Том
На костях свиней он построил дом.

Никого не звал к своему столу,
И скелет свиньи водрузил в углу.

Раз пришла к нему старая свинья,
Смотрит на скелет: «Это дочь моя!

Ты загрыз ее, недостойный скот,
Почему ж тебя совесть не грызет?»

И ответил Том: «Не мешай мне спать!»
И загрыз потом плачущую мать.

Вечером Тарковские, Лифшиц с женой и я пошли в ресторан «Агарцин».

По какой такой причине
Мы пируем в «Агарцине»?
А причина такова,
Что седеет голова.
Нам сегодня восемнадцать,
Завтра будет двести двадцать...

— импровизировал Тарковский.

Много и нежно говорил Тарковский о Цветаевой. Ругал Эрэнбурга и Асеева.

* * *

25 июня

Дилижан. Утром в торжественной обстановке — пир горой — Владимир Лифшиц прочел свое стихотворение «Арсению Тарковскому в день его шестидесятилетия». У меня подписанный Лифшицем машинописный экземпляр:

Надоумил господь Арсения:
Покидай Москву, не жалеи!
Пусть, Арсений, с тобой Армения
Твой отпразднует юбилей.

Не хочу, чтобы ты из-за столика,
В пошлом гомоне ЦДЛ,
Не такую уж малую толику
Жизни прожитой обозрел,

А хочу, чтоб с камней Армении,
С величавых ее вершин,
Неподкупных, как вдохновение,
Поглядел на то, что свершил...

Не из тех, кого пышно чествуют, —
Есть вершины, а есть верхи, —
Ты из тех, кого сердцем чувствуют,
Словно музыку и стихи.

И подарком нам всем от Арсения,
 Как плоды на ветвях, висят —
 Не весенние, не осенние —
 Эти летние шестьдесят.

Сочиняли нечто вроде частушек:

Знаем мы Тарковского
 Парня очень свойского...

Пили, конечно. Главным образом водку.

Вода не утоляет жажды,
 Я пробовал ее однажды, —

улыбался Тарковский. Он часто повторял это двестише за обедом, за рюмочкой водки.

...Владимир Соколов держится от нас в стороне. К нему в Дилижан приехала подруга. Ему, понятно, не до нас.

* * *

26-28 июня

Дилижан. Подготовил для Тарковского вопросы для беседы с ним. Беседа (очевидно, вопросы были неинтересные) так и не состоялась, хотя Тарковский ответил письменно на первые два вопроса.

— Ваши оригинальные стихи высоко ценит читатель, он ждет их. Не мешает ли Вам работа переводчика писать оригинальные стихи?

— Благодарю Вас за добрые слова. Стихотворный перевод — отличная школа для поэта. Работа над переводом дает навыки, без которых обойтись невозможно. Одна из бед молодых поэтов в том, что замысел порой остается недо воплощенным из-за неумения полностью выразить его в стихах. Вместо того, чтобы властвовать над стихотворной формой, неопытный поэт подчиняется ритму или рифме, и они ведут его за собой то в ту, то в другую сторону, отвлекая от цели.

Туманность выражения, чрезмерная разветвленность сюжета — недостатки, главным образом, технического порядка. Перевод предоставляет поэту минимум свободы, а свободе лучше всего учит ее отсутствие. Она пригодится ему в пору зрелости. В молодости дисциплина мышления — лучшее условие совершенствования. Редкие поэты пишут стихи постоянно, изо дня в день. Чтобы рука не слабела, ее нужно упражнять. Перевод — хорошая гимнастика. Но стихотвор-

ный перевод — род поэзии. И если отдавать ему слишком много времени, творческой энергии будет истрачено слишком много, и для собственной музыки ее не хватит.

В идеале переводчик работает над подлинником, отвечающим его запросам, мыслям и чувствам, его времени. Тогда перевод — поэзия в прямом смысле слова. Так, после победы над войсками Наполеона появился на свет перевод «Илиады» Гнедича. Поэзия Жуковского в громадном большинстве случаев — переводная. Она была вызвана к жизни интересом общества к романтике, бурно вспыхнувшим в начале прошлого века.

Огромную роль при переносе произведения поэзии на иноязычную почву играет язык перевода. Язык — активный элемент поэзии, и греческая «Илиада» в переводе — предмет русской поэзии...

Даже самое полезное при неумеренном употреблении становится вредным. Жизнь автора, способного создавать художественные ценности и целиком отданная переводу, несомненно, вызывает сожаление.

— О собственно переводах пишут мало, а когда пишут, ратуют за перевод буквальный.

— Стихотворный перевод не может быть (по условиям задачи) буквальным. Как бы мы ни желали достичь абсолютной верности подлиннику — это невозможно из-за разности языков, их мелодики, ритмики, звукописи, различия образного наполнения тождественных понятий, различия исторического и социального опыта авторов оригинала и перевода и проч.

Перейдем на язык цифр. В переводе можно воссоздать максимум 70-80 процентов от оригинала, 30-20 процентов останутся за бортом перевода. Появится новое заполнение поневоле возникших лакун. Эти дописки должны быть в согласии с как бы оставшимися в неприкосновенности 70-80-тью процентами подлинника. Дарование переводчика именно в этих дописках. Чем переводчик скромней, чем больше он хочет раствориться в подлиннике, тем он даровитей и квалификация его выше...

* * *

28 июня

Дилижан. У входа в столовую Дома творчества собаки перевернули урну, чтобы достать оттуда хлеб, и весь мусор высыпали на пол.

— Собак могут за это выгнать, могут убить, — забеспокоился Тарковский и, попросив в столовой веник, прибрал весь мусор.

* * *

11 июля

Ереван. Приехал из Цахкадзора Тарковский. Я ему принес составленный мной сборник «Это — Армения». Тарковский обрадовался опубликованному в сборнике циклу стихов Осипа Мандельштама «Армения». В номере гостиницы Тарковский весь вечер читал Мандельштама.

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску.

— Это Мандельштам пишет о себе, это он снимает посмертную маску, — считает Тарковский.

— Мандельштам, — говорит Тарковский, — поэт камня. Его книга так и называлась «Камень». Поэтому он так почувствовал Армению.

* * *

12 июля

Тарковский в Союзе писателей Армении. Беседа с Эд. Топчяном⁹.

— Нельзя ли пробить Нарекаци¹⁰? — спрашивает Тарковский. — Издать бы его...

Топчян просит Тарковского перевести поэму Чаренца «Хмбапет Шаварш».

Во второй половине дня Тарковский с женой, Амо Сагиян и я поехали в Звартноц (храм VII века, недалеко от Эчмиадзина). Сохранился в руинах. Звартноц описан в одном из стихотворений Мандельштама («Не развалины, нет, но порубка могучего циркульного леса...»).

Тарковский ехал в Звартноц как на праздник. В дороге Сагян сказал, что Шелепина сняли. Тарковский возликовал, расцеловал всех нас.

— Теперь, значит, будет свободнее. Процесс над Синявским состоялся по настоянию Шелепина.

В Звартноце Тарковский все время говорил о Мандельштаме:

— Вот виноградины с голубиное яйцо.

— А вот и рулоны сукна...

— Ведь Мандельштам нигде не пишет, как это великолепно. Благородство позиции художника.

— Мандельштам сам видел и очень точно. Его поэзия — первоисточник.

— Предисловие к стихам и к очерку Мандельштама, конечно, напишу. Я готов полы мыть, камни таскать, если речь о Мандельштаме...

Я хотел издать в Ереване отдельной книгой стихи и прозу Мандельштама об Армении. Тарковского попросил написать предисловие. Он с радостью согласился. Он сообщил Надежде Мандельштам о наших намерениях. Она, как можно предположить, ему не ответила, она почему-то не хотела, чтобы предисловие писал Тарковский. 16 октября 1967 года Надежда Мандельштам писала мне, что книгу Мандельштама об Армении могла бы составить И. М. Семенко, а «статья (вступительная), разумеется, принадлежит тем из армянских литературоведов, которые в этом заинтересованы». Предполагаемое издание с предисловием Тарковского, к сожалению, так и не состоялось.

* * *

2 августа

В «Лит. газете» глубокая, выстрадавшая (должно быть, за многие годы) статья Тарковского «Язык поэзии и поэзия языка».

О слове:

«Что оно? Что за удивительное тельце, в котором так живо пульсирует сердце! Что это за фонарь, полный вибрирующего света?.. Слово не только звучит, а еще и светится, и обладает запахом и своей температурой».

О поэзии:

«Поэзия — как правда: подойди к правде с семи концов — увидишь правду с семи сторон»...

Много интересного в статье Тарковского, хочется всю ее переписать, запомнить.

* * *

20 сентября

Получил от Тарковского письмо, написанное 15 сентября в Друскининкае (Литва). Пишет, что заканчивает перевод поэмы Ованеса Туманяна «Лориец Сако». «Таня уверяет, что получилось хорошо. Мандельштама начну, как только окончу перевод. Работать тут очень трудно, потому что приходится лечиться, что отымает массу времени, — мы за этим и приехали сюда. Вот как обстоят дела.

Мы мечтаем об Армении, как о земле обетованной и о встрече с Вами и Амо. Я не знаю, как обстоят дела с моей книгой в «Совписе»¹¹, м. б., ее придется редактировать с администрацией, если они сдали ее в производство 15 сентября, как было намечено».

* * *

25 сентября

На юбилейные торжества, посвященные 70-летию Егише Чаренца, съехались в Ереван многочисленные гости. Прилетел Арсений Тарковский. Вечером в гостинице «Армения» Сурен Кочарян и Тарковский ругали критиков. Сурен Кочарян сказал, что за многие годы он запомнил из журнала «Крокодил» диалог:

— Почему ты стал критиком?

— Потому что с детства ненавижу литературу.

* * *

26 сентября

Симпозиум «Октябрьская революция и поэзия Егише Чаренца». Много говорят о Чаренце и Маяковском.

— Алексей Сурков сказал, что всех зарубежных поэтов подводят под Маяковского. Таких критиков в русской литературе много, — заметил Христо Радевский (Болгария).

Тарковский аплодирует Радевскому. Рассуждения о Чаренце и Маяковском его раздражают. Просидев часа два на симпозиуме, он сказал:

Подведем итоги,
Подавай Бог ноги.

Один из критиков, как бы подчеркивая плодотворность литературных влияний, заявил, будто все мы, критики, «рады писать под влиянием Чернышевского, Белинского и Добролюбова, но у нас не получается».

Тарковский:

— А я совсем не рад. Почему я должен писать под влиянием Маяковского? Я хочу писать под влиянием Тарковского.

* * *

28 сентября

Утром в фойе гостиницы «Армения» я читал газету и не заметил, как подошел Тарковский.

— Здравствуйте, Левон!

— Ба! Здравствуйте.

— Знаете, когда еще было сказано «Ба!»?.. Жена наловила мух и побросала их в стакан с водкой. Когда муж стал пить, она ему говорит, посмотри, что ты пьешь. Муж посмотрел и сказал:

— Ба! Это же муховка!

* * *

29 сентября

Тарковский ругает издателей, ругает директора издательства «Художественная литература» В. А. Косолапова.

— Знаете, я придумал смешную фразу: Косолапов упал и мордой ударился об стол. Почему директор Госиздата Косолапов?

И еще на ту же тему:

— Я был в Госиздате и сказал Косолапову: Если моя книга не нужна читателю, и вы ее не издаете, правильно поступаете. Но если она нужна читателю, и вы ее не издаете, через 50 лет, проходя мимо вашей могилы, будут плевать на нее. Знаете, через несколько дней мне позвонили и заключили со мной договор. Издатели любят, когда их ругают.

В стихотворении о Мандельштаме «Поэт» («Эту книгу мне когда-то / В коридоре Госиздата...») Тарковский писал еще и о себе:

Так и надо жить поэту.
Я и сам спую по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.

И в нем, Тарковском, «было нищее величье и задерганная честь». Он тоже, «как дар, в диком приступе жеманства принимал свой гонорар».

Здравствуй, праздник гонорарный,
Черно-белый каравай!

Я повторял про себя эти стихи, пока Тарковский в коридоре издательства «Айастан» ждал кассира, чтобы получить гонорар за переводы стихов Чаренца.

— Хочу иметь нетрудовые доходы, — смеясь и вскинув голову, сказал Тарковский. — Надо платить гонорар за стихи, не публикуя их. Установить определенный гонорар за написанное, а издавать то, что нужно читателю. Государство от этого бы выгадало. Не надо было бы издавать громадное количество слабых стихов...

Пришел поэт N. N. Он тоже ждет кассира. Подарил Тарковскому сборник своих стихов, вышедший в издательстве «Огонек»: «Арсению Тарковскому на добрую память об Армении».

— Почему об Армении? Можно подумать, что без этих стихов память об Армении у меня была бы недоброй. Почему память об Армении я должен связывать с его стихами? Я очень люблю Амо Сагияна. Хочу, чтобы он приехал к нам и жил у нас. Жена его замучила. Что это за женщина?!

* * *

17 октября

Получил письмо, написанное Тарковским 12 октября. Он, в частности, пишет: «Я живу, как в тумане, из-за многодневной головной боли и растерянности, которая овладевает

мною всегда с наступлением осени и первых холодов, я, видимо, полная противоположность Пушкину, который всю эту гадость (холод, слякоть) почему-то любил.

Я (действительно, дорогой Амо был прав) нашел у себя подстрочники его стихов, но нужны транскрипции (русскими буквами!) всех стихов, или хотя бы тех мест, где есть звуки, связанные с выразительностью.

Милый Левон, хотя бы Вы взяли за Амо и устроили какой-нибудь очередной скандал, чтобы ему стало легче жить на белом свете! Для меня Армения прежде всего — он с его поэзией и неумением устроиться так, чтобы жизнь не казалась наказанием за несовершенные грехи...

И Таня, и я вспоминаем Армению, этот рай, каменный сундук, набитый чудесами, с дырками для лучших на свете воздуха и воды. Если б люди могли устраивать свою судьбу ради своего счастья, я бы полгода в году жил у Вас и учился быть счастливым, что, впрочем, гораздо труднее, чем возиться в духоте и лужах с автомобильной и загаженной водой.

Вспоминаем Армению и суежусь, полные тревоги о будущем, потому что еще ничего не ясно, договор на собств. стихи у меня еще не подписан, работать мне трудно из-за того, что я плохо себя чувствую, в доме у нас шумно, запереться мне негде, и я вообще какой-то глумной и не в себе. Я слишком мало занимался стихами, всерьез предавался многому, что мешало им, а теперь спохватился, но, кажется, уже поздно. Из-за неумения жить на свете и денег не хватает, и рабочей комнаты у меня, собственно говоря, нет, и психологически — я вне своей сферы, а где — и сам понять не могу. Я сделал на свете гораздо меньше, чем должен был, и это грызёт меня, как обжора куриную ногу...

Но жить мне без Армении было бы намного хуже; я как вспоминаю сухой ее воздух, так и выпрямляю спину. Видно, мы еще и впрямь поживем»...

* * *

9 ноября

Письмо Тарковского. Без даты. Отправлено из Москвы 5 ноября. «Кажется, я решусь, — пишет Тарковский, — послать Вам и в журнал стихи О. М. (Осипа Мандельштама. — Л. М.) без разрешения наследников, считая, что наследники О. М. — весь мир, а не только родственники».

* * *

20 декабря

Москва. Засиделся у Тарковских до 4 утра. Тарковский читал свои переводы из Махтумкули. Стихи гениальные. Один из переводов прочел и прослезился...

Подарил мне книгу Махтумкули «Избранное» (М., 1960): «Моему милому, дорогому другу от одного из переводчиков с любовью». Подарил сборник еще двух туркменских поэтов Кемине и Молла-Непеса (Л., 1959): «Левону, моей армянской радости».

Кемине переведён Тарковским. Молла-Непес — Марией Петровых...

Я видел, как дороги Тарковскому его переводы. Он прочел почти все свои переводы из Махтумкули. Читал переводы из Кемине.

Тарковский как бы отвечал Вильгельму Левику, опубликовавшему в еженедельнике «Литературная Россия» от 15 декабря реплику «Рецензия Арсения Тарковского».

Речь о рецензии Тарковского на сборник переводов Пастернака («Лит. газета» от 22 ноября 1967 г.). Вильгельм Левик, выдающийся переводчик западноевропейских поэтов на русский язык, возражает Тарковскому, который в своей рецензии, в частности, пишет: «Трудно представить себе читателя, выискивающего в книге любимого автора прежде всего его переводы»; «Оригинальные стихи — праздник поэта, переводы — его работа»; «По условиям задачи переводчик дышит чужим воздухом»...

«Все мы в той или иной мере, — полемизирует Левик, — дышим чужим воздухом, никто не рождается без отца и матери, не созревает вне национальной и общечеловеческой культуры. В оригинальных стихах Тарковского при всех высоких качествах тоже веет воздухом Анненского, Мандельштама, Цветаевой, и даже Баратынского. Но талант переводчика — об этом мы уже говорили, и Тарковскому ли этого не знать — прежде всего талант языковой. Язык -- это воздух, которым он дышит. Так можно ли назвать воздух родного языка чужим?»

Тарковский не в первый раз удивляет-возмущает коллег-переводчиков. Стихотворение «Переводчик», опубликованное в первой его книге «Перед снегом» (1962), стало тогда предметом полемики.

Для чего я лучшие годы
Продаю за чужие слова?

Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова, —

писал Тарковский. Ему возражали Вера Звягинцева, Александр Гитович¹²...

Тарковский всегда говорил, что переводы — это работа, тяжелая и вынужденная. Но переводы свои любил. Они не были для него чужими словами. Чужое, если переведено, становится своим, кровным...

* * *

21 декабря

Об Анне Ахматовой;

— Ахматову я так любил, что когда она умерла, думал умру и сам.

Об Александре Фадееве:

— Фадеев меня очень любил. Он издал Махтумкули, он меня в Союз принял.

— Да, многие его хвалят, — сказал я.

Тарковский:

— Что вы! Это же был бандит, убийца, сволочь. Просто ко мне относился хорошо.

Тарковский может похвалить от души и обругать от души.

* * *

27 декабря

Весь вечер у Тарковских. Говорили о летающих тарелках. Тарковский:

— Это чудовищно интересно. Хоть бы при моей жизни что-то выяснилось...

О заголовке новой книги. Жена предложила одним словом назвать книгу «Панцирь».

Тарковский:

— По смыслу хорошо, но слово не звучное. Хорошо теперь пишут через «и», а то, представляете, книга называется «Панцырь».

Читал Тарковский стихи Мандельштама об Армении. Показал черновые варианты:

Колючая речь араратской долины...

Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей...

Дикая кошка армянская речь,
Мучит меня и царапает ухо...

Кто-то рассказал Тарковскому, что из Мексики привезли броши из живых жуков, украшенных камнями. Их прикалывают женщины на грудь, и жуки медленно двигаются. Живут они без пищи год. (В 1985 году я видел таких жуков в Мексике. На ночь кладут их в коробочки с кормом, продаваемым вместе с жуками).

Тарковский:

— Очень жестокие люди могут придумать такое. Знаете, однажды мы с сыном отдыхали в Подмосковье. Рабочие вырыли ямы, чтобы посадить деревья. Деревья не привезли, а ямы, очень глубокие, наполнились водой. Туда попадали лягушки. Мы с сыном Андрюшей ежедневно их оттуда вытаскивали.

* * *

31 декабря

Новый 1968 год встречаю с Тарковскими в ЦДЛ — Центральном доме литераторов.

Собрались в ЦДЛ в 11 вечера.

— Знаете, — улыбнулся Тарковский, — я придумал восточную мудрость: маленькому холмику и большой горе дано равное счастье находиться на своем собственном месте...

Тарковский познакомил меня с Виктором Шкловским¹³.

Шкловский:

— В Армении прежде всего — великая архитектура. Влияние армянской архитектуры на мировую несомненно. Я бывал в Армении...

Когда Тарковский знакомил меня со Шкловским, сказал:

— Левон, вы должны его обожать, преклоняться перед ним.

Шкловский:

— Вот если бы такое отношение ко мне лет сорок назад...

Тарковский:

— А знаете, есть у них поэт Амо Сагян, это гениальный поэт, но никто о нем не знает.

Шкловский:

— Не читал.

Тарковский:

— Нет переводов, я его буду переводить.

Шкловский:

— А вы всех надули. Были закрыты много лет. И вдруг раскрылись.

...Для встречающих Новый год — концерт в Большом зале ЦДЛ. Когда около трех часов ночи кто-то запел «Капли испарений катятся как слезы...», Тарковский написал: «Мой дорогой Левон, от всего сердца желаю вам покоя от идиотов. 1. 1. 1968».

* * *

8 января 1968 г.

Тарковский прислал по почте в Переделкино приглашающий билет на вечер в Большом зале ЦДЛ, посвященный его 60-летию. «Милый Левон, я по Вас очень скучаю и плохо живу на этом свете. Прилагаю билет на два человека и надеюсь хоть вдвоем с дамой, хоть в одиночку Вас увидеть. На билете все написано, что Вам следует знать о вечере, кроме того, что Вы на нем выступите, и что я Вас люблю».

* * *

11 января

ЦДЛ. Председательствовал на вечере Кайсын Кулиев¹⁴. Он подарил Тарковскому роскошную бурку. Вступительное слово произнес Ал. Михайлов¹⁵... Тарковского чествовали как большого русского поэта. Я рассказал собравшимся, как некая очень важная дама, жена очень важного официально признанного поэта, все допытывалась у жены Тарковского, на какую тему пишет Тарковский стихи.

— А на какую тему пишет Ваш муж? — спросила, в свою очередь, Татьяна Озерская.

— Мой? — удивилась дама. — Это же известно, на тему народа.

После такой затравки я прочел одно из самых удивительных стихотворений Тарковского «Верблюды»:

На длинных нерусских ногах
Стоит, улыбаясь некстати,

А шерсть у него на боках,
Как вата в столетнем халате.

Должно быть, молясь на восток,
Кочевники перемудрили,
В подшерсток втирали песок
И ржавой колючкой кормили.

Горбатую царскую плоть,
Престол нищеты и терпенья,
Нещедрый пустынный-господь
Слепил из отходов творенья.

И в ноздри вложили замок,
А в душу — печаль и величье,
И верно, с тех пор погремок
На шее болтается птичьей.

По Черным и Красным пескам,
По дикому зною бродяжил,
К чужим пристрастился тюкам,
Копейки под старость не нажил.

Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

— Вот вам, — завершил я свое слово, — и тема народа,
тема поэзии Арсения Александровича Тарковского.

* * *

27 апреля

Москва. Сказал Тарковскому, что в июне собираюсь в
санаторий в Арзни. Он стал импровизировать:

Не дразни меня, не дразни
Поезжай со мной в Арзни...

Ты не бойся со мной возни,
Поезжай со мной в Арзни...

Мучь меня, пытай и казни,
Поезжай со мной в Арзни...

* * *

Письмо Тарковского от 25 июня 1968 года: «Дорогой Левон! Поздравляю Вас с днем моего рождения. Благодарю Вас. Только что мы вернулись из Англии, где живут даже армяне, которым рады и англичане». И дальше о тенденциозно-высокомерной грубой рецензии на его переводы из Егише Чаренца, опубликованной в журнале «Литературная Армения» (1968, № 3). «Мне сдается, что это — самая удивительная статья о моих переводах за всю мою жизнь переводчика...»

Статья была дико несправедливой. Я писал об этом в рецензии «Чаренц на русском языке» (газ. «Коммунист» от 7 августа 1968 года), в журнале «Вопросы литературы» (1968, № 11, стр. 39), в моей книге «Армянская поэзия и русские поэты XIX-XX вв.» (Ереван, 1968, стр. 383-385). писал, хотя Тарковский советовал мне «не ввязываться в споры с людьми, спор с которыми бессмыслен, как толчение воды в ступе».

К сожалению, и самый сборник Чаренца, в котором были опубликованы переводы Тарковского (Е. Чаренц. Избранное, Ер., 1967), был издан весьма поспешно и весьма небрежно. В выходных данных указано, что 300-страничный сборник был сдан в набор 6 сентября и был подписан к печати 19 сентября. В результате выпали из переводов какие-то строчки, какие-то переводы вообще не оказались в сборнике. Например, одно из трех «Восьмистиший солнцу»:

Как бёдра женщины, рожденной
Сводить с ума, сжигать, гореть,
К своей стихии раскалённой
Притягивает солнца медь.

И кони дико ржут во власти
Огня, траву полей топча,
И стонут женщины от страсти,
И ловят смех его луча.

Выпали из сборника и некоторые другие переводы Тарковского.

* * *

11 августа приехали в Переделкино Тарковские. Говорили о будущей книге Амо Сагияна. Тарковский сказал, что предисловие к армянской книге Мандельштама пишет. Фотографировал Тарковского.

Позже, 24 ноября, уже в Ереване я принес Тарковскому переделкинские фотокарточки. На одной — Татьяна Озерская, Арсений Тарковский, поэт Самвел Григорян и моя жена Нелли Хачатурян. На обороте этих снимков Тарковский написал: «Дорогому Левону от нас» и «Дорогому Левону с любовью от меня и его милой жены Нелли».

* * *

19 августа

Ездил из Переделкина в Москву. Был у Тарковских. Фотографировал его. Он подписал договор на перевод книги Амо Сагияна.

— Сагиян очень крупный поэт. Я боюсь, вдруг у меня не получится, — сказал, подписывая договор, хотя уже в прошлом году в Дилижане блестяще были переведены им несколько стихотворений Сагияна.

Показывал мне тоненькие сборники стихов Мандельштама:

— А ведь осталось навсегда. У меня есть все книги Мандельштама на русском языке.

Говорил о своей книге.

— Я хочу назвать ее «Вестник». Мне очень нравится заглавие.

* * *

3 ноября

Ереван. Прилетел Тарковский с женой.

— Я буду работать, переводить Сагияна и буду писать для души предисловие к вашему Мандельштаму.

...Стоим на втором этаже гостиницы «Армения», ждем лифта. На втором этаже — ресторан. Над входом по-армянски написано РЕСТОРАН. Тарковский читает по буквам. Это, значит, армянское «р», это «е»... Доходит до шестой буквы, здесь должно быть еще одно «р», но эта буква не похожа на «р», что стоит в начале слова.

— Второе «р», — объясняю я, — это другое «р», мягкое «р».

— Как вы различаете в слове ресторан мягкое и твердое «р»? — удивляется Тарковский. — Знаете, я однажды спросил у маленькой девочки: «Мама дома?» Она меня поправила: «Не мама, а мама». Она уловила разницу в произношении, интонации.

* * *

5 ноября

В приемной директора издательства «Айастан» стояли Тарковский, Анатолий Найман¹⁶ и я. Пришел Наири Зарьян¹⁷ и, думая, что Найман это и есть Гребнев¹⁸, стал ругать гребневские переводы айренов Наапета Кучака¹⁹. Мне он сказал, что Гребнев мне друг, поэтому я его защищаю. «Друзей надо защищать, а не предавать», — вырвалось у меня. Это был удар ниже пояса. Наири Зарьяна обвиняли в том, что он предал Чаренца. Зарьян очень страдал.

Пока мы с Зарьяном ругались, Тарковский и Найман пробовали объяснить Зарьяну, что он ошибается. Но когда вечером они прочли стихи Зарьяна в его собственных переводах, поняли, что говорить с ним что-либо о переводах гиблое дело.

* * *

7 ноября

Гостиница «Армения». Амо Сагиян, Анатолий Найман и я — в номере Тарковского.

Найман:

— В Ленинграде иду с Иосифом Бродским. Встретили П. Карпа. Спрашиваю, как дела, чем занят?

— Перевожу Туманяна.

— Знаешь, я тоже перевожу Туманяна.

Бродский:

— Густой Туманян...

Как бы возражая Бродскому, Тарковский замечает, что Туманян — поэт высокой чистоты и ясности, потому-то так трудно его переводить.

— Я перевожу, — продолжает Тарковский, — очень точно, так как мне лень что-то придумывать. Гребнев переводит хорошо. Наири Зарьян чудовищно несправедлив к нему.

Тарковский с Найманом читают стихи Ахматовой и Мандельштама. У Тарковского — слезы:

— Мандельштам видел очень точно. Это поэт образа. Он и еще Пастернак никогда не ошибались.

Стихотворение Мандельштама «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» читает Тарковский по памяти все время. Это одно из самых любимых его стихотворений.

* * *

12 ноября

Гостиница «Армения». До часу ночи в номере у Тарковского. Сегодня они с женой вернулись из Зангезура. Ездили туда с Амо Сагианом.

Тарковский:

— Воротанское ущелье — это ни с чем не сравнимо. Только идиот может не верить в существование Бога, увидев эти горы. Знаете, нам рассказывал секретарь райкома, что у них в ущелье живут семь ящериц, что это семь красавиц, превращенных в ящериц. Представляете, какая это страна, если секретарь райкома рассказывает такое. Жители уверены, что у них в горах живет дракон.

Для нынешних армян
Как весть былых времен,
В ущелье Воротан
Жив каменный дракон...

* * *

14 ноября

Гостиница «Армения». Тарковский:

— Жизнь каждого человека имеет цену вселенной.

* * *

16 ноября

В гостинице «Армения» у Тарковского. Звоню по телефону. Тарковский слышит, как я говорю: «Да он же идиот, идиот с претензиями...», слышит и тут же импровизирует:

Я стал идиотом с претензией,
Хотя был от века таков.
Я прислан сюда по лицензии
Из вечной страны дураков.

* * *

18 ноября

В книжном пассаже на ул. Абовяна Татьяна Озерская по рисунку на обложке (нарисована обезьяна) узнала книгу Р. Уомсера «Пан Сатириус» на армянском языке.

Оказалось, что перевод осуществлён с русского перевода Озерской и обложка (художник Е. Бачурин) позаимствована с русского издания. Озерская подарила мне армянского Уомсера: «Дорогому Левону Мкртчяну от одной из безымянных соучастниц этой книги — на добрую память об ереванском нашем житье-бытье».

Тарковский сделал на книге надпись в стихах:

Прочитайте в Ереване
Сей роман об обезьяне
Из семейства обезьян.
Даже в ней в конечном счете
Несомненно вы найдете
В нраве маленький изъян.

Читал (взахлёб) свои переводы из Абу-ль-Аля аль-Маари.
Читал и подстрочные переводы.

— Все никак не могу перевести. Это гениальный поэт.

* * *

21 ноября

В университете встреча с Тарковским и Найманом. Тарковский хорошо читал свои стихи. Был доволен. На вопрос: «Кто Вам ближе. Туманян или Чаренц?» ответил:

— Это великие поэты, но мне ближе всего Амо Сагиян.

Когда один из студентов спросил, правда ли, что сейчас созданы такие машины, которые пишут стихи, Тарковский сказал:

— Мы живем в последнее время, когда еще можно жить!

Тарковский читал нам с Сагияном неопубликованное стихотворение Ахматовой:

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной недели.
Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не в силах мне помочь?

В Кремле не можно жить. Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы —
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И самозванца спесь взамен народных прав.

Я попросил, чтобы Тарковский прочел это стихотворение студентам. Прочел, а после встречи со студентами сказал, что не хотел читать, так как у меня, преподавателя университета, могут быть неприятности...

Пока Найман читал свои стихи и переводы, Тарковский, меня фиолетовую ручку на красную, рисовал меня. Чтобы не было никаких сомнений, что на листочке из тетради в клеточку нарисован я, он написал под рисунком: Левон Мкртчян.

Читал Найман увлеченно, его хорошо слушали. Читал целых полчаса.

— Толя разошелся и в уме нас ругает, — написал на листочке Тарковский.

На днях я рассказал Тарковскому, как в Батуми хулиганы могли пристать к прохожему с вопросом; «Ты почему в уме меня ругаешь?» Теперь Тарковский то и дело улыбается: «Левон в уме нас ругает...», «Таня в уме нас ругает...»

Вечером в гостиничном номере Тарковских играли в цитаты. Кто-то начинает «Мой дядя самых честных правил...» Надо тут же вспомнить какую-нибудь строчку, начинающуюся на букву «л». Тарковскому надо было вспомнить строку, которая бы начиналась с буквы «ю». Он тут же сочинил:

Юбочку короткую
Я всегда носила.
Я была кокоткою,
Выглядела мило.

* * *

25 ноября

День рождения Татьяны Алексеевны Озерской. Тарковский преподнес ей стихи:

Эта кошка на диване
Восседает в Ереване.
И сидит еще при ней
Также некто из зверей.
В Ереване кошкин пес
Задыхается от слез,
Потому что нет у Тани
Состраданья в Ереване.

Рядом со стихами нарисована Кошка в соседстве с Псом.

* * *

26 ноября

Ездили с Тарковским, Амо Сагианом и жуликоватым юристом Шмавоном Миракяном встречать Ольгу Чайковскую, корреспондента «Известий».

Миракян пригласил всех нас в Эчмиадзин к своему родственнику на обед. В Эчмиадзине был еще и прозаик Арташес Калантарян. Была и красивая молодая женщина. Бывший ее муж через суд хочет отобрать у нее сына, мол, женщина она распутная и не может быть матерью. Миракян как ее друг и адвокат защищает интересы красавицы матери. Он хочет, чтобы Чайковская написала в «Известиях», как обижают честную женщину. Если напишет, дело будет тотчас же выиграно.

— Зачем судиться? — улыбается Сагиан. — Пусть она усыновит Левона...

За столом как тамада главенствует Калантарян. Тост о Сагиане начал издалека. В Гане, куда ездил Калантарян, в одном городе была тюрьма, в которой жил один человек — надзиратель, так как не было заключенных, не было в городе преступников. Надзиратель скучал и был очень рад, что пришли к нему туристы. Он показал им сундук и сказал, что в сундуке — святыня их народа, но показать, что в сундуке, он не может. Потому и не может, что это их святыня.

После столь мудрого вступления Калантарян сказал:

— Так и наш Амо Сагиан. Он — наша святыня в многовековом сундуке нашего языка. По переводам он мо-

жет показаться обыкновенным, даже средним поэтом. Надо ли — возникает вопрос — открывать сундук?

Тарковский:

— И вы хотите, чтобы я после этого переводил стихи Амо? Он ведь на самом деле поэт непереволимый.

Тарковский рассказал забавную историю. Однажды его среднеазиатские друзья выпили за его здоровье, а потом, уже сильно поддавшие, стали пить за здоровье его брата Пеньковского, известного переводчика. Тарковский говорит, что Пеньковский ему не брат. А они удивляются:

— Тогда почему же у вас такие одинаковые фамилии: Тарковский — Пеньковский?

Прогуливаясь по саду доброго эчмиадзинского родственника Миракяна, я сказал: «Я так хочу владеть каким-нибудь именем».

Я так хочу иметь хорошую жену,
Чтобы себя кормить каким-нибудь вареньем,
Всегда есть досыта шашлык и ветчину. —

мгновенно продолжил Тарковский.

* * *

27 ноября

Тарковский переписал для меня набело только что законченное стихотворение «Эребуни». Три-четыре дня тому назад Миракян пригласил Тарковских посмотреть в Ереване остатки древней урартской крепости Эребуни (7-8 век до н. э.). Тарковский рад, что написал стихотворение. Ведь пишет он не часто и не много. Стихотворение ему очень нравится. Меня смутила первая строфа:

Они хотели всем народом
Распад могильный обмануть
И араратским кислородом
Продуть холма сухую грудь.

Я не мог понять, почему обмануть? И почему непременно всем народом?

* * *

29 ноября

Тарковские, Найман и я были в мастерской художника Геворка Григоряна. Тарковский сказал, что шел с неохотой, так как репродукции григоряновских работ ему не понравились. Но теперь он видит, что это гениальный художник.

* * *

2 декабря

Неприятный разговор из-за стихотворения «Эребуни». Я предложил в первой строфе *обмануть* заменить словом *отпугнуть*. Меня поддержал Найман. А Сагян сказал, что стихотворение ложное и что в ноябре, тем более в «последних числах ноября» нет в Ереване ласточек... Тарковский был оскорблен.

* * *

6 декабря

Шмавон Миракян настоял, чтобы Амо Сагян и я встретились с Тарковским в Эчмиадзине, в доме его гостеприимного родственника. Встретились и разругались окончательно. Тарковский кричал, что он требует уважения к себе. Он был взбешён.

А виноват был я. Говорят, лучше принять обиду, чем нанести ее. Но к этой мысли, как правило, приходят уже после нанесённых обид...

* * *

9 декабря

Председатель Госкомиздата Армении А. Утмазян и я поехали в Тбилиси на Первую выставку-конкурс книги трех Закавказских республик. Я — член жюри от Армении. Вечером в гостинице «Иверия» столкнулся лицом к лицу с Тарковскими. Обиженные в Ереване, они перебрались в Тбилиси. Господи, промелькнуло у меня, не подумают ли они, что я приехал специально, что я их преследую?

ПОСТСКРИПТУМ

Арсений Александрович Тарковский был человеком повышенно эмоциональным. Чувства у таких людей и в дружбе, и в ссоре бьют через край. Карамазовский безудерж в той или иной мере свойствен всем русским людям. Ругал меня Тарковский крепко и, очевидно, долго. Сказано ведь: долго длятся обиды и долг рассказ о них.

Прошли годы — целых тринадцать лет — и снова мы встретились в Ереване в октябре 1982 года. Тарковский с женой был приглашен Союзом писателей Армении на Праздник переводчика. Начинался праздник 31 октября, 28-го позвонил мне секретарь Союза писателей Арик Григорян. Сказал, что предусмотрена индивидуальной программой гостей встреча Тарковского со студентами факультета русской филологии университета. Состоялась встреча 29 октября. Тарковский пришел на факультет, несмотря на то, что я, человек так сильно его обидевший, был деканом факультета. Может быть, потому и пришел, чтобы сказать, что не держит в сердце зла.

Я как декан вел встречу. Произнес вступительное слово. Наша размолвка, конечно же, никак не сказалась на моем отношении к поэзии Тарковского. Выступил со словом о Тарковском Арик Григорян.

Тарковский читал свои стихи по избранному однотомнику. Извинился, что не все помнит. Мне было интересно, какие стихи он отбирает для чтения. Я записал заголовки прочитанных стихов: «Сверчок», «Степь», «Стань самим собой»... Было прочитано около 50 стихотворений.

— «Олимпийская скрипка». Знаете, когда-то на плафоне Большого театра Аполлон играл на скрипке. Это, может, оттуда.

— «Стихи из детской тетради». Эти стихи 21 года, мне тогда казалось, что надо писать на древнегреческие темы.

— «Посредине мира». Это из опытов Гете.

— «Пауль Клее». Знаете, был такой художник. Я его очень любил. На него немножко похожи рисунки Аревшата Авакяна...

Жена Тарковского Татьяна Озерская предложила ему прочесть «Эребуни».

— Нет, не буду!

Прочел «Комитаса»:

Ничего душа не хочет,
И, не открывая глаз,

В небо смотрит и бормочет
Как безумный Комитас.

Медленно плывут светила
По спирали в вышине,
Будто их заговорила
Сила, спящая во мне.

Вся в крови моя рубаха,
Потому что и меня
Обдувает ветром страха
Стародавняя резня.

И опять Айя-Софии
Камень ходит предо мной
И земля ступни босые
Обжигает мне золой...

Читал переводы из Саят-Новы, Чаренца, Сагияна. Он даже несколько утомил аудиторию чтением такого количества стихов. Но сам того не замечал и мог читать еще и еще. Читал, что называется, запбем.

Отвечал на вопросы студентов. Ответы были краткими.

— Ваше мнение о молодой русской поэзии.

— Я считаю, что русская поэзия никогда не умирала и не умрет.

— Назовите лучшего поэта XX века.

— Я считаю, что Ахматова — лучший поэт века. Может, это не так? Когда я видел Ахматову, у меня что-то внутри чесалось от радости.

— Кто вам из армянских поэтов нравится?

— Мне очень нравится Амо Сагиян. Я очень высоко его ставлю.

— Что в Армении вам близко?

— Все, начиная от самой земли, музыка, живопись...

Вечером после встречи со студентами обедали в ресторане гостиницы «Двин».

Утром 31 октября я вылетел в Москву, а оттуда в Индию. В мероприятиях Праздника переводчика, к сожалению, не участвовал и с Тарковским больше не встречался. Университетская газета «Еревани амалсаран» от 11 декабря опубликовала о встрече студентов с Тарковским статью Тиграна Хзмаляна «Мастер», статью и снимок, запечатлевший А. Тарковского и Л. Мкртчяна...

«РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ...»

(Три встречи с Арсением Тарковским)

Не три свечи горели, а три встречи...

Осип Мандельштам

Знакомство мое с Арсением Тарковским не было длительным; но и не было случайным. Необычный облик поэта, который нес в себе нечто от непреклонной средневековой суровости, от пушкинского «рыцаря бедного», и его скупые, но веские суждения врезались в память.

Вижу, как сейчас, знакомый многим подмосковный посёлок Голицыно: ладные дома, безбрежное небо, видное отовсюду, просторные, геометрически прямые аллеи с мощными раскидистыми березами и огненно-рыжими соснами. Они образуют здесь улицы, которые именуются «проспектами». По одной из живописных аллей — дача Тарковского, где мне и довелось встретиться с поэтом. В ранней молодости имя Тарковского мне встречалось лишь изредка. Как самобытного и значительного поэта довелось узнать его в январе 1961 года, когда рукописную тетрадь его стихов показала мне Анна Ахматова на квартире у Ардовых. Ахматова отзывалась о стихах Тарковского с величайшей похвалой. Я не стал сразу таким же безусловным приверженцем поэзии Тарковского (некоторые стихи его, и прежде всего знаменитый «Переводчик», отпугнули меня, в мои тогдашние двадцать шесть лет, своей сугубой мрачностью). И все же впечатление было чрезвычайно сильным и ярким. Год спустя его подкрепила первая книга стихов Арсения Тарковского «Перед снегом». О ней я написал большую сочувственную рецензию, которую тогда, однако, не удалось напечатать.

Читая Тарковского, я обратил внимание на гетевский эпитаф к одному из стихотворений: «Werde der du bist»¹. Может быть, Тарковский переводит Гете? Эта мысль очень занимала меня: вскоре (в 1965 году) мне поручили работу над большой антологией немецкой поэзии в русских переводах. Мне очень хотелось видеть Тарковского среди авторов этой книги, где печатались переводы Жуковского, Тютчева, Лермонтова, Блока. Тогда я впервые позвонил ему по телефону.

— Нет ли у вас переводов Гете или других немецких поэтов?

— Нет, вы знаете, я перевожу в основном восточную поэзию. Немцев у меня нет.

Я сказал, что мне нравятся его стихи, и сразу получил приглашение. Но деловая часть разговора была исчерпана, а приходиться «без дела» я как-то не решился. Мне казалось более уместным следить за поэтом издали, чем отрывать его от работы. Но я усердно собирал выходявшие теперь уже регулярно книги Тарковского и не оставлял мысли написать о нем статью (что и сделал). Тем временем слава Тарковского крепла и ширилась, его вечера проходили с огромным успехом. Многие стали все чаще называть имя Тарковского среди первых из числа живущих поэтов. В 1982 году мне довелось побывать на его юбилейном вечере в Доме литераторов; переполненный зал был свидетелем самого большого (и, кажется, последнего) прижизненного триумфа Арсения Тарковского.

И вот наконец — Голицыно и дом за зеленым забором. В первый раз мы навестили Тарковских вместе с критиком Г. Д. Колесниковой, давно знавшей Тарковского; потом я приходил уже один.

Арсений Александрович был рыцарски любезен с дамой и с гостем, но вскоре, извинившись, уселся перед телевизором. Время от времени он улыбался нам и грустно вздыхал: «Танечка, где же Танечка?»

Но вот пришла Танечка, и все заиграло. Она принесла ужин, стала хлопотать за столом и время от времени спрашивала озабоченно: «Арсюша, почему ты так мало кушаешь?»

Отличные переводы Татьяны Алексеевны Озерской из английских и американских писателей давно ценились в литературной среде. Ее особая, «екатерининская» красота, которой почти не коснулся возраст, запомнилась еще на вечере Тарковского, где она была очень хороша в ожерелье из крупных темных янтарей.

Нетрудно было заметить, что в этой семье каждый вел свою музыкальную партию. Арсению Тарковскому, как мне показалось, были свойственны перепады настроения. То он буквально завораживал вас своей неотразимой приветливостью, добротой, вниманием и лаской, то как бы замыкался в панцире ледяной сдержанности и немногословия.

Быт, насколько я заметил, мало занимал Тарковских. На всем лежала заметная печать запущенности; однако чай нам подавали в красивых фарфоровых чашках, а варенье — в изящных блюдецках. Хозяйство помогала вести Саша, жен-

щина из смоленских крестьянок, очень уважавшая Тарковских и, по-моему, верующая. Обеды и ужины Татьяна Алексеевна приносила из голицынского Дома творчества. Как-то вечером я задержался дольше обычного, зажгли лампу под потолком, она горела тускло. Татьяна Алексеевна попросила меня купить новую лампу. Плохо работала и пишущая машинка. Арсению Александровичу нужно было написать письмо в Армению (по-моему, там предполагалось издание его «смешанной» книги — стихов и переводов, наподобие вышедших в Тбилиси «Волшебных гор»; впоследствии это издание вышло в свет, но чрезвычайно задержалось²). Пишущая машинка капризничала, и Тарковский раздражался. За машинку села Татьяна Алексеевна, но упрямая машинка решительно не хотела поддаваться ни на какие уговоры. По просьбе Тарковских я притащил довольно тяжелую машинку из Дома писателей.

В доме Тарковских на деревянных полочках аккуратно разместились книги (по-моему, их было немного). Особенно выделялись поставленные рядками серые, скромные томики малой серии еще довоенной «Библиотеки поэта». Почему-то запомнились книги «малых поэтов»: Козлова, Шевырева. Еще Тынянов писал, что история литературы — это не история генералов. Есть в литературе свое место у любого настоящего мастера, великого или малого, — и у Ивана Козлова, и у Степана Шевырева, и у еще менее известных авторов. Важно только почувствовать себя частью живой истории. Об этом хорошо сказал Борис Слуцкий, обращаясь к современному поэту:

Ты -- звено в этой старой цепи,
И ее натяженье
Выноси и терпи,
Словно прочие звенья.

Главное — именно завоевать законное место в «старой цепи»; и не столь важно, насколько оно будет приметным. На этих полочках особенно ясно представлялся томик Тарковского, «звезды разбросанной плеяды», в одном ряду с томиком Баратынского или Дельвига.

Стихи Тарковского давно волновали меня, и в наших беседах первоначальная сдержанность поэта понемногу таяла. Он становился как-то проще, откровеннее и обаятельнее. О себе, о своей жизни он почти ничего не рассказывал (а я, естественно, не спрашивал). Я избегал также малейших упоминаний об Андрее Тарковском (он в это время работал за границей и, кажется, уже был болен). Кстати, и Саша предупредила меня, что об этом говорить не следует.

Лишь впоследствии, когда я работал над статьей об Арсении Тарковском для одного журнала, выяснились некоторые существенные подробности, бросающие неожиданный свет на его молодость. Они мало известны, поэтому я приведу их здесь, оговорившись, что, поскольку биография Тарковского изучена мало, эти сведения еще нуждаются в уточнениях, но могут быть полезны как нить для будущих поисков. Я узнал о внезапном юношеском увлечении Тарковского Федором Сологубом и о паломничестве к нему. Сологуб был суров к первым опытам Тарковского, но подал ему какую-то надежду на будущее. Узнал я и о том, что Тарковский был близок с забытым ныне поэтом А. Д. Скалдиным³, пережившим свое время участником символистского движения, одним из «послушников» Вячеслава Иванова, позднее, кажется, поддерживавшим связи с кружком обэриутов. Арсений Тарковский интересовался и творчеством Ходасевича, встречался с его родными, оставшимися в России. Помнится, у Тарковского хранились какие-то неизданные тексты Ходасевича (не знаю, стихи или проза). Наконец, другом студенческих лет Тарковского был поэт и религиозный мыслитель Даниил Андреев (которого поэт и критик Алексей Парин назвал «русским Сведенборгом⁴»), автор философского трактата «Роза мира». Все это подтверждало мысль, уже ранее высказанную проникательными критиками, что поэтическая философия Тарковского впитала многое из наследия русского символизма. Но к Блоку Тарковский не испытывал особой любви.

В биографические подробности, повторяю, мы не вдавались, но о поэзии говорили постоянно. По моей просьбе Арсений Александрович за чайным столом прочел свои стихи (немного, всего три или четыре стихотворения). Голос у него был низкий, красивого тембра, каждая строка звучала значительно и предельно четко. Особенно запомнилось в его чтении стихотворение «Суббота, 21 июня». Непререкаемые, четкие двустипшия, его трагические афоризмы сами врезались в память.

Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.

Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны.

Мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».

.....

Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.

Казалось, это и был «двойною рифмой оперенный стих» (если вспомнить крылатую строку одного из любимых поэтов Тарковского — Осипа Мандельштама).

Когда Тарковский читал или слушал стихи, присущая ему внутренняя собранность заметно возрастала. В его художественном, скульптурно четком лице проступало что-то орлиное. Думаю, что жизнь в поэзии, вне быта, была его подлинным состоянием.

Как-то раз я его застал в кресле с небольшой книжечкой в руках (кажется, синего цвета). Он протянул мне этот томик. Книжка оказалась самодельной: отлично переплетенные корректуры его так и не вышедшего в 1946 году сборника стихов. На обороте последней страницы я углядел набранную петитом строчку: «Редактор П. Антокольский». Корректурa недолго была в моих руках (интересно было бы сейчас ознакомиться с ней основательно!). Я увидел уже знакомые стихи: «Суббота, 21 июня», «Вы нашей земли не считаете раем...» и некоторые другие. Были и неизвестные мне тексты.

— Это было в год ждановского постановления, — просто и строго говорит Арсений Александрович. — Как у нас водится, издательство очень испугалось, и мне ясно дали это понять.

Он не любил настаивать, был слишком независим, чтобы кого-то о чем-то просить. Шестнадцать лет так и пролежала в ящике письменного стола эта несчастливая книга. Ее пробудила к жизни только недолгая хрущевская «оттепель». Но и тогда эти неподслащенные, суровые стихи с трудом пробивались к свету.

— Ваши стихи любила Анна Ахматова, — говорю я. — Я сам это слышал от нее.

— Это верно, — кивает Тарковский.

Упоминаю о том, как я безуспешно носил по журналам рецензию на первую книгу поэта «Перед снегом». Тарковские явно оживляются.

— Принесите, дайте посмотреть, — говорит с улыбкой Татьяна Алексеевна.

— Сейчас уже концов не найти. (Мне не хочется показывать такое давнее сочинение.)

Тарковский с уважением называет имена любимых поэтов: Ахматовой, Заболоцкого, Марии Петровых. Ни восторженных эпитетов, ни долгих рассуждений я от него не слышал. Он говорит серьезно и без малейшей патетики. Но

чувствуется по тону разговора, как дороги ему эти поэты, как близко к сердцу он принимал все их невзгоды и успехи.

— Недавно вышла книжка Марии Петровых с моим предисловием. У меня ее еще нет. — Сюда, в его голицынскую келью, видимо, многое доходило с опозданием. — Если можно, достаньте мне ее.

— Арсений Александрович никогда никому не льстил, — говорит Татьяна Алексеевна. — Как-то в Грузии мы в компании грузинских писателей оказались за одним столом с Твардовским. И он начал рассказывать про свой журнал и о том, скольких людей он поддержал, но говорил, по-моему, чересчур красноречиво. Арсений Александрович слегка охладил его всего одной фразой: «Да, особенно вы поддержали Заболоцкого».

— Это верно, — говорит Тарковский. — Как-то мы встретили Заболоцкого на Садовом кольце. Он начал говорить и заплакал. Твардовский посмеялся над ним в редакции журнала.

— Я что-то читал об этом. Кажется, Заболоцкий принес в журнал стихотворение «Лебедь в зоопарке»? И Твардовскому не понравилась строка: «Животное, полное грёз»?

— Да, да, — кивает Арсений Александрович. — Именно так: «Животное, полное грёз».

Вероятно, Твардовский и сам потом сожалел об этом эпизоде. Только впоследствии я понял, почему судьба Заболоцкого так много значила для Арсения Тарковского. Оба долгие годы были насильственно ограничены в своей деятельности, «загнаны в перевод», как в гетто. Им приходилось подавлять стихийную силу своего творчества. Кому и чему в угоду? И кто в ответе за это? Встречаясь с Заболоцким не один год, Тарковский не мог не думать о тех нечеловеческих муках, которые принял его друг, попавший в «ежовые рукавицы». Оба поэта в самых потаённых своих стихах оставили свидетельства об этом страшном времени:

Где-то в поле, возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за рёзвальнями вслед.

Вот они и шли в своих бушлатах —
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека.

Заболоцкий.

Смерть на все накладывает лапу.
 Страшно мне на Чистополь взглянуть.
 Арестантов гонят по этапу,
 Жгучим снегом заметает путь.

Тарковский.

Не мне судить о том, можно ли назвать дружбой отношения двух таких сдержанных людей, как эти два поэта, но об их прочной взаимной симпатии и уважении друг к другу мне довелось позднее слышать от Никиты Заболоцкого, подтверждается это и лаконичными свидетельствами в письмах его отца.

Я хорошо помню какие-то бедняцкие, почти нищенские похороны Заболоцкого; в Доме литераторов собралось едва ли тридцать или сорок человек. Все речи, сказанные тогда (кроме краткого, скорбного слова ленинградского поэта Вадима Шефнера), были пустыми и казёнными и как бы не имели к Заболоцкому никакого отношения. Они вполне могли быть сказаны по любому другому поводу. Лишь из лапидарных, предельно немногословных строк Арсения Тарковского, посвященных этой кончине («Могила поэта»), мы узнали о постигшей нас в этот день тяжкой, невосполнимой утрате.

...И в сумерках, нависших, как в предгрозе,
 Без всякого бессмертья, в грубой прозе
 И наготе стояла смерть одна.

Поминали мы с Тарковскими и Цветаеву.

— А вы знаете, — сказала Татьяна Алексеевна, — что здесь, в Голицыне, жила Цветаева? Арсений Александрович дружил с ней до войны. Недавно напечатаны стихи Цветаевой, написанные в пору их дружбы.

Позднее я прочел эти удивительные стихи.

Все повторяю первый стих
 И все переправляю слово:
 — «Я стол накрыл на шестерых».
 Ты одного забыл — седьмого.

Невесело вам вшестером.
 На лицах — дождевые струи...
 Как мог ты за таким столом
 Седьмого позабыть — седьмую...

Это — поэтический ответ Цветаевой на стихи Тарковского, которые начинаются строкой: «Стол накрыт на шесте-

рых...» (Я привожу здесь только начало стихотворения Цветаевой.)

Вспоминая теперь эти беседы, невольно вспоминаешь и полузапущенный старый сад вокруг дачи Тарковских, и круглый зеленый стол в саду под деревом. На скамейке возле этого стола любил отдыхать поэт, здесь ему дышалось легче и не так удручали заботы.

Мне кажется, Арсений Тарковский очень остро чувствовал природу и больше, чем многие другие, нуждался в ее освежающей силе. И нельзя не пожалеть, что в его стихах о природе сказано куда меньше и, вероятно, далеко не все, что он мог бы сказать.

Как-то во время одной из наших бесед стал накрапывать дождь. Тарковский заспешил к крыльцу с потемневшими от времени ступеньками. Его движения были молоды, энергичны, он лишь слегка хромал (после тяжелого фронтového ранения). В этом человеке, давно разменявшем восьмой десяток, было еще много душевной и физической бодрости.

И все же трудная, жестокая жизнь наложила на поэта свой отпечаток. Вспоминаются чьи-то старые стихи:

Он не согнулся от трудов,
Но так упорно шел,
Что стал, как истина, суров...

О необычных чертах его характера с юмором рассказывала Татьяна Алексеевна: «Арсений Александрович — из породы «сов»: утренних часов не любит и допозднá работает ночью. Засыпает поздно. Помню, на заре наших отношений звоню я ему часа в три дня; он сонным голосом спрашивает: «Это вы? А который теперь час? Уже четвертый?»

Глубокая, скрытая горечь звучала в словах Тарковского, когда он вспоминал свой непомерно затянувшийся поэтический дебют. Однажды, когда речь зашла об этом, я очень серьезно сказал ему: «Надо ли вам, Арсений Александрович, так огорчаться из-за этого? Ведь у ваших стихов в запасе — вечность».

— Вы так думаете? — с явным недоверием спросил Тарковский и очень пристально посмотрел мне в глаза. Много было в этом испытующем взгляде, и я почувствовал всю меру безжалостной строгости к себе, без которой не было бы Тарковского. Меньше всего ему нужны были пустые комплименты.

Когда мы прощались, Тарковский вдруг подозвал меня к себе и с неожиданной быстротой поцеловал меня в щёку. Я не забуду этого.

В дарственной надписи на своей книге «Вестник» (этот экземпляр я нарочно привез из Москвы) поэт пожелал мне исполнения всех надежд. Он просил меня отправить в Москве то самое злосчастное письмо армянским издателям, а квитанцию оставить у себя. Я позвонил и сообщил, что просьба эта выполнена, — Тарковский сердечно поблагодарил меня. Больше нам встречаться не довелось.

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ «ОТДЕЛЬНЫЙ»

На городской квартире

Если правду сказать,
Я по крови — домашний сверчок.

А. Тарковский

Тарковские выезжали в город редко и не надолго. Как правило, возвращались в Переделкино в тот же день к ужину. Раза три или четыре Арсений Александрович приглашал меня отправиться вместе с ними в Москву, к моей радости и к явному неудовольствию Татьяны. Но это я потом поняла, насколько ей неприятно мое общество. Она уже часто разговаривала со мной недружелюбно, резко. Но ведь и с собственным мужем не церемонилась. Я это объясняла не только ее характером, но и переутомлением — трудилась, как я уже говорила, с утра до вечера. Да и в поездки по окрестным магазинчикам, которые так любил Тарковский и называл «прогулками», Татьяна брала меня без раздражительности. Иногда она прихватывала на «прогулки» и еще кого-нибудь из Дома творчества. Но речь о прогулках в Татьяниной «Волге» по подмосковным магазинам — в следующей главе.

А пока я мысленно нахожусь в московской квартире поэта, что на Садовом кольце, рядом с метро Маяковского. Я так удивляюсь огромной фонотеке, телескопу и книжным полкам, не купленным, не полированным, а сделанным из светлых досок, что совершенно не замечаю, какова кухня, ванная и обстановка в их двухкомнатной квартире, хотя мебельная тема тогда не волновать меня не могла. Приятно поражает и порядок — ничего общего с тем хаосом, царившим в переделкинском «пенале» Тарковского. Когда Тарковские стали жить в Доме творчества на первом этаже, хаоса я уже не замечала, то ли привыкла, то ли он исчез вместе с подозрительной трубой.

В то первое посещение городской квартиры Тарковских Татьяна собирается в «Гослит», возможно, уже переименованный в «Худлит», и мы остаемся вдвоем. Тарковский быстро понимает причину моей некоторой застылости:

— Не удивляйтесь, Инна, здесь у меня — все на месте, я очень люблю свой дом, свои книги и пластинки, ванную. Ненавижу дома творчества и дачу. Но Тане, особенно в Переделкине, лучше работается, и я не вправе с этим не считаться. И вот бросаю все свое родное. Ничего не попишешь.

— Арсений Александрович, да неужели? Вы так любите природу, птиц, белочек, собак наших приبلудных. Наконец, вы так много смеетесь.

— Инна, я только с вами такой смешливый, — галантничает он, но добавляет: я — не вы. Вы свою «лишнюю жизнь» нараспашку держите, а я свою наряжаю в смех. А так — тоска одна. Верно, в домотворческой библиотеке выбрать кое-что из книг можно. А вот пластинки... Больше всего на свете я нуждаюсь в музыке. Давайте Баха поставим, а я чайку заварю. Вы кофе уже пили утром, да и нет его у нас.

Арсений Александрович, как только мы приехали в город, снял протез, дома, видно, имелись запасные костыли. Он и в Переделкине часто на костылях ходил, жаловался, что протез натирает ногу. Остаток ноги культей никогда не называл. На костылях, было заметно, ему и легче и ловчей. Вероятно, и это — одна из причин, которую не назвал Арсений Александрович, говоря о своей ненависти к домам творчества. Но нет, в Голицыне он же мог пользоваться костылями — отдельная дача.

Арсений Александрович быстро подходит к шкафу-фонотеке, почти не глядя вытаскивает из узкой ячейки пластинку, откидывает крышку отличного проигрывателя, стереофонического. И забывает про чай.

— Прелюдия и fuga фа минор, — вдруг вырвалось у меня откуда-то из подкорки.

Тарковский приподнимает свои высокие брови:

— Инна, протяните мне свою ножку.

Я протягиваю ногу, он наклоняется и целует. Я не удивляюсь, словно руку для поцелуя подала. И уже раскрываю рот, чтобы сказать, что многие мои родственники музыкантами были, младший брат — композитор и пианист, но что уже век Консерваторию не посещала. В конце шестидесятых Рихтера слушала — 4-ю и 36-ю сонаты Бетховена, — как он играл, словно не на клавишном, а на струнном инструменте, без малейшей доли паузы меж... Да так и застыла с полуоткрытым ртом. Такого лица у Тарковского я никогда не видела. Оно было ни серьезным и ни улыбочивым, ни капризным и ни участливым, ни старым и ни молодым. Даже подвижным не было, а — блаженно-счастливым, кра-

сивым до невероятности — сама истина в ничем не замутнённом виде. Игла останавливается. Я думаю, что Тарковский еще какое-то время так и будет сидеть, блаженно-отрешённый. Но нет, лицо его обретает обычную, быстро-изменчивую подвижность, и он вдруг говорит:

— Нет у Анны Андреевны музыкального слуха. Она прикидывалась любящей музыку. Вот и в стихах ее, особенно в «Поэме»¹, и Шопен, и чакона Баха, и даже Шостакович. Верно, считала, что поэту полагается любить музыку, в гостях всегда просила что-нибудь поставить из классической. И у Пушкина не было музыкального слуха, но он и не притворялся меломаном, однако «Моцарта и Сальери» написал, да еще как! Сальери — музыкант отменный, но Пушкин вне зависимости от сомнительного факта дал нам два наилучших типа в искусстве.

Об Ахматовой Тарковский вспоминал беспрестанно, и по поводу, и без. То одно расскажет, то другое. Но не буду приводить его «истории» не только потому, что в 72-м, кажется, году я прочла в рукописи 1-й том Лидии Чуковской об Ахматовой, и это перекрывало все «бродячие сюжеты», связанные с Ахматовой, но и потому, что Тарковский имел обыкновение присваивать себе чужие рассказы.

Как-то в Переделкине он взялся пересказывать то, что я давным-давно знала от Липкина:

— Однажды, когда я поднимался к Мандельштаму, услышал его крик вслед спускающемуся по лестнице какому-то посетителю: «А Будду печатали? А Христа печатали?»

Я возмутилась:

— Ведь это было при Семе, а не при вас!

Лицо Тарковского сделалось обиженным, как у ребенка, поверившего в свою ложь и разоблаченного:

— Опять вы заладили: Сема да Сема, — и сделал такое движение рукой, будто сворачивал не разговор, а водопроводный кран. Когда лжет взрослый, то обыкновенно запоминает свою ложь. Тарковский же дней за десять до этого своего невинного плагиата мне же и рассказывал правду:

— Мандельштама я видел всего однажды, в полуподвальной квартире у Рюрика Ивнева. Мы пришли вместе с Кадиком Штейнбергом. Помню, там был и Николай Берендгоф². Я боготворил Осипа Эмильевича, но и стыдись, все-таки отважился прочесть свои стихи. Как же он меня раздракнил, вообразил, что я ему подражаю.

(В своей работе о Мандельштаме «Угль, пылающий огнем» Липкин упоминает одного поэта, которому Мандельштам сказал: «Разделим землю пополам, здесь живете вы, а

здесь — я». Этим поэтом и был Арсений Тарковский. Но Липкин не хотел «бросать тень на Тарковского».)

— Почему только однажды? Вы же Мандельштама и в Госиздате видели, никто лучше вас о нем не написал:

Эту книжку мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт.

Тарковский мою декламацию пресёк:

— Инна, прекратите. Жизнь и стихи далеко не одно и то же. Пора бы вам это усвоить в пользу вашему же сочинительству.

Татьяна возвратилась из «Гослита», или уже из «Худлита», очень скоро. И дело, видно, оказалось недолгим, и автомобильных пробок, даже в центре Москвы, кажется, еще не было. Тарковский виновато засуетился:

— Сейчас, сейчас, поставлю чайник и хлеб для бутербродов нарежу. Баха слушали и немного — Шуберта (что правда), Инна попросила Шуберта (а вот это уже неправда, я и Баха не просила).

В большой комнате меня потрясает еще одно: Арсений Александрович собственноручно, оказывается, сделал книжные полки и приладил их к стене, а занимали полки с книгами всю стену слева. Как же он влезал на стремянку? То, что он все умеет руками, чинить электроприборы, серьги, даже к каблучкам босоножек набойки прибивать, я уже знала — звала его народным умельцем. Часто так и обращалась к нему:

— Народный умелец, а не пойти ли нам погулять?

Тарковский радовался «народному умельцу», словно не перо, а именно руки — были главным его призванием.

Все же плохо, очень плохо я понимала Тарковского. Почти все, связанное с ним, приносило мне веселье, в том числе и споры, и перебранки, и я — эгоистично не хотела углубляться. Видимо, из-за этого я в ту пору и в его поэзию по-настоящему не углубилась. Помню, сделала глупое замечание, когда он мне прочитал «Отнятая у меня, ночами...»:

Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный Богом.

Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлёстывает туго.

Я не знаю, где твоя держава,
И не знаю, как сложить заклятье,
Чтобы снова потерять мне право
На твое дыханье, руки, платье.

— Арсений Александрович, в последнюю строку «На твое дыханье, руки, платье...» вы ввели три существительных для параллели с «Ангел, олененок, соколенок»? У вас всегда звук — чистейший, а «руки, платье» — сдвиг, и сливается в одно «рукиплатье». Я так понимаю: дыхание — душа, платье — тело. Так не лучше ли обойтись без рук? Чище звучит: «на твое дыхание и платье».

— Инна, вы отпетая символика. Да и левовка. Это Осип Брик и Асеев придумали теорию в кавычках «сдвиг». «Руки» мне необходимы. Верно, звуковой сдвиг есть, если не делать интонационной паузы. А Лермонтов в «Что в имени тебе моем»¹, думаете, не услышал «вымени»? Или, думаете, я не слышу: рукоплатье, если строку читать сплошняком? Но без «рук» — нет, не вижу смысла в этом стихе.

Походя отмечу формальную особенность этого стихотворения. В первой и третьей строках — анженбаманы, т.е. синтаксические переносы, что не характерно для русской поэзии Золотого века да и для самого начала Серебряного, например, для Анненского. Анженбаманы Тарковского не столь резки, как у Андрея Белого и Цветаевой, против чего и восставал Арсений Александрович в наших беседах об их поэтике. Вся поэтика Тарковского зиждется на осторожном, но и смелом развитии традиционных форм. Новизна его как поэта, на мой взгляд, несомненна. Правда, эта новизна не так разительна, как у Бродского, верного традиции, но пришедшего в русскую стихотворную словесность с неслышанной доселе поэтикой, с невиданной дотоле гармонией.

Гораздо позже я поняла, какую роль играют в поэзии Тарковского «руки». В предыдущей главе я приводила восемь строк из стихов, посвященных Цветаевой, где «рабочие руки Марины», но и о своих руках Тарковский пишет:

¹ Стих Лермонтова откликнулся в стихе Арсения Тарковского трагическим эхом: «Что мне в моем погибшем имени?»

Взглянул я на руки свои
Внимательно, как на чужие:
Какие они корневые —
Из крепкой рабочей семьи.

Безусловно, «из крепкой рабочей семьи» не есть намёк перепуганного интеллигента на свое пролетарское происхождение. Этим грешили многие, но не Тарковский. Напротив, он не однажды хвастал, что потомок кумыкского князя, чьей столицей был аул Тарки (до сих пор уверена, что — мифотворчествовал), в ответ я смеялась:

— А я из дворовых девок Фонвизина.

— С чего это вы взяли? — спросил Арсений Александрович, когда я впервые так отшутилась от его княжества.

— А с того, что Екатерина II даровала Фонвизину деревню Лиснянку.

— Лисню, — поправил меня Тарковский, но я упорствовала на «Лиснянке», хотя и сегодня не знаю, кто из нас прав, поленилась проверить.

— Тогда откуда у вас такие аристократические руки, да к тому же руки-дебилы?

Определение справедливое, я действительно мало что умею — руками.

Так и хочется процитировать и стихотворение «Руки» целиком и на примере четырех его строф показать основные линии поэзии и эстетики Тарковского. Когда-нибудь я это сделаю, но не сейчас. Сейчас я только хочу сказать, что «руки» в произведениях Тарковского несут разные и многие смысловые и образные нагрузки.

«Взглянул я на руки свои / Внимательно, как на чужие» («Руки») — строки, может быть, наиболее точно характеризующие Тарковского как «народного умельца» и мастера стиха. Когда он ремесленничал, даже когда ногти обтачивал пилочкой, глубже делались глаза и морщины, а высокие летящие брови опускались. Это, говоря его строкой, была «темнота, окрылённая светом». Таким я его увидела за работой — вправлял в мельхиор выпавший из моего перстня аметист и смотрел на руки свои и на дело рук своих, как на чужое, придирчиво, поминая вслух Баратынского: «Дарование есть поручение, нужно исполнить его во что бы то ни стало». Так, я думаю, он и стихи сочинял, тщательно обтачивая каждое слово, чтобы служило и звуком сверкало, и умел, я думаю, посмотреть на каждое — как на чужое, со стороны. А это удается лишь истинным творцам. Судьба, а значит, и время мчалось за ним, а не перед ним, «как сумасшедший с бритвою в руке» («Первые свидания»). Не

потому ли в одном из его стихотворений есть строка: «Мой суд нетерпеливый над собою»? Он спешил дела души и рук своих осудить или оправдать раньше, чем это сделает грядущее.

Боже мой, как же цепляется в памяти одно за другое. Вот вспомнилось мне «Отнятая у меня, ночами...», и захотелось сказать еще об одной черте характера Тарковского, о черте благородной, отличающей его от многих моих знакомцев-друзей-поэтов: никогда не рассказывал о своей «лишней жизни», не называл ни одного женского имени. И только в общем разговоре о Туркмении, перед тем, как прочесть мне вышепроцитированное стихотворение, по какому-то дальнему намеку я догадалась, что в Туркмении он был влюблен, но Татьяна узнала, приехала и увезла в Москву. В этом стихотворении, датированном 1963 годом, он, как мне кажется, вспоминает именно ту свою влюбленность. В стихах Тарковского я не замечаю одноадресности, как в стихах у Ахматовой. Но одна строфа из стихотворения, о котором снова веду речь, где география и история перепланы, утверждает меня в моем предположении, что оно адресовано в Туркмению:

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлестывает тугу?

Первый приезд на городскую квартиру Тарковского мне четко запомнился, остальные то ли слились с первым, то ли позабылись.

Мы видели пося

Терзай меня — не изменюсь в лице³.

А. Тарковский

Помимо бесчисленных шахматных партий весной 75-го года, в начале мая у нас появилось еще одно совместное занятие: мы с Тарковским читали вслух «Чевенгур» Платонова. Уже зимой моя дочь снабжала нас «тамиздатом» или, как теперь говорят, текстами «из-за бугра». Май стоял на редкость теплый и сухой.

На территории Дома творчества еще не было комфортабельного корпуса с однокомнатными квартирными номерами. Напротив коттеджа, что нынче смотрит на яркокирпичное трехэтажное здание, прозванное «обкомом», зеленело довольно большое квадратное поле с теннисной сеткой посередине. В теннис же тогда никто и не играл. Изредка, по субботам и воскресеньям, писательские дети использовали корт как волейбольную площадку. Вправо от этого коттеджа и поля тянулись узкие аллеи с вишневыми деревцами и совсем юными яблоньками. Меж полем и оградой, отделяющей территорию Дома творчества от улицы Серафимовича, шла тропка, ровно очерченная кустарником шиповника и кое-где возвышающимся жасмином. Такая же кустарниковая полоса существовала и слева от корта, почти перед самым забором, отделяющим Дом творчества от сопредельной дачи (тогда, кажется, писателя Лидина). Так вот, между забором и двумя кустами жасмина в землю был вбит продолговатый стол и скамейка с двухдосочной спинкой, на которую падала тень уже «лидинской» березы.

Это место мы и облюбовали для чтения «Чевенгура». Чтение продвигалось по-черепашьи, ибо мы почти над каждой фразой заливались смехом. На самом деле «Чевенгур» — вещь трагическая, но написана так, что не смеяться, особенно если читаешь друг другу вслух, просто невозможно. Смеялись до слез над запутавшимся в вожжах военного коммунизма простосердечным Копенкиным и его рыцарством по отношению к Розе Люксембург. Когда наступал черед Тарковского, ему приходилось то и дело протирать запотевавшие от смеха очки. Платок всегда был безупречно чист, все мелкое, да и рубашки Тарковский стирал сам. Мы обосновывались за столом на скамейке часов в одиннадцать дня и оставались в своей укомной, на свежем воздухе, читальне почти до самого обеда.

В один из полдней, когда читала я, Тарковский вдруг воскликнул шепотом:

— Тише, лось!

Я подняла голову: в шагах пятнадцати от нас на короткой травке действительно стоял светложелтый, видимо, совсем молодой лось и смотрел в нашу сторону. Длилось это буквально мгновение, а может быть секунд 15—20. Лось отвернулся от нас, понесся, и, скорее, перелетел, чем перепрыгнул под прямым углом ограду на улицу. Какие-то еще секунды мы, ошеломленные, помолчали. Тарковский заговорил первым:

— Мы видели лося! Мы видели лося! А вам, как назло, надо сегодня, да уже прямо сейчас, ехать к Семе, — Тарков-

ский заметил, что я озабоченно взглянула на часы. — Мне же никто не поверит, если вы сейчас уедете, ну, кто мне поверит, что мы видели лося? Перезвоните падишаху, останьтесь. Я же вас к нему третьего дня возил. Инна, как же мне быть? Сил нет именно сейчас сажать вас в такси. Кто же мне поверит, что мы видели лося?

Но я поднялась и заторопилась. Большая хозяйственная сумка, куда я бросила сигареты, спички и деньги на дорогу, была при мне. «Чевенгур» же был забыт на столе. Дня за три до этого полдня Тарковский и в самом деле отвозил меня в Москву, он сказал Липкину:

— Семечка, вот тебе твоя Инна из рук в руки и вот тебе моя книга.

Это тот самый сборник «Стихотворения», который дважды подарил мне Тарковский зимой. Судя по дате под надписью «Дорогому Семе с давней воскресшей дружбой и пожеланием счастья А. Т.», отвозил меня А. Т. 11 мая. Значит, спешила я в Москву, и очень спешила, числа 15-го.

Тарковский понуро вышел со мной на улицу ловить такси, безнадежно приговаривая:

— Мы видели лося, но кто мне поверит без вас? Никто не поверит.

Тут, наконец, не вдаваясь в подробности, я должна объяснить, почему такси, а не электричка, почему я пишу: «меня брали с собой», «меня везли» и т.п. Все, к сожалению, крайне просто: с 34-х своих лет не умею пользоваться общественным транспортом и переходить улицы. Чуткий Арсений Александрович, как правило, доводил меня до угла Серафимовича и голосовал. Он обстоятельно наказывал таксисту или, реже — леваку, где меня надо высадить, чтобы мне не пришлось переходить дорогу. Несколько раз Тарковский ездил со мной, видимо, хотя он мне в этом не признавался, повидаться с Липкиным. Каждая передача меня «из рук в руки», как он шутил, здороваясь с Семеном Израилевичем, происходила возле метро «Динамо». Тарковский отпускал такси, и мы, если не холодно, беседовали тут же, в скверике. Вернее, они беседовали. Чаще всего, на литературные и политические темы. В эти полчаса или час я себя не чувствовала лишней, но умела отключать слух (чему только не самообучишься, подолгу живя в Доме творчества). Мне было о чем подумать, — именно литературно-политическая тема и занимала меня, но не теоретически, а практически. Наговорившись, Тарковский на такси же возвращался в Переделкино, а мы с Семеном Израилевичем на «конспиративную квартиру» к его младшему брату — Мише.

В 1974-ом мы обсуждали в Мишиной комнате, в коммуналке, как и через кого передать на Запад рукопись Гроссмана «Жизнь и судьба». Роман и хранился у Миши, о чем уже написал сам Липкин. Технику переправки «Жизни и судьбы» разрабатывать в Доме творчества мы, естественно, опасались, «конспиративной квартирой» комнату Миши я назвала не случайно. У нас имелись ключи, и мы приезжали на «конспиративную» тогда, когда математик — Михаил Израилевич Липкин бывал на работе в ЦСУ. Я уже в 1967-м знала, что роман спрятан у него, но он не должен был знать, что я об этом знаю. Чем не конспирация? Узнал же Миша, что я знаю, когда я приехала уже за «Жизнью и судьбой» передать Войновичу, чтобы роман с его помощью попал за границу, как раз в тот день, когда мы с Тарковским виделись.

Естественно, я не посвящала Тарковского в причину моих выездов в город. Естественно и то, что Арсений Александрович удивлялся:

— И чего вам, Инна, без конца шастать в Москву к Семе? Пусть падишах сам к вам ездит и на подольше.

Еще раз хочется сказать о характере нашей с Тарковским дружбы — легкость и очарование общения состояли, главным образом, в отсутствии каких-либо взаимобязательств. Тарковский в те годы уже многим покровительствовал, писал внутренние рецензии, рекомендации и прочая. Узнав, что моя книжка стихов с 69-го года без движения валяется в «Совписе», он предложил:

— Инна, а не хотите ли, чтобы я вмешался? Теперь я кое-какой имею вес.

— Отказываюсь наотрез.

Тарковский рифму «вес — наотрез» принял с откровенно радостным облегчением. Он и без того хлопотал то за одного, то за другого, но хлопоты его явно тяготили. Да и приятно, думаю, ему было сознавать, что моя к нему привязанность — бесцельна. Он к тому времени, как мне кажется, изрядно устал от «целенаправленных». Любопытно еще одно: стоило мне с Липкиным куда-нибудь уехать надолго или оставаться в Доме творчества «Переделкино» в июле-августе, когда Тарковские жили в Голицыне, как я об Арсенин Александровиче забывала напрочь. А если разговор заходил о нем, то исключительно о его стихах. Трудно было даже представить себе, что как только съедемся в Переделкино, то снова будем почти неразлучны. Вот такая странность и, как я вскоре узнала, — с обеих сторон.

О лесе и забытом в саду платоновском «Чевенгуре» я вспомнила лишь на обратном пути, незадолго до ужина. Я

сразу побежала к «читальне», но «Чевенгур» исчез. Потом, не поднимаясь к себе, направилась к Тарковскому, а вдруг он прибрал книгу. Уже в начале коридора я услышала возбуждённый, почти плачущий голос Арсения Александровича:

— Да, видел, видел я лося, я первым и заметил его. Вот вернется Лиснянская, спросите...

«Неужели, бедный, целые пять часов доказывает, спорит. чуть ли не плачет», — промелькнуло у меня в голове, и я решила прийти ему на помощь. Беспардонно, без стука, распахнула дверь:

— Арсений Александрович, вы рассказали, как мы видели лося?

— Не верят! — Тарковский полулежал, как всегда, в пижаме. Татьяна и еще какая-то домотворческая знакомая, кто — не помню, — сидели напротив него.

— То есть как, не верят? — сочувственно возмутилась я.

— На территории Дома творчества, — оборвала мое свидетельское показание Татьяна, — не могло быть лося.

— Верно, ты еще скажешь, что у нас и галлюцинации общие? — уже взорвался Тарковский.

— Да нет, небось, сговорились разыграть меня, — снисходительно-прощаяще улыбнулась Татьяна, — пусть будет по-вашему: лось был на корте и в теннис играл. — И мне:

— Арсений мне перед обедом и всем за столом про лося рассказывал и сейчас, не успела я зайти после работы, заладил про лося. — И ему: — Верю, Арсюша. Пора собираться на ужин. (Значит, не пять часов подряд, слава Богу).

Я заметила, когда Тарковский взрывался, Татьяна старалась все, как говорится, спустить на тормозах. Даже если и не была с ним согласна. Мать всегда знает, в какой момент следует уступить своему ребенку...

В 1989 году мы с Липкиным, вернувшись из Америки (участвовали в Ахматовских чтениях в Бостоне), узнали, что Тарковского не стало на земле, которая «прозрачнее стекла». Каждое лето мы живем в новом корпусе Дома творчества «Переделкино», и в каждое 25 июня приношу на могилу, что совсем рядом с Пастернаком и Корнеем Ивановичем, половину цветов, подаренных мне накануне (чаще всего розы и пионы).

Наша дружба была короткой, неглубокой, но отдельной. И я (иногда меня кто-нибудь подбрасывает на своей машине

до кладбища) прихожу к Тарковскому отдельно от всех, с утра пораньше, с одними и теми же словами:

— Здравствуйте, дорогой Арсений Александрович! Мои «часы» барахлят, но, видите, я все живу и живу, а ваши — и я привычным жестом переворачиваю руку и прижимаю золотистые часы (его подарок) к земле — идут исправно, слышите, как они тихонечко тикают?

Вгоняют в одурь тихую
Небесные басы,
А на запястье тикают
Тарковского часы.
Хотя и покалеченный
Бесславьем и войной,
Он жил, блаженно меченный
Серебряной струной, —
И ходит век серебряный
По кругу своему,
И с ели равнобедренной
Стекает дождь во тьму,
Во тьму земли,
Где мается обызвествленный сон, —
И в сердце просыпаются
Орфеи всех времен.
Живу во время дикое,
Забывшее азы,
Но вот живу. И тикают
Тарковского часы.

НИЩИЙ ЦАРЬ

ПОВЕСТЬ

«СТЕКЛЯШКА» С ВИДОМ НА ЧУЖОЙ УСПЕХ

Позвонила приятельница:

— Ты читала? Тарковского выдвинули на соискание Государственной премии уже в окончательном апрельском списке?

А через месяц с небольшим:

— Ты знаешь: Тарковский умер...

Я уже знала. Умер, не дожив до восьмидесяти двух нескольких недель. Умер на пороге июня, самого любимого своего месяца, зеленого, солнечного, пахнувшего шиповником. Умер посреди коротких дождей и птичьего щёбета, которых уже не понимал. И совсем не так, как представлялось ему, когда он говорил:

— Я не боюсь смерти. Вы сможете убедиться, приходите, посмотрите, когда я стану умирать вот здесь, — он кивнул от стола в сторону кровати. — Но почему они меня так долго не печатали? Что теперь мне это даст — «Избранное»? Доживу ли до него? Теперь они планируют, шлют письма, а тут как раз умрешь...

Не знаю, какой представлялась ему смерть, на которую можно смотреть. Похожей на смерть трав, кузнечиков, птиц? Бог — а он в него верил безусловно и радостно — не дал ему легкой кончины. С тем мгновением, когда в силах еще бросить вызов, показать, что ты готов и всегда был готов к прощанию с зеленым и любимым миром планеты. С теми, кто стоит вокруг твоего ложа. В данном, конкретном случае, роль ложа должна была сыграть деревянная кровать. В Переделкине, в одной из худших комнат Дома творчества.

Почему его так долго не печатали? Почему ему привычно доставалась угловатая, северная комната с окном, вырезанным высоко, как в тюрьме? Почему они все — мы все — не стояли перед ним, раскрыв рты, удивляясь: живой классик, можно заговорить, посидеть рядом? Телевидение, документальное кино больше всех виноваты. Потому что больше всех могли сохранить.

Между тем, сколько раз тяжелые грузовики ЦТ въезжали в наш двор, и каждый раз он с досадой убеждался: не к нему.

За писателем или поэтом, к которому ехали, числился один грех: он писал *на тему*.

Так или иначе, одно у него определение: дюжинный.

Арсения Александровича *они* считали если не вредным для развития общего духа, то уж во всяком случае бесполезным. Наша дежурная на вешалке, Лида, удивлялась:

— Кто? Тарковский, наш Арсений Александрович самый лучший поэт? Вы шутите!

— А кто, Лида? Кто по-вашему?

— Ну, Роберт, кто же еще? Он государственный, его по телевидению вон сколько показывают.

Телевидение поставляло нам «государственных» обильно. Телевидение тех времен, когда сладко было, выключив звук, наблюдать, как корчатся безъязыкие. А слушать не хватало сил. Вовсе не в переносном смысле начинали свербеть кожа, болеть сердце. Телевидение и впрямь Тарковского не заготовило. Хотя очевидно было: уходящая натура. Все, отмотается еще немного с катушки времени, и не вернешь.

...Мартовское яркое, даже резкое в своей радости, светило над Переделкиным солнцем. Машина неповоротливо ползла по лужам, разбрызгивая голубое, превращая его в обыкновенную грязь. Арсений Александрович смотрел на нее, слегка втянув голову в плечи. Выражение лица у него стало не свободное. Как бы далеко спрятанная, а возможно, и самому ему не ясная обида давила его. Он не хотел поддаваться, но глаза сами тянулись к упорно, медленно надвигающемуся телестудийному чудовищу. Стягивалось неловкою улыбкою лицо, пальцы на какое-то мгновение цепенели, набивая трубку.

Я думаю, Арсений Александрович, зная себе цену, был начисто лишен чувства зависти. Он работал на будущее, но, наверное, считал, что оно придет скорее. Он все стремился настигнуть время своих стихов, а оно отступало, как отступают многие наши горизонты. Он не умел подчиняться моменту, вот в чем дело. «Ты царь: живи один». Эти пушкинские слова могли бы стать эпиграфом всей его жизни. Тем более, что сам себя он тоже определял так: «*нищий царь*».

Царь какого царства? Где оно? Что значили для него эти слова в переводе на язык, если не бытовой, то во всяком случае прозаический? Прежде всего такая позиция давала утешение ему, безоглядную возможность не подчиняться. Правда, следовало за нею полное отсутствие жирного куска. И, если говорить о конкретном случае, необходимость заниматься переводами. Но и тут он выбирал то, что мог полюбить, а не то, что приблизило бы к пирогу.

Он любил (и говорил об этом) всех своих сорок девушек из каракалпакского эпоса. Он любил грузинских и армянских поэтов. И тех, кто жил признанным, и тех, кто умер поруганным: Егише Чаренца, Григола Абашидзе, Симона Чиковани... Но больше всех он любил слепого поэта с мудреным арабским именем — Абу-ль-Аля аль-Маарри. Книга переводов этого мастера, через столько-то веков уже безусловно классика, была издана куда более нарядно, чем его собственные. Когда он мне ее дарил, пальцы поглаживали золотистый супер, как поглаживают вещь не просто дорогую или нужную, но прежде всего — красивую. Кончики пальцев как бы радовались тому, что вот воздали честь достойному.

О себе, впрочем, он тоже знал, что достоин не тех мелких тиражей и не тех тонких книжек, какие у него выходили.

Однажды, когда я жила в Переделкине, мне позвонила приятельница:

— Я тебя прошу, найди Тарковского и скажи ему, что «Избранное» его идет по сорок рублей на черном рынке. Ему будет приятно.

Искать долго не пришлось. До того, как меня позвали к телефону, я сидела вместе с ним в стеклянном переходе, откуда виден был двор и те самые медленно ползущие машины, начинённые телевизионной техникой.

Арсений Александрович выслушал мое сообщение спокойно. Принял к сведению, и только. Еще и руки в подчеркнутом недоумении развел: мол, что я могу на это возразить? Сорок так сорок, совершенно помимо моей воли.

Локти лежали на подлокотниках кресла, а ладони, большие, красивые, к старости отнюдь не утратившие изящества, — разведены в стороны. И в глазах промелькнула, я думаю, насмешка по отношению ко многим, зачисленным нашей Лидой в ранг государственных.

«Это все услуга», — говорил он. Иногда вырывается и более горькое: «Раньше это называлось дворня». Известная доля горечи впрочем присутствовала, на мой взгляд, всегда. Тайная, далекая, не то чтобы скрываемая из честолюбия, но существует установка — не выдвигать на первый план, не сосредоточивать на ней внимание собеседника. Тем более собеседницы. Ведь он настоящий мужчина.

Конечно, настоящий. И он привстает в кресле, потому что в дальнем конце «стекляшки» показалась женщина, просто женщина. Представительница слабого (или прекрасного) пола. Кстати, это может быть та же наша Лида, стерегущая пальто и дублёнки, а сейчас направившаяся в столовую за чашкой чая. Или розовая, толстенькая Леночка,

только что убравшая его комнату. В последнем случае он тороплив не только по воспитанию, но еще и оттенок ласковости, признательности в его движении.

Последнее время вставать он уже не мог. Но руки все-таки упирались в подлокотники, все-таки производилось некое символическое движение, и глаза просили прощения за его символичность. У него были прекрасные глаза, не очень большие, кофейного цвета, конечно, с желтизной белка, но сияющие. А что сияло? Смех, интерес к жизни, ирония светились. Само любованье земным миром или собеседником заставляло их сиять. Мысль ходила почти зримо в этих зеркальных, веселых, недоумевающих, сознающих в своем временном, сегодняшнем бессилии глазах. Именно временном. Что у его стихов прочное, хотя, быть может, не отдающее великолепием будущее, он отлично знал.

Хотя почему я исключаю понятие великолепное? Только потому, что ему как бы сопутствуют парадная суета и мишура? Пурпур мантий и почти того же цвета, разной свежести скатерти парадных президиумов?

А разве не великолепно, когда девочка, впрочем уже девушка, барышня, невеста читает его строки своему жениху на берегах Коктебельского залива? Слушает юный мужчина, в сущности уже муж, слушает гора с профилем другого, так долго непризнаваемого поэта Волошина. Слушают степь и море. Степь над морем — любимый пейзаж Тарковского. Ветер гнет рано высохшие травы, подставь ладонь, и ты ощутишь его настойчивое, упорное давление.

Что читает современная девушка? «Первые свидания» — понятно. Но вот еще что она читает:

Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копыя;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами...

Вместо торжественного стола президиума, вместо Колонного зала — мироздание: туманное зеркало залива и над горами классические солнечные лучи, что, прорывая тучу, падают почти вещественно, почти осязаемо, и молодой голос в согласии со всем этим читающий стихи...

Не в нем ли наша надежда на то, что возродится цвет нации — интеллигенция? Просто без всяких прилагатель-

ных: современная, советская, техническая, рабоче-крестьянская... Однажды, в книге своей, говоря о Чаадаеве, я имела смелость заявить, что истинный аристократ чувствует себя равным всему живущему. Некоторым мысль эта показалась странной, необоснованной. Но я встретила ее в «Докторе Живаго», и обрадовалась, и держусь ее, и горжусь ею. А главным образом теми, кто дает мне возможность так думать.

СЛУЧАЙ С ГЕНЕРАЛОМ. ИМЕЮЩИЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Избранное», то самое, что стоило на черном рынке сорок рублей, Арсений Александрович дарил щедро. И вот однажды в пёстром и уютном баре Дома творчества произошел такой случай. Мы сидели за столиком, притиснутым к стенке, втроем: Арсений Александрович, Татьяна Алексеевна и я. В это время в баре случалось еще вино, но с окрестных дач чаще приходили за лимонами, минеральной водой.

Вот и на этот раз вошел как бы незаметно, как бы даже бочком, пожилой господин. Арсений Александрович долгое время уговаривал меня прочесть один из его романов: «Настоящая классика». Наконец я прочла: действительно, настоящая. И вот теперь этот человек, написавший среди прочих великолепную книгу, а также известный своею неутомимой благородной деятельностью сидел, как жучок, на гвоздике вращающейся легкомысленной сидушки. Ждал, когда подойдет его очередь, готовый, вот так же, не тратя себя на приветливость, исчезнуть, прихватив скромные покупки.

Арсений Александрович буквально вскочил со своего места, подошел к классику, заметьте, отмеченному печатью официального признания, но и уважаемому им. Он подошел сзади, по-другому из-за тесноты не выходило, тронул, сказал, тоже не привлекая внимания:

—...Вы здесь надолго задержитесь? Когда будете уходить, зайдите ко мне. Я вам свою книгу оставил.

Классик слабо шевельнулся в ответ, не выражая восторга. Стыль у него был такой: как бы в собственной тишине и отстраненности парить над. Впрочем, в сереньком твидовом пиджачке и с выражением лица, на котором никакой надменности не читалось при первом взгляде.

Итак, классик слабо шевельнулся, зато Татьяна Алексеевна буквально взвилась:

— Зачем ему навязываться? Не понимаю! Этот генерал со мной не здоровается, а он с такой любезностью...

— Не с вами не здороваются — со всеми. Проходит сквозь. Я все хочу угадать: почему?

— Плохо мама воспитала. Но Арсюша, Арсюша... Зачем ему? Видит же: вдвигается в толпу, даже не кивнет. Как инопланетянин...

Когда Арсений Александрович вернулся к нашему столу, Татьяна Алексеевна посмотрела на него долгим неодобрительным и вместе веселым взглядом. Нахлобучку, однако, отложила до тех времен, когда они останутся одни. Маневр ее, несколько даже театральный, смущал Арсения Александровича. Кажется, он понимал, что ему придется услышать.

История эта имела продолжение.

Второй акт разыгрался в так называемом «красном уголке». Еще употреблялось выражение: «сидим мы под лестницей». Дело в том, что старый красный диван и такие же кресла стояли действительно в закутке под лестницей в фойе, довольно парадном по представлению пятидесятых годов. А на нынешний взгляд просто убогом. Мы собирались там для разговоров, не вмещавшихся в наши двенадцатиметровые кельи. Больше собираться нам было негде. Но все равно утверждаю: когда там сидел Тарковский — это был Олимп. Спокойствие, тон, важность были соответствующие. Не та, разумеется, важность, что прет незряче, разрезая брюхом толпу. А та, что, служа музам, не терпит суеты.

Величавость какая-то определенно присутствовала, хотя старик, с уже круглящейся спиной, всего-навсего попыхивал трубочкой, смиренно наблюдая, как другие играют в шахматы.

И в этот раз наблюдал. Не помню, кто еще толпился рядом, может быть, тоже заинтересованный исходом поединка. А может быть, в смутном сознании того, что вот тут, перегибаясь через ручку кресла, чтоб лучше видеть сражение; тяжело, руками передвигая протез, чтоб пропустить сменившегося игрока; вот тут рядом сидит последний осколок эпохи, которую нам не выпало прожить: Серебряного века русской поэзии...

Как бы там ни было, но они сидели и стояли вокруг низенького стола сосредоточенные, будто занятые неизменно важным делом. Тарковский — спиной к входной двери.

И вот в эту дверь входит давешний классик, определенный Татьяной генералом. Теперь он уже дотрагивается до плеча Арсения Александровича вкрадчивым, осторожно привлекающим внимание движением. Тарковский обернулся, и я увидела лицо, ждущее объяснений, слегка раздосадованное.

— Вы мне на той неделе обещали книгу. Я тогда не зашел...

— Книгу? — как бы ладонью он снял, стер выражение слабой досады человека, которого возвращают к давно оставленному. Лицо теперь стало просто вежливо холодным.

— Книгу? Но я подумал: она вам не нужна и отдал другому.

После слов о другом, сказанных громко, но отнюдь не вызывающе, классик отскочил, как ужаленный. Кстати, вчлняясь, так сказать, в массу болельщиков у шахматного столика, он так же мило, как всегда, даже не кивнул никому. Ему нужен был Тарковский, он и выхватил только его своими льдистыми генеральскими глазами.

— Не люблю генералов, — сказал Арсений Александрович, когда мы говорили с ним об этом случае. Генералы имелись в виду, разумеется, статские.

Я думаю, генерал от литературы никогда не ставил Тарковского на одну доску с собой. Он существовал при огромных тиражах и, следовательно, при сказочных в приложении к простому смертному гонорарах. При должности, наконец. И он действительно, надо думать, отдавая много сил, занимался большим общественным делом. Он стал элитарен, на взгляд многих, но аристократом ему не суждено было стать. Кто б смог представить генерала, вдруг ощутившим себя равным всему живущему. И следовательно, каждого живущего равным себе?

Иногда мне кажется: и до сих пор, несмотря на все призывы к демократии, табель о рангах генералы изучают тем же способом, что наша простодушная Лида.

КОЕ-ЧТО О РАНГАХ...

Табель о рангах, табель о рангах. Вот сейчас я расскажу нечто, поясняющее мой взгляд на этот вопрос. Однажды я вошла в почти густую столовую Дома творчества во время послеобеденного чая.

— Идите к нам, идите к нам, Леночка, — окликнула меня Татьяна Алексеевна.

Арсений Александрович привстал, отодвигая свободный стул. Глаза его улыбались вопросительно (или даже просительно?): разделю ли я их компанию очень пожилых людей?

...Тут, уже в самом начале, я должна прервать саму себя и сказать о замечательной, заметной и трогательной верности Арсения Александровича дамам своего поколения. Что-то не помню, чтоб Арсений Александрович часто изменял своей привычке вставать очень поздно ради моих проводов.

Но вот больную, очень слабую, со старчески-выпуклыми как бы в недоумении глазами, смущавшую кое-кого своими скорбными костыликами Марию Григорьевну он провожал всегда. Облачался в достаточно парадный костюм, и вообще какая-то несуетная, старомодная торжественность сквозила в этом ритуале.

Но вернемся в столовую. Татьяна Алексеевна обращается ко мне с совершенно королевским видом. Но вид этот не от снисхождения. В нем — внимание человека, который включает тебя в свою сферу. Или не включает.

— Идите к нам, Леночка!

«Леночка» я к тому времени весьма относительная, мне хорошо за сорок. Но не обидно, потому что на днях мне предложено называть ее Татьяной, его — как душе будет угодно. Арсением, Арсюшей, даже Арсиком, как зовут его некоторые старинные приятели, ввергая меня не то что в недоумение — в явную злость. Так, что даже губы кривятся.

Естественно, я отказалась от предложения Татьяны Алексеевны, сколько она ни ссылалась, например, на Алика Ревича, который, впрочем, тоже давно уже Александр Михайлович.

Я отказывалась, она настаивала: «А как вы Наденьку Вольпин станете звать? Она ведь для всех нас Наденька». «Надеждой Давыдовной». «Ах, так? Ну, с нами вы можете не церемониться. И не подчеркивать, что вы на двадцать с чем-то лет моложе». «Да, мне совершенно безразлично, — подтвердил и Арсений Александрович. — Хоть горшком, лишь бы в печь не сажали».

Не думаю, чтоб ему так уж было безразлично. Я имела случаи убедиться: только мудрость и мудростью же выработанная некая защитная позиция разрешали напускать на себя такой вид.

Но вернемся к тому вечернему чаю, за которым сидели Мария Григорьевна, Надежда Давыдовна, хорошенькая, в ту пору почти восьмидесятилетняя, стриженная, как девочка-дошкольница, и естественная в этом, как и в текущих позах своего маленького, круглого тела. Татьяна Алексеевна восседала, руководя разговором, и была, конечно, королевой. В чем можно убедиться, рассматривая любую фотографию. Королевой в изгнании, даже претерпевшей, отчего едкость сквозила в каждой морщине тонкокостного, горбоносого, большеглазого лица. Королевой, ни разу не склонившей головы.

Меня приглашали к столу. А за столом шел разговор о поэзии. Не помню уже, как, какими словами дамы пытались определить место Арсения Александровича в общем строю,

и вдруг, ей-богу, сегодня не могу понять, как меня осенило. Или, вернее, как я набралась храбрости (самоуверенности?):

— Подождите, сейчас я принесу себе чаю и все объясню.

Воображаю, каким взглядом смотрели мне в спину. Терпеливо смотрели: то ли еще приходилось встречать на длинном пути? Снисходительно и не без осуждения, которого, возможно, они сами не ощущали. С недоумением смотрели.

Я вернулась к столу среди общего молчания. Почему-то оно меня не смущало.

Впрочем, я знаю почему: Арсений Александрович смотрел на меня добрыми глазами. В них читался не столько интерес к тому, как я определяю его значение, сколько интерес ко мне.

— Так вот. Однажды Бог замесил теста на большой каравай и выпек из него Пушкина, — сказала я будто бы очень уверенным голосом. — Но осталось еще тесто. Из него получился Тютчев. Но и еще хватило на маленькую булочку, и вышел Тарковский.

Арсений Александрович по-прежнему скорее рассматривал меня, говорившую, чем слушал. Однако, исходя от дам, над столом нависла некая неловкость. Я думаю, причиной была *маленькая булочка*. Как хотите, определение не подходило тому, кто себя понимал нищим царем. На краю приморской степи и перед лицом вечности, а также степных курганов...

И вдруг Татьяна Алексеевна вскрикнула:

— Арсюша, бери! Из того же теста, что Пушкин!

Все рассмеялись облегченно.

Но далеко не все были согласны: из того же теста. Оно, это определение, било по собственным амбициям. А как же! Мы все равны, все — советская литература, соцреализм, подручные, интеллигенция, которую сначала, как бы оказывая честь, приглашают в гости, а потом подвергают невыносимой выволочке, мешают с дерьмом, поддаваясь собственному взрывчатому темпераменту, как морской неуправляемой волне. Блаженствуя от возможности назвать абстракционистов «педерасами» или еще как-нибудь высказать неуважение.

Кстати, я так и не знаю, бывал ли Тарковский на подобных сборищах. Или по рангу не проходил? Ибо, к счастью для себя, не был тогда *государственным* поэтом. Так, как в свое время не была Анна Андреевна Ахматова. Ведь никто не знал, что она написала «Реквием» — самую острую политическую вещь, облаченную в самую совершенную стихотворную форму. Они стояли на обочине, так определялось их положение.

(Но тут я думаю вот о чем. Государственный поэт с точки зрения Лиды, и не одной Лиды, вовсе не тот, кто мыслит государственно или создает шедевры, остающиеся в культуре государства. Все гораздо проще: это соискатель Государственной премии).

...Нет, я не осуждаю тех, кто рвался на приемы, устраиваемые Хрущевым (вспомните, с каким теплом, как искренне относились мы к нашему Никите Сергеевичу хотя бы в благодарность за выпущенных из сталинских лагерей). Тем более не осуждаю, что многие рвались в надежде не только высказать свою точку зрения, но изменить точку зрения главы правительства.

Не осуждаю, но радуюсь, что среди тех, кого непосредственно, глаза в глаза, проработывал Хрущев, не было Арсения Александровича.

А зачем бы его туда приглашали? Зачем простому советскому человеку:

Когда б на роду мне написано было
 Лежать в колыбели богов,
 Меня бы небесная мамка вспоила
 Святым молоком облаков.
 И стал бы я богом ручья или сада,
 Стерег бы хлеба и гроба, —
 Но я человек, мне бессмертья не надо:
 Страшна неземная судьба.
 Спасибо, что губ не свела мне улыбка
 Над солью и желчью земной.
 Ну, что же, прощай, олимпийская скрипка,
 Не смейся, не пой надо мной.

Дело было в том, что мы продолжали улыбаться «над солью и желчью земной», это, во-первых. А, во-вторых, насчет «колыбели богов» и всего прочего, как-то не звучало в эпоху страстного, безрассудного уничтожения церквей, замешанного на одном, трудно объяснимом импульсе. Чтоб не с чем было сравнивать пятиэтажки, а также шедевры бетонно-стеклянного зодчества? Так, что ли?

МЫ СИДЕЛИ НА КРЫЛЬЦЕ — ИЛИ: ЧТО МОЖЕТ ЗАВИСТЬ

Был такой случай. Сидели мы на крыльце. Не на золотом, на довольно заурядном крыльце Дома творчества, производства 1954 года. Могучий провинциальный ампи́р окружал нас свежепобелёнными колоннами, прямо перед нами березы

полоскали свои ветки в очень синем подмосковном небе. Я не думаю, не помню, чтобы мы оживленно беседовали. Просто наслаждались этим зеленым и синим, торжествующим, поющим, мельтешащим миром спелого лета.

Тарковский, рожденный в июне, любил этот месяц больше других. И, южный человек, вел себя так, как будто весь год ждал именно его. А зима, холодная весна не годились для жизни — только для существования. Но кроме июня, были еще причины для радости. «Сталкер» отправился в победное шествие по Европе, и в Переделкине установилось что-то вроде ритуала. Многие считали своим долгом подойти к Арсению Александровичу и поздравить его с успехами сына. А кое-кто приносил газеты и показывал, переводя с итальянского, а также французского, несколько подчеркнутых строк. В них на разный манер повторялось суждение: Тарковский — бесспорный гений. Речь шла о кинорежиссере, и, возможно, этим объяснялась волна доброжелательности.

— Удивительно единодушны, — сказал Арсений Александрович о подходящих с газетами. — Радуются за чужого. Интересно, как там, на студии, деятели это все воспринимают?

Однако этот вечер нам попытались испортить. Вернее — ему. Я была не самостоятельная единица, а некое временное лицо при нем. Неинтересная, провинциальная тетёха — во всяком случае для человека, который к нам подошел.

Он был, скажем так, достаточно популярный литератор, любимец молодежных изданий. Из тех мальчиков, пятидесятилетних ковбоев, чей подтянутый, слегка оскаленный вид говорит о готовности поймать волну.

Правда, на этот раз он был несколько озадачен — успехом Андрея. Того самого Андрея, на которого на правах личного знакомства привык смотреть немного сверху: неудачник. Свое взять не может. Не чувствует даже направления того самого зеленого лужка, где удача пасётся, как веселая белая лошадь. Нынешний успех как пришел, так и уйдет, ничего существенного с собой не принеся. Однако все равно, где-то внутри свербило. Для того, чтоб унять свербёж, надо было все время помнить: Андрей проходит по другому ведомству, а вот старик...

Старик между тем сидел на крыльце, отрешённый, не рожденный для побед. И «ковбой» наш остановился, как бы в раздумье, как бы тоже готовый любоваться тающим, розовым светом предзакатного солнца. Но на душе было беспокойно, и он то поднимался на носки, то опускался, чувствуя неуёмную жажду высказаться.

— Читаете? — кивнул он на газету. — А ведь, пожалуй, наши деятели сделают вид, что ничего не произошло и мировая общественность по-прежнему обожает Бондарчука!

— Разве? Разве она его обожала? Я как-то не заметил.

Арсений Александрович улыбнулся, поднимая лицо. Весь безмятежный вид его говорил: он вовсе не замечает угрожающего предупреждения. Он простодушно рад за Андрея и всех приглашает разделить эту радость. Он считает успех сына естественным... Разве не так, молодой человек?

Опустив глаза, Тарковский принялся чертить палкой что-то невидимое на плитах крыльца. «Молодой человек» некоторое время возвышался над нами молча. Именно возвышался, хотя ростом был не велик. Может быть, только потому, что он стоял, а мы сидели? Нет, скорее привычная поза победителя придавала ему вид возвышающегося: что-то отставлено, что-то выставлено, и руки крестом на груди. К тому же, медальный профиль командора.

Однако стоять так просто, делая вид, что тоже предаешься созерцательной истоме, победоносному нашему надоело, и он воскликнул:

— Но вы-то, вы-то, Арсений Александрович! Хорошенькую компанию в «Сталкере» выбрали — Тютчев!

— А что такого, я очень люблю Тютчева, у него есть дивные стихи...

Он делал вид, что не понимает намека или даже прямого возмущения его смелостью. Однако руки его, сложенные на набалдашнике палки, пришли в движение.

— Нет, Тютчев! — теперь «ковбой» чуть не приплясывал.

Я посмотрела на Тарковского. Он посмеивался как будто. Но крупные, смуглые морщинки лба и щек были неподвижны. Лежали почти величественно. Горькая складка в углу рта тоже не исчезла, как исчезала в настоящие веселые минуты.

— Вы не согласны, что Арсений Александрович и Тютчев — компания? Почему? — почти трубно и уж во всяком случае зло вступила я. — Отстаете от времени. Сейчас это многим становится ясно.

Недоумевающий наш смотрел мимо меня.

— Знаете, — опять обратился к нему Тарковский, — я всегда предпочитал приличную компанию...

Последнее было произнесено таким тоном, что преуспевающего как ветром с крыльца сдуло. Взгляд его в мою сторону был полон чего-то очень напоминающего ненависть.

А еще через несколько дней я услышала разговор преуспевающего литератора с таким же кинематографистом. Возмо-

жно даже, разговор специально предназначался для моих ушей.

— Что это шум подняли вокруг Тарковского? всю жизнь знали его как неплохого переводчика и вдруг — поэт. Я вам назову десяток имен более крупного достоинства...

— Это Андрей его вытащил из небытия. И тоже скажу: ничего такого особого в Андрее не вижу, кроме желания стать с ног на голову. Кто ходит на его картины?

— Только не я.

— Ни материального, ни морального дохода от него государству никакого. Но отцу он службу сослужил. Старик теперь станет стричь купоны.

— А вы знаете, Андрей ему не сын — племянник.

— Как?

— А вот так: был старший брат, погибший в молодости. Андрея усыновили.

— Ах, вот как. А я и то думал: не слишком ли много на одну семью...

Они засмеялись, довольные своим сомнительным, даже для них самих, открытием. А я стояла, глядя им вслед, удивляясь тому, на что способна зависть. На многое она способна, чтоб облегчить грызущую боль в сердце.

В самом деле, еще совсем недавно кинематографист, развалившись в потрёпанных креслах *красного уголка*, повествовал: «Когда у меня нет денег, я сажусь и пишу сценарий». Он был мастером в своем умении жить, и вдруг этот фестиваль, Европа. Наконец, газеты: их привозят из города чуть не каждый день, кто вынесет?

Да, определенно что-то появилось в облике наших удачливых. И если тогда для них успех Андрея Тарковского был как бы не полон, потому что не подтвержден отечественными премиями, то, представляю, что делалось с ними весной восьмидесят девятого по поводу выдвижения на Государственную премию. «Ну, это для чего? Это уж слишком! Еще Андрей — туда-сюда, а старик?»

СТИХИ И ПРОЗА

Открываю дурную, сопротивляющуюся дверь, путаюсь в тамбуре между ее створками и чемоданом. С декабрьской промбзглости, гололеда, ранней темноты вваливаюсь в холл — прямо передо мною стоит Тарковский, улыбается неудержимо и так, будто я не уезжала на полгода домой, будто еще вчера мы сидели в «стекляшке» перехода. А я, уезжая, боюсь всегда, что место будет занято.

— Арсений Александрович — как счастливо!

— Да, уже два месяца в этой позиции я жду вас.

И хватает чемодан, хочет помочь. Вернее, не только и не столько хочет помочь, как хочет быть мужчиной, сильным, если не молодым, то и не стариком.

Быстренько беру ключ у дежурной, поднимаемся по лестнице. Ему невозможно одновременно тащить чемодан, держаться за перила и помогать себе палкой. Однако мой протест, мои вопли ни к чему не приводят. Он упрям, он костенеет в своем упрямстве, оттесняет меня плечом, перебирает рукой перила, тяжело движется вверх. Палка в той же руке, что чемодан, сейчас я, запутавшись, толкну его, мы оба полетим на ступеньки. Мне что: встану, отряхнусь. А он, как рассказывал не один раз, и каждый раз, смеясь неудаче, стоит ему упасть — обязательно что-нибудь ломает.

Все-таки взбираемся на второй этаж. Я — вся сдавленная страхом за него. Он — весь в поставленной цели — не уступить мне, вести себя как настоящий мужчина. Как будто я так не понимаю, что он из себя представляет.

В верхнем холле, торжественном от низких красновато-коричневых колонн, от хороших, того же тона ковров, останавливаемся, да так неудачно, что он тут, на ровном месте чуть не теряет равновесие. У него в глазах на мгновение мелькает ужас, у меня, наверное, не меньший. И, наконец, входим в комнату. И тут происходит некое действие, состоящее из смеха, беспорядочных движений, обрывков радостных слов, взлетающих к казённой люстре.

Чему мы радуемся? Уж не тому ли, что кончен опасный переход? Или тому, что встретились? Тому, что мы все те же: две собаки, понимающие друг друга и без слов?

Ну, конечно, он понимает, какая радость для меня, что он меня как бы встречал. Он понимает, какая радость для меня его стихи. И то особое состояние, когда мы с ним говорим об этих стихах. Не как автор и слушатель или читатель. А как два удивленных ими, нашедших их где-то, почти в конце пути. И теперь рассматривающих по строчке, по слову, положив на ладонь, подняв к глазам, прикасаясь к ним, но не совсем веря в их реальность.

И это было лучшее из того, что было. Вдруг скажу:

— Как мне нравится это:

На каждый звук есть эхо на земле.
У пастухов кипел кулеш в котле,
Почесывались овцы рядом с нами
И черными стучали башмачками...

Мне нравилось еще и потому, что картины, даже запахи, привычные с детства, вставляли: каменистая степь на краю земли. И ведь не только картина, хоть и эпическая это была. Не только чабрецом и шкварками пахло. Пахло отношением к вечности, самой вечностью. И овцы, толкущие сухую землю, и костер, и решение:

Что деньги мне? Что мне почет и честь?
 В степи вечерней без конца и края?
 С Овидием хочу я брынзу есть
 И горевать на берегу Дуная,
 Не различать далеких голосов,
 Не ждать благословенных парусов...

Он определял свои позиции этим стихотворением. Он отстранялся от сложностей: кому улыбнуться; кому преподнести книжку прогнувшись; чьей жене, может быть, даже посвятить стихотворение. А лучше того, отстранялся от барабанов и медных труб, выдувающих славу очередному кумиру. Как это бывает с трубами, мы все знаем по стихам Суркова, по прозе Павленко, по улыбкам А. Прокофьева, пожиравшего преданными глазами Никиту Сергеевича (тем самым, кстати, сбивая его с толку). А вот насчет чужой жены такая подробность. Рассказал мне это умный, едкий и достаточно циничный человек. Был у него приятель, бесспорно талантливый переводчик. Но особенно комфортно устроиться в текущей жизни помогал ему редкий дар. «Ну все. Время вышло, — и беглый взгляд на часы. — Надо опять идти к Агнии доказывать, что пишет она лучше Федора Михайловича».

Могу ли я Арсения Александровича представить в позе того переводчика? Впрочем, позиция такая не только лишает уважения, но иногда разбивает собственное сердце. В буквальном смысле слова. Теперь это называется инфаркт.

А кому-то не разбивает, потому что ему удобнее хватать за полú любого самозванца и кланяться низко. За поклон получаешь паёк. Именно за поклон, талант тут ни при чем.

А если осознаешь себя талантом и собираешься сесть рядом с Овидием на расстеленный возле костра кожух? Ну, тогда будешь, как он, греть *в холода лепёшку на ладони* и варить суп из мидий. А суп этот, как известно, ничего общего не имеет с заказом (так это деликатно-таинственно зовется) из спецбюфета. Но зато именно над тобой встанет южная звезда, вечная, неистребимая, как сама поэзия.

Однако вернусь к тому, как мы вместе прочитывали стихи, сочиненные им. Как-то мы выяснили: наряду с тем.

что одинаково любили степь над морем, еще и следующее. Одна из наиболее часто являющихся с детства картин: мальчик с поднятой в восторге вдохновения рукой и согбенная фигура слушающего Державина, с оттопыренным ладонью ухом.

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес.

И еще объединяло нас отношение к античной, эллинской культуре. Арсения Александровича с нею, может быть, познакомила гимназия. Меня куда более поверхностно — мама, позднее — книги. И то, что еще осталось на земле нашего благословенного края. Но в детстве я предпочитала бесшабашность улицы. В молодости — горячку текущего дня. Однако, как бы помимо воли, все это запомнилось: Парис с яблоком; Агамемнон, похожий на толстого трефового короля; Геба, непременно ветреная и кормящая орла, совершенно живая, смешливая, с могучими загорелыми ляжками. А лучше всех Орест и Пилад, имена, к моему удивлению, мало кому известные, не то что имена нынешних фигуристов, к примеру, или названия популярных рок-групп. Таковы издержки телевизионного образования.

Мир Эллады существовал, несмотря на детское мое отталкивание, почти ощутимо и рядом с настоящим. В нем жили: запахи водорослей, длинные плети каперсов, большие белые их цветы на сухих холмах. Детство наше разделяли четверть века и смена общественных формаций, но мы хорошо понимали друг друга.

Земля неплодородная, степная,
Горючая, но в ней для сердца есть
Кузнечика скрипица костяная
И кесарем униженная честь.

— ...Кажется, больше всего люблю «Степную дудку», — говорила я.

— Вы знаете, и мне эти стихи очень нравятся, — и опять смеялись. Вовсе не потому, что автору как будто не положено хвалить самого себя. А оттого, что можно было повторять — как вертеть в руках драгоценность: «На каждый звук есть эхо на земле». Или: «Теперь мне и до степи далеко. Живи хоть ты, глоток сухого дыма, шалаш, кожух, овечье молоко...»

Это были фразы нашего разговора.

А вообще сквозь грусть его старости мы смеялись очень много. Однажды я даже сказала:

— Вы неприлично много смеетесь для первого трагического поэта.

Арсений Александрович глянул, было, на меня чуть исподлобья, и мы опять закатились. Перед обоими встал во всей своей непробиваемой торжественности некий Пинт. Тот, каким заранее представляли себе Пушкина, явившегося с чтением «Бориса» в дом молодого литератора Дмитрия Веневитинова. А может быть, тот, каким сам себя представлял, например, Сурков? Или Симонов? Или Александр Прокофьев? Люди, убежденные, что для эпохи хватит слов, произнесенных ими? Что именно их строчками эпоха говорит все, что ей нужно сказать?

Дорого в конце концов обошлись обществу те, кто отодвигал инакопишущих широкими плечами, обтянутыми ладно сидящими гимнастерками.

Но что я? На Арсении Александровиче тоже была гимнастерка, и ногу он потерял не случайно, а на фронте, на передовой.

Просто душа его была устроена иначе. Он не искал благ? Он не спешил пристроиться к побеждающим в литературных драках? Это, наверняка, поверхностное, бытовое объяснение. Та часть души, которая заведовала поэзией, просто-напросто была талантливее, чем у других. И, возможно, в силу этого печальна, больше умела рассмотреть.

Я вот о чем думаю все время. Анну Ахматову обвиняли в аполитичности. Барыня, наблюдатель, еще: полумонашка, полублудница. А что вышло? Вышло то, что самые политические (и в то же время самые поэтичные) стихи написала она. «Реквием» не имеет себе равных. Арсений Александрович, разумеется, знал «Реквием» одним из первых. Но у него не было ли чего-нибудь подобного?

ХОТИТЕ, Я С ВАМИ ПОСИЖУ?

...Это: «Хотите, я с вами посижу?» — я слышала не раз, в трудные и просто нудные для меня минуты. Должна приехать из Калуги приятельница часа в два. Но уже четыре — ее нет. У меня же особый рефлекс: ожидание любое, вовсе не судьбоносное, как говорится, для меня мучительно.

Сижу в *красном уголке* напротив входной двери. И уже нет мне удовольствия от будущей встречи, злюсь на себя, что отложила все дела, обрадовалась: явится в наш монастырь свежий, острый человек, поговорим, отвлекусь от рукописи. И тут раздается знакомое постукивание палки.

приближается медовый запах раскуриваемой трубки, подходит Тарковский.

— Хотите, я с вами посижу? Вы ведь ждете кого-то?

Разговор не очень-то клеится. Собственно, говорит только Арсений Александрович, я вся на взводе. Правда, как всегда, когда он сидит рядом, напряжение спадает. Я приписываю это хорошему биополю. В самом деле, если Аллан Чумак может заговаривать наши болезни, кивая с экрана телевизора, почему не поверить в биополе? Но возможно, биополе тут ни при чем. А дело в сочувствии, в том, что Арсений Александрович занимает меня. Например, рассказывает, как в двадцатые годы был в гостях у Сологуба, и тот, несмотря на юный возраст визитера и весьма ободранный вид, подавал ему пальто. Тарковский, разумеется, смущаясь, сопротивлялся, но безрезультатно.

А приятельница все не едет.

— Такая неточность — неуважение. Я всегда приходил на пятнадцать минут, на полчаса раньше. Топтался на лестнице или бегал под окнами, ну и что ж? Но приходиться надо вовремя.

— Наверное, что-нибудь непредвиденное.

— Я начинаю ее уже ненавидеть.

— Не надо. Она хорошая женщина.

— Ну, ладно. Посидим еще.

Второй случай посиделок был не так прост. Я ждала человека, с которым у меня подходили к концу очень тяжелые, очень давние отношения. Я сидела в нашем парке посреди великолепного июльского дня в совершенной тоске. Тоска почему-то усиливалась от яркой, не южной синевы неба. От того, что в этом небе, мне казалось, прощально березы полоскали свои тоже не южные струящиеся ветви. Разлука с человеком усиливалась предчувствием разлуки с тем, что мы зовем пейзажем средней полосы, русским.

И вот в этом моем сиротстве меня заметил Арсений Александрович. У него вообще было чутье на мои трудные минуты, часы, дни.

— Вы ждете кого-нибудь? — право, создавалось впечатление, будто я то и дело жду кого-то и притом безнадежно.

— Хотите, я посижу с вами?

Мы сидели под теми березами, в них было величие и вместе нежность; мы сидели под ними, почти не разговаривая. А если и говорили, то я не помню о чем. Вряд ли в таком состоянии я могла рассказывать о своем доме в Алуште. Вряд ли говорила о весеннем саде, еще лишенном пестроты и звонкости. О саде влажном и белом, по которому хорошо было идти, читая его строки:

О, только бы привстать, опомниться, очнуться,
И в самый трудный час благословить труды,
Вспоившие луга, вскормившие сады,
В последний раз глотнуть из выгнутого блюда
Листа ворсистого хрустальный мозг воды.
Дай каплю мне одну, моя трава земная...

Вряд ли. Вернее всего, мы перебрасывались отдельными словами. Но, возможно, он сам начал один из привычных своих рассказов. Рассказы были о том, как в отрочестве привели его, задержав на улице, к рыскавшей по южным степям очередной атаманше Маруське. Как та, отпустив с миром, угостила немислимой, самого что ни есть кустарного производством конфетой. И как мать, увидев наконец, живым, здоровым и даже облагодётельствованным родного сына, не испугалась задним числом за него, попавшего в такой переплёт. Но пришла в ужас от вида конфеты — весьма неэстетичного! А также от ее негигиеничности. «Выбрось сейчас же!»

— Дивная история, не правда ли? — спрашивал он и качал головой по поводу милых интеллигентских завихрений. По поводу того, насколько непрозорливыми насчет будущего были эти строгие женщины в черных юбках и белых, до поры до времени, крахмальных блузках...

Он посмеивался из сегодняшнего, из опыта, вместившего войну; репрессии; голодные годы; перетёртую солому того калининского госпиталя, где он кормил вшей и чуть не отдал Богу душу; просто борьбу за существование, которая несмотря на высокие заверения, все длится, длится, длится...

И сегодня, например, это борьба за то, чтобы одновременно получить двухтомник Цветаевой и «Мифы народов мира», что почти невозможно. Так ему и сказали в писательской книжной лавке, когда он с привычным трудом взобрался на второй этаж: или-или. Но ему необходимо, просто позарез нужно и то и другое! Он старался это объяснить, теряясь от неуверенных, просительных ноток собственного голоса, в волнении перебирая по прилавку руками. И неизвестно, что еще было ему худшим оскорблением: терпеливо угрожающие морщины дамы по ту сторону полированной или отполированной просителями доски или выложенные на эту доску книжки в дешевых, небрежных переплетах, книжки, о которых он точно знал: не литература. В лучшем случае эксплуатация темы, например, военной. А в худшем? А в худшем — то, за что платят, как за услуги.

«ОТ ГОЛОДА И СТРАХА»

...Еще был рассказ о безысходности смертоносного калининского госпиталя, в котором врачи и сестры пили, а раненые ползали по перетертой соломе, и ему уже сделали не одну операцию, отсекая ногу все выше. Тогда, понимая, что скорее всего живым оттуда не выйдет, он в отчаянии написал что-то больше десятка писем, обращаясь к самым влиятельным литераторам того времени. В письмах, разумеется, была одна просьба: выручить, сделать так, чтоб он оказался в госпитале в Москве. Влиятельные литераторы не ответили. У них была возможность сделать вид, будто письма не дошли. Этой версии они придерживались при последующих встречах, с театральной щедростью раскидывая объятия. Или, наоборот, здороваясь так, будто виделись всего какой-нибудь месяц назад, а войны и вовсе не было. Так получалось удобнее для них и не нюхавших войну. Или выезжавших на нее, как в гораздо более поздние времена выезжали на Байкал, на БАМ, в передовые колхозы, да мало ли еще куда.

Отозвался на это один только Фадеев. И помог².

Еще был рассказ о найденном кошельке.

Во время, которое именовалось разлука, мать в совершенном отчаянии отправила мальчика просить денег взаймы у знакомых. Это был не обыкновенно-бытовой акт, который и мы по сей день совершаем: «до получки». Во-первых, время было не то, и правила времени были не те. Во-вторых, «получки» не предвиделось. Следовательно, прося в долг от безысходности, от страха, в буквальном смысле, пропасть голодом, уповали на авось. А вдруг это «авось» не состоялось бы? Понятия чести были в семье высоки. Жизнь, хоть и почти нищая, во всяком случае скудная, продолжалась по этим правилам. Матери было настолько тяжело, что пойти сама она не решалась. К тому же мог последовать отказ, не менее мучительный для нее, чем все остальное.

Стоймя стояло без ветра, без надежды лето, жаркое, пыльное с рано выгоревшей травой. Такое, какое обещает новый неурожай, голод. Пыль лежала на всем: на листьях вишен, на одежде редких прохожих, на их лицах...

И вот среди этого оцепенения идет по улице мальчик в ремённых сандалиях, в рубашке, постиранной до ветоши. Идет и молит Бога, в которого верит истово; молит наивно, но о вполне конкретном: сделай так, чтобы мне не пришлось просить. А мать ведь сказала: он должен вернуться с деньгами. Он не может явиться: «не дали». Он не имеет права отнять у них последнюю надежду. Он...

И вот он идет по немощной улице. Пыль поднимается фонтанчиками вокруг его медлительных ног. Он все еще идет, и очень хочется, чтоб путь вел только в одну сторону, может быть, за край света. Денег все равно не дадут. Вернее, он все равно не сумеет попросить убедительно, прижимая руки к груди и объясняя, что другого выхода у них нет. Что они продали или променяли на съестное все, что было в доме.

Он вспоминает, как Христа ради просили еще недавно нищие у их крыльца. Как торопливо и щедро выносили им собранные с крахмальной скатерти стола куски хлеба или пирогов. Какое выражение озабоченности и дальней вины было на лице у отца. А мать все хотела еще что-нибудь прибавить к тому, что держала в руках кухарка. Сравнение себя с теми у крыльца казалось невыносимым и в то же время само собой напрашивалось.

Итак, он шел, постепенно тоже приближаясь к грани отчаяния. И вдруг прямо на дороге увидел кошелек. В кошельке лежали деньги, и находка, совершенно очевидно, оказалась прямым следствием его молитвы³...

Случай в этом рассказе, конечно, был главным, так же как желание описать силу слепой, не разглядывающей, детской веры. Но еще и степень отчаяния и выдыхающееся, выдыхающееся, за столько-то лет не выдохшееся возмущение тем, что человеку предложили, не спросив его самого, жить или умереть в нечеловеческих условиях.

Он рассказывал также о Балаклаве, о том, как в двадцатых годах, мальчишкой, спасаясь от голода, работал там в рыбацкой артели. И еще о лошади на войне, которую у него отнимали то ли из амбиции, то ли затем, чтобы ему стало хуже, трудней. Лошадь он подобрал где-то в прифронтовой полосе, не годную для другой службы. Но на ней все-таки было легче добираться до окопов. Правда у него были тогда две молодые, сильные ноги. И ноги хорошо носили его отнюдь не по тылам. Страха он не знал и лез туда, куда газетчику вовсе не обязательно было лезть. Но лошадь — это ему нравилось. Не только было удобно, нравилось. Не поэтому ли редактор⁴ так тупо отнимал ее? Удивительно, как иных вдохновляет возможность придавить, показать власть, хотя бы попытаться унижить...

Он и вправду удивлялся и смеялся то ли этому упорному своему удивлению, то ли не дававшейся отгадке...

В рассказах его, о чем бы они ни были, всегда присутствовало кольцо новеллы: начало и конец, замкнутые неожиданностью. Кроме всего прочего, недоумение относилось еще к тому, что вот он, сидящий в «красном уголке», и тот

мальчик были как-то связаны между собою. И юноша, пытавшийся узнать у Сологуба цену своим стихам, тоже одно с ним лицо. И фотографии свои Анна Андреевна Ахматова дарила тоже ему, тогда молодому, надменному от главной неудачи. И на калининской соломе лежал, надеясь все-таки выжить, он же.

Недоумение относилось, пожалуй, больше всего к тому, как длинна и как полна была жизнь, как многолика, что ли. Но и к тому, как проскользнуло, металось живо и даже дало ростки смуглое зёрнышко, миновав хорошо отлаженные жерновá, случайно просыпавшись мимо их хищного желания стереть. Может быть, даже в лагерную пыль.

Во всяком случае стереть все, что было в нем непохожего, собственного, отличающего. «Не положено», — и конец разговорам. И рассыпается уже набранная книга.

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР

Ожидание — не есть ли это естественная, наиболее частая позиция старого или хотя бы стареющего человека? В наших отношениях с Арсением Александровичем были несколько ступеней, как, очевидно, во всех отношениях бывает. Нет, вернее было несколько лестничных маршей. И я могу проследить почти все рывки, почти все взлёты. Так, накануне нового, семьдесят какого-то года случилось следующее.

Я поднималась по лестнице к себе в комнату, а в «красном уголке», тогда еще мною не освоенном, сидел в окружении слушателей Тарковский. Шли томительные, как бы уже ненужные часы перед праздничным застольем. Тарковский, тесно окруженный, чем-то развлекал собравшихся. Я поднималась по лестнице, перегибаясь через перила, прислушиваясь.

Слышу Арсений Александрович спрашивает:

— Так он писал темно и вяло,
Что романтизмом мы зовем, —

откуда это?

— Хоть романтизма тут ни мало
Не вижу я...

Продолжение строфы вылетело из меня раньше, чем я сообразила: а в самом деле, откуда? Но вот уже я сижу на диване среди потеснившихся, и публика занята тем, что

вступает со мной в соревнование. Я проиграю, если не смогу продолжить предложенные мне строки «Евгения Онегина». Занятие совершенно безопасное. Мои оппоненты, разумеется, будут предлагать наиболее расхожие, те, что у всех на слуху, а я когда-то в школе «выделилась», за летние каникулы выучив наизусть роман от первого до последнего слова.

Сделано это было не столько из любви к Пушкину, сколько из вполне невинной любви к молодому учителю истории. Надо же было чем-то обратить на себя внимание. Я росла книжной, к тому же тщеславной девочкой, и другого способа не знала. Надо сказать, что усердие мое восприняли, как неуместную выходку. «Зачем ей это? Летние каникулы потратила? Не могла заняться чем-нибудь стоящим?» А между тем, тогда, как и сейчас, все клялись в любви к Пушкину. Он после некоего перерыва опять принимал статус народной гордости № 1. Так же, как сегодня, был пронумерован и скреплён...

...Итак, я сижу в «красном уголке», улыбка победителя растягивает губы совершенно неудержимо. Проходящие, поднимающиеся по лестнице, перегибаются через перила:

— Что происходит?

— Да вот...

Вместо объяснения кивок в мою сторону. Вернее, в сторону, где рядом с Арсением Александровичем сидела я. Лицо у него было увлеченное, тоже торжествующее и, я бы сказала, светлое, при том, что он был изжелта-смугл. Но в такие минуты прояснялись глаза, разглаживались морщины, уходил куда-то за выпрямившиеся плечи, сваливался возраст. Торжество его, конечно, в первую очередь относилось к Пушкину. Пушкин побеждал! Но и я вызвала любопытство, стремительно усиливающее симпатию.

А те, кто включился в игру, просто наблюдатели, уже стояли вдоль лестницы. Это был час моего триумфа. Может быть, и самый прекрасный час в моей жизни. И все были в какой-то степени мне благодарны; то думали, как убить время до одиннадцати часов, а тут оно мчалось галопом.

....А во время праздничного ужина произошло следующее.

Сидели мы с Тарковским далеко друг от друга — в разных концах столовой. Вдруг, когда во второй раз подняли бокалы, вижу: встает Арсений Александрович и через весь зал идет, направляясь в нашу сторону. Не ко мне же? — думаю. Скорее всего к Дмитру Павлычко, у них хорошие отношения, давняя приятельская привязанность. Не ко мне же! — думаю я, следя за его тяжелым медленным приближением, слыша скрип протеза и стук палки. А так хочется, чтоб ко мне, чтоб

на виду у всего зала. Чтоб продолжилось, увенчалось то, что началось в седьмом классе, на летних каникулах. Я ведь понимала: если ко мне, то за «Евгения Онегина».

Не я одна — все смотрят: пересекается пустое паркетное, трудно поборимое пространство. И, что там ни говорит наша Лида, дежурная по вешалке, идет Поэт.

С самым нескромным, с самым заносчивым видом, может быть, даже с оттенком высокомерия могу сообщить: Арсений Александрович Тарковский шел ко мне, пожелать мне счастья в Новом году. И как показало дальнейшее, не только литературные победы в «красном уголке» были тому причиной.

...Иногда Тарковский по чьей-нибудь просьбе читал любимое им «Жил на свете рыцарь бедный». Почему настолько любимое, объяснялось иногда так: потому что кристально, потому что без метафор и прочих фигур. Но, наверное, еще и потому, что в стихотворении речь шла о безусловной и непроверяемой вере, к которой сам Тарковский стремился. А то и считал себя ею достойным. Так ли было на самом деле? Не знаю.

Об Анне Андреевне Ахматовой он говорил, что она, по ее собственным словам, верила, как простая кухарка. Думаю, для него это был все же недостижимый идеал.

Однажды с Пушкиным, любовь к которому сдвигала нас еще теснее, у меня получился конфуз. Все в том же «красном уголке», где случились важные происшествия предпоследних лет. В последние, когда там нет и никогда не будет Тарковского, я этот уголок обхожу — насколько это возможно в нашей тесноте. К тому же из красного, потёртого, слегка засаленного, обмятого и уютного он стал черным и вполне респектабельным. Привезли новые диван и кресла, обтянутые искусственной кожей.

Но то еще произошло в красном.

Опять-таки по чьей-то просьбе я прочла свое любимое:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине,
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне.
Сохраню ль к судьбе презренье,
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Но дело в том, что приведённые строки еще не все стихотворение, а только первая его часть. Обращено оно

непосредственно к Анне Алексеевне Олениной, а для нас, нынче прочитавших записки Олениной, невыносима доверчивость Пушкина. И вот я заявила не без апломба и во всеулышание:

— По мне так довольно первых восьми строчек, дальше можно было бы не продолжать.

Я сказала все тихо, ворчливо, в надежде, что Арсений Александрович не услышит. Но, как это часто бывает, человек с несколько ослабленным слухом, способен расслышать шепот, если он заведомо ему не предназначен. Не меняя позы, не поворачивая голову в мою сторону, вообще как бы не ко мне обращаясь, он сказал в пространство:

— Когда я что-нибудь не понимаю или не принимаю у Пушкина, я считаю — это мой грех, мой недостаток...

Было произнесено не то чтобы резко, но все же так, что я имела основание повторять: «Однажды Тарковский меня высек из-за Пушкина». Не без удовольствия я это говорила: Пушкин был мне куда дороже собственных амбиций.

Однажды я пересказала Арсению Александровичу разговор, произошедший между мною и весьма чиновной дамой, «заведовавшей» культурой чуть ли не в областном масштабе. Соль разговора заключалась в том, что дама заявила: «Пушкин и декабристы — моя страсть. Люблю и знаю только Пушкина, — и через паузу: — Ну, еще Асадова».

Тарковский не засмеялся столь странному сближению. Он сказал серьезно, печально, уже не удивляясь:

— Падение нравов. Это как раз и есть падение нравов. Рядом и даже вслед Пушкину он не ставил никого.

ПОЭТЫ

Лермонтов как будто не слишком его занимал. Кроме известной львицы с косматой гривой, он отмечал еще узорные шальвары, каких грузины никогда не носили. Но особенно почему-то его веселили строчки:

Я знаю, кем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал, как бешеный,
Татарин молодой...

Он не был придиричивым буквалистом, но тут предъявлял картинку, явившуюся чуть ли не в детстве. Молодой татарин непосредственно сам скакал (на четвереньках?) по бульварам. Конь был ни при чем, отдыхал где-то под чинарой...

Я не соглашалась, молча, неодобрительно, и Арсений Александрович тоже затухал. Иногда даже произносил: «Не знаю, может быть, я не прав?»

Что это было? Неосознанное желание еще больше обособить Пушкина? Тайная (от себя самого) мысль, что Лермонтов не дожил своих десяти лет, и неизвестно, как бы он их использовал? («Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Медный всадник» да и многое другое еще было впереди). А он, Тарковский, не хотел бы, чтобы первое место занимал поэт горький, развенчивающий? Жёлчный, а также несколько экзотический со своими многочисленными беями, со своим Демоном, наконец. Поэт менее, по его понятиям, национальный, менее обращенный к Богу? А если и обращавшийся, то дерзостно.

Не знаю, не берусь судить. Но из баек, сложившихся о Лермонтове, он, случалось, повторял и недобрые.

...О Некрасове отзывался с любовью. Возможно, любовь досталась в наследство от отца-народника. Однако в ней мне чудилась какая-то заданность. Так любят того, кого не перечитывают, чьими строчками не меряют состояние собственной души, погоду, пейзаж.

Памятью детства, пожалуй, он любил Некрасова. Отец его формировался в общественного деятеля в то время, когда Писарев, и не безуспешно, сбрасывал Пушкина все с того же корабля, мчавшегося под флагом требований времени. Если в доме у Ахматовой (разумеется, в детстве, когда она еще была Аней Горенко) единственной книгой стихов был сборник Некрасова, почему не предположить подобного в доме Тарковских?

Память детства у благодарных людей крепка и не хочет менять отношений. Не потому ли Тарковский во многих статьях, заметках, высказываниях подчеркивает любовь к Некрасову? В конце концов в этой любви — частица преданности отчужденному дому, идеям служения...

...Тютчева и Баратынского он вспоминал, помнил и перечитывал постоянно. Они были классики, но все же они сами писали дивные, божественные стихи. И тем оказывались доступны. Пушкину, Шекспиру, Данте, Гомеру — Бог диктовал. Как получается у Баратынского гармония, соразмерность, чистота стиха, можно было догадаться. Пушкина следовало принимать, не касаясь техники, не исследуя, не беря во внимание черновики: все равно, хоть много раз переписанное, добытое в мучениях — непосредственно от Бога. Почти что из рук в руки.

...Блок был, конечно, Поэт. Но в юбилейной статье Арсений Александрович, воздав должное, не удержался. Уж

больно не нравились ему такие реалии, как тонкий французский каблук, не просто незаконно проникший в стихи, но еще и вонзающийся в сердце автора («Добро бы — в грудь!»). А черная роза в бокале? О, это было как бы совершенно в духе городского душеспитательного романа и заставляло передёргивать плечами.

Татьяна Алексеевна бросилась ко мне как к арбитру:

— Я считаю, Арсюша не прав. И без него найдется, кому лягнуть Блока. Его и сейчас только что терпят, перекраивая всего-навсего в автора «Двенадцати». А вы как думаете?

Я думала, как она. Действительно, хрупко положение, если за два тома Евтушенко на черном рынке за просто отдадут полного Блока. Но, как он, я спотыкалась о черную розу и ухмылялась каблуку.

Между тем Блок жил в их с Татьяной разговорах постоянно. Возможно, даже чаще, чем пушкинские, вспоминались его строки, как и строки Пастернака. О Пастернаке, вспоминая его выступления, он говорил:

— Каково было *им* это слышать: «То прежний голос мой провидческий звучал, не тронутый распадом»? А? Как вам?

И кидал лукавый взгляд на окружающих, приглашая вместе посмеяться над «государственными» поэтами. Над кúцами их притязаниями... Над всем кордебалетом, который, кроме смеха, ничего и не заслуживал, исчезнув из обихода, чуть не при жизни *откликавшихся*. Эксплуатировавших тему.

О Пастернаке и Ахматовой говорил, что они предчувствовали, какой бедой обернётся их триумфальное выступление в Москве в 1946. Действительно обернулось: вышло известное постановление, так недавно отменённое...

Не это ли постановление сломало лучшие, маховые, поднимающие в высоту перья и ему? Испугало, отодвинуло? Можем ли мы сейчас подсчитать потери литературы, которые случились именно из-за этого постановления? А из-за того, что культурой правил Ильичев? Суслов?

Может, чье-то оперение было равно оперению Ники Самофракийской, и, следовательно, не рассчитано на борьбу из-за угла. На сопротивление доносам, на ужас безмолвия, просто на нищету? Которая наваливалась неотвратимо:

Юность я проморгал у судьбы на задворках,
Есть такие дворы в городах —
Поднимают бугры в шелушащихся корках,
Дышат охрой и дранку трясут в коробах...

...О стихах Анны Андреевны Ахматовой мы не говорили. Подразумевалось: она Поэт, и этим все сказано. Марина Цветаева — тоже Поэт, но сейчас, в старости, скорбное равновесие Ахматовой ему ближе, чем великий бунт. Или, может быть, Ахматова ему ближе потому, что отчаяния до конца у нее так и не было? Чисто по-христиански? Помните: грех отчаяния? Отчаяние осуждалось потому, что подрывало веру и опускало руки. И для созидательной религии неприемлемо.

Ахматова не могла разбиться, налетев грудью на жизнь. Хотя бы потому, что у нее была осознанная ответственность перед русской литературой. И та самая христианская вера.

Вот это мы проговаривали, а о стихах, о строчках — не помню разговоров. О самой Анне Андреевне он говорил: «Она была такая душенька». Что звучало странно, если вспомнить горбоносый профиль византийской царевны. Может быть, той — тоже по имени Анна — которую привезли к нам в Корсунь вместе с христианской верой? Тут еще то помогало сравнению, что Корсунь — это Херсонес, часть современного Севастополя, место, где Ахматова провела часть своей ранней молодости.

Итак, для меня — византийская царевна, брошенная в другой век вместе со своей непривычной, непохожей красотой. Настолько непохожей, что вызывала раздражение, казалась почти уродливой тем, кто эталоном считал Любовь Орлову, Валентину Серову и других, приманчиво скроенных по лекалам времени.

Для меня — византийская царевна, а для Арсения Александровича, помимо всего — душенька. Недоумение рассеялось, когда он, как-то позвав меня пить чай, показал несколько фотографий. Это были домашние фотографии. Анна Андреевна на них выступала в «три четверти» или в фас, что уже смягчало резкую выразительность черт. Лицо ее тихо светилось прелестью. Выпуклые скулки, трогательные провалы щек, незащитно поднятая над глухим воротничком шея. К тому же платье — темное в маленьких букетиках.

— Она хорошо ко мне относилась. Дарила мне свои фотографии, сначала молодые, — у него стал смущенный вид, как у мальчишка, который, потупившись, вот-вот начнет ковырять ладошку. — Да, сначала молодые, она стеснялась... Ну, а потом всякие.

Как он к ней относился, уточнять не приходилось. Это были: придыхание, восхищение и еще, пожалуй, сожаление, что они разминулись во времени и пространстве. Хотя все-таки не разминулись.

И тут я приведу несколько строчек из писем Арсения Александровича к Ахматовой.

«...Я очень благодарен Вам за статью (Статья Анны Ахматовой о пушкинском «Каменном госте». — *Е. К.*). Она нужна поэзии, у которой так мало прав. Вообще — я не знаю, что делал бы, и как мне неполно было бы на свете, если бы не Вы.

Сказав это, он (я) проваливается от смущения и неловкости, что наболтал столько туманных нелепостей по поводу, требующему только выражения простой и скромной благодарности.

Преданно целую Вашу руку

Ваш А. Тарковский».

...Простой и скромной благодарности за ее прочтение Пушкина?

Нет, я думаю, за ее царственное существование и царственное же слово. Писалось это 11 ноября 1958 года.

Второй отрывок из письма от 29 апреля 1961 года.

«А где «Гибель Пушкина»? Слава Богу, Вы пообещали ее читателю, теперь Вам придется ее дописать. Я очень, очень нетерпеливо жду Вашего приезда и не без эгоизма желаю Вам здоровья, сил и бодрости, и покоя, и того, чтобы Вы почаще слушали свою Музу — она ведь никогда не молчит, Вы просто редко к ней прислушиваетесь.

Мне очень плохо без Вас.

Преданно целую Вашу руку.

Татьяна Алексеевна кланяется Вам.

А. Тарковский».

...Но ведь началось наше знакомство с вопроса о Цветаевой...

Было пасмурное (не помню какое — осеннее? Зимнее?) время года. Стоял день из тех, когда оседающий каплями туман смешивает небо и землю. Тарковский сидел под сенью переделкинских колонн в какой-то немислимой меховой шапочке, какие шьют, кажется, в Якутии. Встречая их и раньше, я окрестила: шаманки. Удивительно не шла ему эта шаманка, старила. Скрадывала красоту и значительность лица.

Арсений Александрович спросил, ни к кому особенно не обращаясь:

— Кто бы мне объяснил, почему, чем дальше, тем больше ухожу я от поэзии Цветаевой?

Вопрос как бы завис в воздухе. Но что-то мне подсказало, ответ он ждет от меня.

— Я объяснить не смогу. Но зато перескажу объяснение одной молодой женщины. Двадцатилетней.

— Будьте добры, очень любопытно.

— И очень просто. Она мне сказала: у тебя на Цветаеву уже сил недостает.

— Это у вас — недостает?

Он засмеялся глазами, очевидно, отмеривая расстояние не только между мною и двадцатилетней. Потом помолчал и продолжил, как бы делая признание:

— Что вы думаете? Возможно, она права. По крайней мере — в моем случае. Очень может быть — права...

Цветаева для него тоже была Поэт с большой буквы, и даже больше. Но все воспоминания о ней, все ее клубящиеся, беспокойные или лучше — лишаящие покоя строчки, все свои долги перед ней — все это, вместе взятое, он спрятал в дальней комнате и закинул ключ в реку.

Правда, любопытно: была ли то река окончательного забвения? Или светлая в лучах и стрекóзах Ока? И можно было еще нырнуть, поднимая со дна этот самый ключ вместе с пригоршнями золотого песка?

«Можно, можно, да — нельзя», — как любил он говорить в иных случаях...

О НАРОДЕ

И тут настало время поговорить об отношении к народу (с народом?). Но уже в самой первой этой фразе заключена ошибочная предпосылка, ибо, если опираться хотя бы на сообщение Большого Энциклопедического Словаря, интеллигенция, точно так же, как рабочий класс и крестьянство, является составляющей народа. Однако же существуют простые люди, малые сии, отстоящие на известном расстоянии от поэта? Уже не говорю, от трагического Поэта. Но попробуй-ка, назови простым малым бастующего шахтера, который не без оснований диктует министру и снимает директора!

Проста Лида, которая точно знает, кто государственный человек, кто «наш Арсений Александрович»...

Проста бойкая женщина, с трибуны съезда заявившая что-то вроде того: «Вы нас сначала продуктами обеспечьте, а культура потом будет. Освоим мы культуру». Однако простота уже не является определяющим положительным качеством. Тем более, если вспомнить слова когда-то люби-

мой песни, где говорилось, как высокие горы сдвигает, меняет течение рек, по полюсу гордо шагает советский простой человек. Хорошо, что не все сдвинул, не все успел повернуть. Кстати, против этого глобального хулиганства с поворотом рек кто выступил? А писатели и выступили. Выступили, кроме все прочего, против губительной простоты то ли некомпетентных, то ли своекорыстных.

Итак, простому человеку сегодня — до полных прилавков и полного обеспечения квартирами — как он считает в своем трагическом заблуждении, культура не нужна. И, может стать, действительно, никакой, кроме что ни на есть массовой, ширпотребной, быстрого неаккуратного пошива, он и не воспримет. Но кто знает, не отнесутся ли и к нему впоследствии известные слова Ахматовой:

...Можете пока спокойно спать,
Сила — право. Только ваши дети
За меня вас станут проклинать...

Слава Богу, Ахматову не стёрли, новый читатель востребовал и Тарковского. При том очевидно: ту часть общества, которую Пушкин называл чернью, Тарковский любить не мог. Другое дело при смене ориентиров, кто стал ее составлять. Ну, хорошо, министра просвещения Уварова, «управляющего» культурой при Николае I, сменили Суслов, Демичев. Лучше ли они были? Уваров мечтал о том, чтоб затормозить интеллектуальное, да и техническое развитие России хотя бы на пятьдесят лет. О чем мечтал Суслов? Во всяком случае не о том, чтоб прибавилось читателей у Тарковского, и не о том, чтобы прочитаны были «Жизнь и судьба». Демичев, правда, передал такую просьбу Арсению Александровичу: пусть, мол, он напишет сыну, что в любое время его ждут обратно и будут рады возвращению. Тарковский написал и получил ответ. Тот самый, который и мы с вами могли прочесть, подписанный: «Твой несчастный сын Андрей». (Несчастный еще и потому, что хотя вслух вроде бы и не высказывалось, но усиленно внедрялось мнение: народу он не нужен. Так прямо во всем объеме: народу.)

У Арсения Александровича было уважение к истории, гордость (спокойная) тем, что преодолел народ, память о войне, которую он провел на фронте армейским газетчиком, появлявшимся непосредственно на передовой.

При мне не раз Арсений Александрович повторял: «Не люблю генералов». Подразумевались вовсе не военные, и не обязательно даже чиновники. Подразумевался тип человека, ощущающего себя генералом и — брюхом вперед — разре-

зающего толпу, в которой совершенно неразличимы отдельные лица. Умение различать именно отдельные лица выгодно отличало Арсения Александровича от многих из нас.

Я помню, как он целовал руку нашей подавальщице, благодаря за то, что она была внимательна. Или извиняясь за то, что утрудил ее, прося переменить гарнир. И ей, на ее больных, довольно старых ногах пришлось еще раз сходить на кухню.

Не было разрыва, не было желания поставить себя на другую доску. Не было плебейского старания доказать разность корней.

— Демократизм чисто фантастический, — услышала я однажды и такое определение поведения Арсения Александровича. У собеседника сломалась и скептически взлетела бровь:

— Демократизм? Он аристократ до мозга костей. И очень умеет не подпустить к себе.

Действительно, умел. Но сейчас не об этом умении речь. Сейчас о народе и о тех, кто всегда стоит между народом и поэтом со своим извечным лозунгом: «Это народу не нужно». Слышала я однажды:

— Пушкин — не народный поэт. Он, если хотите, поэт мирового значения, но — не народный. Мусоргский со своим «Борисом» — вот кто народен. И, между прочим, во многом Пушкина подправил и развил.

Но не менее наивен выступающий адвокатом:

— Как — Пушкин не народен? А сказки? А Наталья — купеческая дочь? А многие сцены «Годунова»?

К тому же в «Онегине» есть дворовый мальчик вкупе с крестьянином на дровнях. Есть явная симпатия к Пугачеву, есть дружба с няней и «Зимний вечер». Да мало ли еще чего по мелочам можно набрать... Но кажутся убогими эти попытки видеть народность только там, где действующими лицами выступают принадлежащие к податному сословию... А как же!

Пушкин, хоть и имел несчастье (неприличие?) родиться дворянином, простых людей не забывал, за что мы его и ценим. Но ценим мы его, между прочим, куда больше за могучую силу охвата всего сущего.

Большой поэт не может не быть историчным. Он бит временем и поднят им. И, стало быть, отражает его, даже когда страстно желает выпасть, вышелушиться из него. «Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был».

...Вот написала, осудила наивную подборку, подгонку под народность по отношению к Пушкину и вдруг почувствовала:

наносит осенним холодом со злой, быстрой реки, и слышен голос:

Петь бы мне, как поет плотовщик,
Побольней, потемней, победовой,
На плоту натянуть дождевик,
Петь бы, шапку надвинув на брови,
Как поет на реке плотовщик
О своей невозвратной любви...

Я вижу этого плотовщика, его брезентовый плащ, грубую кожу обветренного лица, сбитый, перетянутый тряпкой палец. Впрочем, так же я вижу девочку Аньку, умирающую в больнице; вижу иву над мертвым солдатом, который совсем недавно был колхозником, стал бойцом... (Именно эти слова стоят в стихотворении, нисколько не умаляя его поэтичность. А вы не ожидали от Тарковского? Так-то!)

Урожай в этой пристрастной подборке оказывается неожиданно велик. Но что интересно: постепенно вызванные (или созданные?) им образы начинают сливаться, при этом неудержимо, с самим поэтом. У плотовщика такие же жесткие с грубой проседью волосы, так же неприятно постриженные, разве что он зарос немного больше... Качается свет фонаря, уходит в беспросветную ночную даль железнодорожный обходчик, и вдруг оказывается: у него спина Тарковского, сутуленные, но широкие плечи. Он так же крепко, ладно сбит, даже лоб его так же костист и невысок.

А еще можно было набрать на несколько страниц множество отдельно рассеянных по стихотворениям примет жизни простого народа.

А впрочем, чему удивляться? Жизнь русского интеллигента всегда шла, если не в гуще народа, то в мыслях о его судьбах. И тем, возможно, отличалась от жизни элитарных слоев всех других государств. Да к тому же конкретная жизнь А. А. Тарковского бытовое своей стороной не то чтобы соприкасалась — входила в общую жизнь. Были в ней, как уже говорила, и голод, и карточки. А также: коммуналки, единственные брюки, доля фронтового газетчика, ужас ординарного госпиталя.

Много чего было по поговорке: «Как людям, так и нам». Даже протез, тяжелый, скрипучий, трескающийся, с заклинивающими шарнирами, у него был рядовой. Никто другим его не облагодетельствовал: ни фирма ФРГ, ни заокеанские ветераны. Ни тем более наши мастерские. Но, может быть, самое важное: он не просил себе исключения?

О ДОБРОТЕ

Нет, далеко не на всех распространялась доброта Арсения Александровича. Помню такой безобидный случай. Я должна была утром уезжать, а вечером накануне Арсений Александрович пригласил меня на чай. Татьяна Алексеевна утверждала, что чаем он любит поить решительно всех, но у нас в этом процессе заключалось нечто ритуальное.

Начиналось с вопроса: есть и зефир, и свежая пастила, не пойду ли я?

— Хочу с Овидием я брынзу есть, — традиционно отвечала я, делая ударение на первом слове.

Мы отправлялись в угловую мрачноватую комнату почти торжественно. На умывальник ставился убогий казенный стакан, в него опускался кипятыльник. Убогости я не замечала. Только краем сознания отмечала, что помогать Арсению Александровичу в его колдовстве решительно не надо. Движения были ловки, отработаны, неслышны, все получалось ко времени.

Пока заваривался чай, Арсений Александрович выдвигал ящик письменного стола, где хранились сладости. Иногда действительно свежие: «дивная пастила»; иногда — «окаменелости». Значения это для меня не имело.

...После того, как был выпит чай, Арсений Александрович прочел мне три стихотворения цикла «Как сорок лет тому назад». Наверное, это самые грустные его стихи. Стихи о первой любви, о ее незабвенности (незабываемости?)

Была обречённая любовь очень молодого человека, почти мальчика к очень молодой, но все-таки старше его женщине. Я не спросила тогда, за ними ли шла следом судьба, «как сумасшедший с бритвою в руке». Не до вопросов было: Арсений Александрович читал с глазами полными слез.

Как сорок лет тому назад,
Сердцебиение при звуке
Шагов, и дом с окошком в сад,
Свеча и близорукий взгляд,
Не требующий ни поруки,
Ни клятвы...

Он вспомнил это сердцебиение, а вернее себя, столь бесправного в своей еще ничего не значащей юности. И чужую силу, отнимающую то, что в счастливой, на мгновение данной беззаботности он уже считал своим.

Интересно, почему долгое время отодвигая Тарковского в сторону, втискиваясь между ним и читателем со сноровкой искусствоведа в штатском, иные заявляли: «Стихи его чисто

головные. Сконструированные. Он не умеет чувствовать»? Что было для них в то время чувство? «Любовь не вздохи на скамейке?» Или все же бессмертное обращение к качаловскому Джиму? Или затертое до полного неприличия *чуждое мгновенье*? Ими ли они отбивались от Тарковского? Я думаю: ничуть не бывало. Каждый старался ради себя или ради приятеля Алеши. У каждого были стихи, как они любили выражаться, написанные кровью сердца.

Но ведь и очерки они писали кровью сердца, и даже речи, которые сначала набрасывали на бумажке. И романы — точно так же... Только где они сейчас сии кровавые полотна, вернее — кирпичи? И где листки, на которых по пунктам обозначились требования: осудить, запретить, изгнать из рядов? И руки вздымались, и голоса стоящих за трибуной набирали трубную силу...

А тут...

...в городе звонят,
Светает. Дождь идет, и темный
Намокший дикий виноград
К стене прижался, как бездомный,
Как сорок лет тому назад...

...И он плакал, вспоминая пресный запах пыли, прибитой первыми каплями, и потом, когда дождь идет уже долго, запах луга, ворвавшийся в окна, и чувство восторга, и юную женщину со спокойным, верящим лицом... Господи! Во что было верить посреди вставшей на дыбы истории? В какие счастливые концы? Женщина та умерла через несколько лет от туберкулеза. В день смерти, ничего не зная о ней, он вдруг почувствовал какую-то непередаваемую тяжесть на душе. Лег, отвернувшись к стенке на удивление домашним, и не мог, не хотел объяснить им своего состояния. А потом ему сообщили, и получилось: именно в этот день умерла она, его первая любовь⁵.

Арсений Александрович, я бы сказала, не был чужд бытовой мистики. Совпадения, предчувствия, таинственные знаки его волновали. Или забавляли? Конечно, если не сопрягались с известием о смерти...

...А может быть, он плакал не о том мальчике, бредущем наугад подальше от непонимающих; не о том мальчике, в безмолвной боли прикусившем пахнувший дождем рукав? Может быть, он вспомнил себя, вернувшегося через сорок лет к месту действия, себя, еще полного сил и даже надежд? Сейчас ведь он был всего-навсего горький старик — во всяком случае в своем собственном минутном представле-

ни... Как раз в тот день он мне говорил о смерти, с чего я и начала свои воспоминания.

...Но я собиралась о доброте...

Возвращаясь с чаепития, я встретила своих знакомых, живущих в Доме творчества. Ребята они были приятные и дело делали полезное: один, например, поставлял журналам рискованные снимки диких животных. И писал нечто среднее между зарисовками и подтекстовками к ним.

Вот он и спрашивает:

— Где вы были? Мы вас по всему дому искали. Хотели напроситься к вам пить чай.

— Идемте, еще не поздно...

Расселись, вальяжно утонув в креслах. Рядом с фотографом — детская писательница, привлекательная молодостью, горделивостью походки и прозрачностью глаз...

— Так где вы все-таки пропадали?

— В гостях у Арсения Александровича.

— Он вам стихи читал?

— И чаем поил...

Теперь чаем пою я, и фотограф, неотразимый в неистовости молодого лица, в золоте стилизованной бороды, говорит своей даме:

— Ничего. Завтра я попрошу Арсения Александровича, он и нам прочтет.

Я хотела, было, предупредить: Тарковский не из тех, кто лбвит за полу случайно забредшего соседа... Да они ему и не соседи. Но что-то задерживает. А вдруг я ошибаюсь: станет читать, хотя бы ради их молодости? Молчу еще, потому что понимаю: злит меня эта самая молодость и возможность столь легкой замены; сегодня мне читают, завтра — им? Вот это:

Не белый голубь — только имя,
Живому слуху чуждый лад,
Звучащим крыльями твоими,
Как сорок лет тому назад...

Никакого «завтра», однако, не случилось.

Они разлетелись легко, как бы подразумеваемая безотказность не так уж избалованного публикациями. У Тарковского стало совершенно каменное лицо, как мне рассказывали. После нескольких бесцеремонных приступов, он встал со словами: «Извините, у меня что-то голова разболелась...»

Да, он не принадлежал к любителям читать свои стихи. Ему не надо было проверять их на публике. Или, возможно, он боялся увидеть непонимание, как боишься увидеть его по

отношению к собственному ребенку? А тут по радостно не видящим ничего вокруг глазам, горящим жаждою obsługi, понял: проявляют настойчивость единственно ради того, чтоб потом в разговоре бросить: «Нам вчера Тарковский весь вечер стихи читал»... Но книги его в руки после этого не возьмут, как до того не брали. А если и возьмут — зачем?

Сколько раз я слышала шлепок захлопнувшихся страниц и восклицание: «Зачем это? Ничего не понятно!» Кто восклицал? Скажу вам с большой горечью: учителя, в том числе преподающие гуманитарные предметы. Самое страшное, что они говорили не «Зачем это мне?», а «Зачем это печатают?»

По возрасту они могли бы стать детьми оттепели, стали теми, кого направил по нужной ему колее жизнерадостный человек Никита Сергеевич Хрущев, легко зачислявший кого ни попадя в абстракционисты.

Я представляю: случись у него в руках книжка Тарковского, не то что захлопнул бы он ее, а просто отшвырнул. В стенку бы запустил: «пудрит, понимаешь, мозги, мудрит». А ведь известно: вкусы первого лица не подлежат корректировке и охотно перенимаются.

НЕМНОГО О ДРУЖБЕ

В старости теряют друзей самым естественным образом. Они отстают, задержанные своею немощью, умирают. Окружение все более омолаживается, в этом, кроме всего, надежда.

Георгия Ивановича Куницына Тарковский просто любил. Иногда говорил так:

— Георгий Иванович, идемте играть в шахматы: вы будете играть, а я смотреть на вас.

Георгий Иванович сидел большой, сильный и этой своей силой и спокойствием позы все окружающее тоже как бы успокаивал. Руку над уменьшившимися фигурками поднимал медленно, огромная рука зависала в воздухе.

Когда-то Георгий Иванович бурно содействовал тому, чтобы в свет вышел «Андрей Рублев».

— Этого я вам забыть не могу и уже никогда не смогу, — смущал его Арсений Александрович, глядя как-то даже странно ласково. Странно именно из-за этой медвежьей огромности Куницына.

Лицо у Куницына было грубо высечено, черты резкие, а взгляд и вся манера держаться — добрые, мягкие. Только ли благодарность за сына располагала к нему Арсения Александровича? Я думаю, нет. Я думаю, прежде всего Тарков-

ский видел к нем человека высокой порядочности, во имя этой порядочности отказавшегося от значительного поста и многих привилегий. Что ж, сейчас, защитив докторскую, преподает в училище вовсе, кажется, не подходящем для его общественного темперамента — в Гнесинском. В другие не пускают, что ли?..

Не сумел вписаться, согнуться, скрыть свои размеры, убеждения — это привлекало. Может быть, привлекала еще образованность, добытая с трудом, напором, бессонными ночами, огромной памятью и работоспособностью...

Появление Георгия Ивановича в Переделкине всегда радовало, оживляло Тарковского так же, как появление Нины Александровны Бать. С Ниной Александровной дружила и Татьяна Алексеевна, знакомство завязалось давно, лет двадцать назад перешло в дружбу.

Нина Александровна была из тех легких (при всех тяготах жизни), прелестных женщин, которые, старея, никак не отказываются от привычек и манер молодости. Кое-кого из окружающих это неминуемо раздражает. Нас с Арсением Александровичем — очаровывало...

Вот однажды Нина Александровна приезжает с последней прогонной репетиции «Чайки». В театр провел ее сам Щедрин (знакомый юности). Приезжает, возбужденная этим фактом и увиденным. Впрочем, балет вызывает слегка ироническое отношение у нас с Тарковским, хотя даже репетиции мы не видели и отлично знаем: не увидим никогда. Нина начинает объяснять, как же все-таки удалось из «Чайки» с ее пиджаками, белыми крахмальными платьями до полу и весьма реалистическим сюжетом сделать балет.

Начинает, естественно, словами. Но уже через несколько минут она посередине комнаты: трепещет ручками, делает какие-то па ножками. Вот она как бы сама Чайка, вокруг которой все вьртится. А вот она одна из тех сереньких в крапинку кúрочек или цесарочек, бог весть, которые составляют враждьбный Чайке обывательский фон.

Балет, с очень немногими признаками классического, и нравится ей и поражает воображение, и дает повод для той же иронии.

Нина прелестна в своих движениях, передразнивающих увиденное, остра в примечаниях к действию — мы хохочем до слез, до невозможности остановиться. Решительно, она нам дарит наслаждение, какого, возможно, мы не получили бы, даже попав в театр. Впрочем, это наслаждение совсем иного рода. Искусство пересмешника, конечно, важно. Но еще важнее обаяние этой маленькой, ладной, рыжей женщины, и наша к ней любовь.

Было время, Татьяна Алексеевна, Нина и Арсений Александрович часами бродили по переделкинской усадьбе, играли в слова. Разные это бывали игры. Например, такая: искалась пара. К слову перл — перловка, к слову лом — ломака, к слову... Нет, их находок я не помню, а самой придумать ничего интересного по сопряжению далеко стоящих друг от друга понятий — не умею.

Заводилой, вдохновительницей была Татьяна Алексеевна. Тарковского долго расшевеливали, увлекали, подначивали, пока он входил в игру, сопротивляясь, как взрослый детям. Я тоже играла в слова, позднее, в дни нашей дружбы. Моя игра была шарады.

Татьяна Алексеевна рассказывала между прочим, как готовили шарады у себя на даче, в Голицыне, переводя игру словесную в некое театрализованное действие, как было принято в девятнадцатом, в начале двадцатого века. Однажды (очень давно) особенно волновались, ждали из Москвы друзей, а друзья были известные актеры (кто именно, я не помню). Но и перед ними лицом в грязь не ударили. Главный успех выпал слову «три-кота-ж». Маленький Алеша, сын Татьяны Алексеевны, вдохновенно показывал попку, которая должна была намекать на последнюю часть шарадного триптиха.

«Подумать только — Алеша был маленьким!» — оживленное лицо Татьяны Алексеевны сразу туманилось. Может быть, из-за того, что невольно отмечала, сколько же лет прошло, отодвинуло от нее то счастливое Голицыно. Алеша был маленьким, она молодой, Арсений Александрович писал стихи о любви, и это была их любовь⁶. В доме, начиная с осени и всю зиму, пел сверчок. А летом во дворе цвел огромный, круглый куст шиповника. Куст гудел пчелами, как гудит концертный рояль, когда никто не касается его клавиш, просто приподнимают крышку.

...Ревичи были друзья давние, но из молодых. Можно было бы сказать: из другого поколения. Но Алик прошел войну еще тяжелее, чем Тарковский. Правда, остался с ногами.

Александр Михайлович был Алик, что, очевидно, давало ему право называть Арсения Александровича Арсиком. Но мне это предстало вёрхом неприличия. Я невзлюбила Ревича сразу, возможно, именно за фамильярность, а вернее — ревнуя. Когда должны были приехать Ревичи, так просто — навестить, Татьяна Алексеевна оживлялась приметно. Предстояли свежие разговоры о делах издательских, об общих знакомых, об успехах и неудачах переводчиков.

Предстояло несколько часов пробыть в атмосфере живой жизни, злой, трепещущей хоть и неосуществимыми желани-ями. Сейчас, рассмотрев хорошенько и их самих, и их отношения с Тарковскими, я Ревичей люблю. Во-первых, за их участие, во-вторых, за те могучие токи спорщика, про-светителя, поэта, которые исходят от Александра Михайло-вича, Алика. И за ровную приветливость, читательский талант Муси — его жены.

Я представляю теперь, как они, всегда оживленные, напичканные новостями, остроумные, молодые, то есть еще вполне в силе, быстрые, свободные в движениях, как они были необходимы Тарковскому, Татьяне Алексеевне.

Когда Алик хохотал, раскатывая смех по всем коридорам Переделкина, сам невольно начинал смеяться, хотя и не находил стоящей причину веселья. Но не только смеялся, сам становился остроумнее, иногда злее на словах, горазд на выдумку, на анекдот, байку. Сами собой придумывались прбзвиза, закреплялись, очевидно, теперь уже на всю оста-вшуюся жизнь.

...Еще я наблюдала расположенность, даже какую-то смягчённость Арсения Александровича по отношению к Дмитру Павлычко. Впрочем, сам Павлычко отвечал ему неизменной нежностью. В отличие от Ревича — почтитель-ной. Дмитро Васильевич в детстве получил патриархальное воспитание, и это пробивалось в нем сквозь всю современ-ную раскованность. И может быть, было особенно симпати-чно Тарковскому, вполне годившемуся ему в отцы.

...Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на счете остается...

И все меньше того обхождения, разве что среди ровесни-ков. Но и ровесники переняли манеру надрывно требовать, одновременно занудно жалуясь. И ровесники утратили нето-ропливость, и ровесники трясут руками в споре.

А тут певучая, разумная речь, желание выслушать. Нет, я решительно понимаю, почему Тарковскому нравился Дми-тро Васильевич... Тут еще и то имело значение, что детство и ранняя юность Тарковского прошли на Украине и ни язык, ни культура народа не были ему чужими. Так что стихи Павлычко он мог и без перевода оценить в полной мере. И оценка была достаточно высока. Кроме того, среди совре-менных поэтов Дмитро Васильевич отличался вполне открово-ненным стремлением к знаниям, чем и зарабатывал себе врагов. Как ни странно, сие естественное стремление многих раздражает. «Я не владею, так зачем он мне глаза мозолит?

Ишь — понабрался!.. А, между прочим, такой же крестьянский сын».

Думаю, Арсению Александровичу совершенно все равно было, кто перед ним: интеллигент в первом поколении или впитавший уже какой-то запас культуры с молоком матери. А чтоб доказать это, я приведу здесь одно из лучших его стихотворений.

Взглянул я на руки свои
Внимательно, как на чужие:
Какие они корневые —
Из крепкой рабочей семьи.

Надежная старая статья
Для дружеских твердых пожатий;
Им плуга бы две рукоятки,
Буханку бы хлебную дать.

Держать бы им сердце земли,
Да все мы, видать, звездолюбцы, —
И в небо мои пятизубцы
Двумя якорями росли.

Так вот чем наш подвиг велик:
Один и другой пятерик
Свой труд принимают за благо,
И древней атлантовой тягой
К ступням прикипал материк.

...Не знаю, с кем и как Арсений Александрович дружил, когда у него было другое лицо, то, что вы можете увидеть в Литературной Энциклопедии, а также открыв книгу «Земле — земное». В этом лице нет доброты. И горечь еще не растворилась в поздней мудрости. Спокойствие его — «перед снегом». Да, перед самым снегом, но еще сквозь упавшие листья пробивается особенно яркая осенняя трава, воздух еще дышит запахом грибницы, и на реке плотовщик поет о своей невозвратной Любви.

Человеку еще многое подвластно, кроме мыслей и слов, кроме влажного биения рифмы. Тот человек наверняка дружил иначе, чем мой добрый знакомый, а может быть, и друг Арсений Александрович Тарковский. И однажды я сказала ему:

— Какое счастье, что я не встретила с вами в ту пору.
Не уйти бы мне живой...

— Почему? — Он был искренне изумлен или по крайней мере сделал вид, что искренне изумлен и вовсе не понял моего намека.

— Хотя бы потому, что вам тогда нужны были победы одна за другой, одна за другой...

Я немного дразнила, конечно. Но он не стал протестовать, как-то повел взглядом, будто ревнуя самого себя, сказал:

— Да, не много я могу теперь предложить...

Для дружбы было вполне достаточно.

Подошла Татьяна Алексеевна, спросила:

— Вы идете в бар? Привезли яблоки.

— Иду.

— А меня не ждите, милые дамы, я на минуту зайду к себе.

Мы с Татьяной Алексеевной уселись на вертялые насесты, я, было, начала заказывать, но она остановила меня, придерживая за рукав.

— Сейчас придет Арсений Александрович и все уладит. Не отбивайте у него хлеб.

Через несколько минут мы сидели в прекрасной тесноте, человек пять или шесть вокруг столика, рассчитанного на троих, задевающих друг друга локтями... Ревич с упоением вспоминал набег Арсения Александровича на кого-то из секретарей Союза писателей, когда дело кончилось тем, что палка Тарковского хорошо погуляла, разбрасывая по столу бумаги начальства.

Тарковский слушал тихо, без реплик, отстранившись от событий и страстей, как будто речь шла не о нем. Он вообще был тихим в этот вечер. Все пили сухое вино, себе и мне он наливал сладкое из принесенной с собой бутылки. Бутылка была особая, старинная, с музыкальным секретом, темного красного стекла — подарок.

— Сухое я пью только с сахаром...

— Лучше всего — с содой, — он сам засмеялся шутке. Но вид у него стал такой, будто, произнеся эти слова, он медленно отмеривал расстояние между собой и тем человеком на фотографии в сборнике «Земле — земное».

.. Мне кажется, человек, подходя к старости, все больше обретает себя первоначального, естественного. Стирается то, что нарисовала жестким своим гравировальным резцом эпоха; что задерживают привычки, муштра; что дает стремление, пусть и бессознательное, создать образ, вживить его в восприятие окружающих.

Я думаю Бог, не покусившись на талант, сделал душу Тарковского слишком легко уязвимою, и тот всю жизнь вынужден был, сопротивляясь, наращивать на себе латы. Латы иронии, сарказма, чего еще? Не знаю...

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Что же касается ожиданий, было главное: ждать Татьяну Алексеевну, укатившую в город. Татьяна Алексеевна говорила: «Только за рулем и на хорошей скорости я по-настоящему отдыхаю».

Однажды я нечаянно услышала разговор; молодой, то есть сорокалетний, говорил другому, тоже сорокалетнему: «Я, конечно, понимаю — не двадцать пять, но походочка, эти бриджи, сапожки. Эта серебряная прическа. Маркиза!» Так говорилось о женщине, которой было за семьдесят.

Одно из самых приятных воспоминаний. Позднее утро, столовая. Я задерживаюсь: хочется дождаться прихода Татьяны Алексеевны. Она появляется. Королева в изгнании, нанизавшая на жесткие, худые пальцы все оставшиеся драгоценности (в данном случае вовсе не драгоценности — подарки, серебряные перстни на память). Лиловый халат, на плечах лиловая, связанная невесткой шаль. Женщина в лиловом легка, как крыло бабочки, давно оторванное, полежавшее на солнцепёке, но все не утратившее своей экзотической красоты.

Лицо, даже в эти утренние минуты, у нее напряженное, сосредоточенное на чем-то очень важном, что решается сейчас, пока она идет к столу. О чем она думала? О каком-то абзаце своего перевода? О еще не решённой судьбе «Унесенных ветром»? О состоянии Арсения Александровича? Или постоянная забота занимала: замкнуть все без остатка внимание его только на себя? Но села за стол и начался разговор, который дамским никак не назовешь. Щёбета не было. Если надо было кого-нибудь сразить, применялись не стрёлы — копьё.

О чем говорили? О том, как мучительно долго, чуть ли не с довоенных лет, она вместе со своей приятельницей-переводчицей пыталась внушить ТЕМ — ОТ — КОГО — ЭТО — ЗАВИСИТ, что надо издать «Унесенных» на русском языке, хотя бы потому, что весь мир эту книгу читает. Ей отвечали, по-разному обосновывая отказ. Ни один из отвечающих, разумеется, не владел языком романа, следовательно, не читал...

Однажды я пожаловалась Татьяне Алексеевне на то, что приходится очень много работать. «Радуйтесь. Что вы станете делать без работы? Я с ужасом думаю о том, что моя кончается. Будет ли следующая?» Татьяна Алексеевна считается одним из лучших переводчиков с английского. Следующая, и еще следующая, и еще следующая, и еще следующая работа у нее были. Память ее изумляла. Арсений

Александрович, запоминавший безо всякого труда в преклонном возрасте любое поразившее, а более — насмешливое стихотворение, говорил:

— Я ничего не помню. Танечка помнит все. У Танечки — дивная память.

Однажды Татьяна Алексеевна вынесла к завтраку пестренький, кустарно переплетенный томик. Стала читать стихи:

— Отгадайте, чьи?

— Как — чьи? Тарковского. Только я их слышу первый раз.

Читались стихи из «рассыпанной» книги. Они были узнаваемы по жесткой прозрачности, по прелести, перенесённой из девятнадцатого века, по присутствию степной, полынной горечи...

Горечь, горечь, кому она была нужна во дни физкультурных парадов, вздымавших имя вождя и его портреты! Собственно, о чем горечь? И кто посмел ощутить ее, когда все сплошь заливала торжествующая маршевая волна? Короче: «Кто там шагает правой?»

Вот что удивительно: к гибели первой, уже, было, набранной в довольно отдаленные времена книги Тарковского причастна была критикесса и литературовед, которую в непонимании истинных поэтических ценностей обвинить трудно. Юная приятельница другого трагического тенора другой эпохи, как могла она в зрелые, а затем старческие лета свои не определить цены стихам Тарковского? Вернее всего — определила. Но что заставило бороться не за них, а против? Просто хотелось шагать в том же ритме, в каком шагал Лебедев-Кумач, возможно, самими генами определенный в оптимисты? Или что-то личное, не разгаданное ни самим Тарковским, ни тем более мною, язвило душу?

Когда она появлялась у нас в Переделкине, устрашающе старая и вся, от обильных волос до девичьей осанки, сохранившая следы былой красоты, Арсений Александрович менялся в лице.

— Не здоровайтесь с нею! Почему вы ей поклонились? Она очень плохой человек!

И жался, жался в угол дивана, вероятнее всего, слегка напоказ демонстрируя свой нынешний ужас перед вздрагивающей фигуркой в теплых детских ботинках.

Я думаю, куда легче преследование своих стихов он простил бы парням, упоённым предчувствием мировой революции. Или еще каким-нибудь парням, в чью искренность он бы поверил. Но тут пахло предательством или сведением счетов.

...Татьяна Алексеевна говорила: «При всей своей принципиальности, Арсюша очень покладистый человек. Особенно в быту».

Быт их в последние годы почти постоянного пребывания то в Переделкине, то в Матвеевском доме кинематографистов, если можно так выразиться, был весьма приблизителен, включен в известной мере в общий поток. Шаг вправо, шаг влево трудно было сделать: завтрак с 9 до 10, обед с 2 до 4, ужин с 6-30 до... И длинный, длинный коридор, по которому идешь, как по тропе среди джунглей — на водопой. И всегда вокруг тебя — люди. Здравуются, улыбаются, слушают, говорят, просят, благодарят, привозят: свои стихи, твои фотографии, подарки, своих детей и жен, дефицитную обувь, настоящее украинское сало, бело-розовое и нежное, как красотики Ренуара... Наверное, это бывало тяжело: всегда люди. Но как бы они себя чувствовали без этого внимания, слегка назойливого участия? Я думаю — хуже. По крайней мере — Татьяна Алексеевна. Уж не говорю о необходимости вести хозяйство, что было бы совершенно не по ее силам... Арсений Александрович мог уйти в себя. Или мне кажется — мог? А ей определенно нравилась роль первой леди. То есть, как и положено, первую леди или королеву, что по сути одно и то же, играли мы, окружение, и от этого получали истинное наслаждение.

Для меня главной прелестью в Татьяне Алексеевне были не острый язык, не едкость суждений, а ее отличная от обычной, современной, образованность. Огромное количество, я бы сказала, осмысленных сведений, которые удерживала память.

Были у Татьяны Алексеевны черты редкие, которым я завидовала от души. Так помню великолепный случай. Мы стоим, покорно толпимся перед закрытой изнутри дверью нашего бара. Знаем: привезли минеральную воду, фрукты. А кому-то и просто хочется выпить кофе. И этот кто-то робко скребётся в дверь. Но там, за дверью, своя жизнь и в ней мы — всего лишь досадная помеха. Хорошо бы жуировать этой жизнью и вовсе без нас, без наших книжек, без наших претензий, без необходимости нас же еще и обслуживать, бездельников, целый день сиднем сидящих на всем готовом над своими страничками...

Притерпелось. Мы ворчим, но тут же уговариваем себя: ничего особенного не происходит. И в самом деле: везде так. О каком достоинстве речь? «Лишь бы не было войны». Нет, мы не произносим эту удивительную присказку, столько лет убаюкивающую нас. Мы говорим о том, что вот есть кресла, можно посидеть, к чему закипать.

Но тут, тяжело дыша, по лестнице поднимается Тарковский. Он тоже подходит к закрытой двери, он тоже стоит минуту, две, а потом начинает колотить в дверь палкой. Все расступаются осуждающе. В самом деле — к чему? Ну, занята наша курносая, расторопная буфетчица своими разговорами с коллегами — можно понять. Неужели же так уж надо выходить из себя?

Все думают о терпении и раздражительности. Может быть, о хорошем и барском воспитании, о правах нашей obsługi, наконец. Никто не хочет думать о гордости, о том, что мы стоим, униженные небрежением, разве только перед этой дверью? Что эта дверь — не больно и надо! — в сравнении с дверями издательств? А с дверями комиссий по распределению жилья? А с дверями, за которыми решают, получишь ли ты путевку, хоть и в это самое Переделкино? Право, если мы там смирились, прогибаемся с искательной улыбкой, то стоит ли из-за пустяков шум поднимать?

А он поднимал, колотил палкой отнюдь не просительно и не вопросительно — требовательно и зло. Лицо, обтянутое вдруг заблестевшей кожей, было совершенно отъединившимся от покорной толпы. А за дверью, между тем, не откликнулись. Я могу себе представить, что там прозвучало: «Ладно, не обращай внимания, скоро устанет». А могли и так спросить, вскинувшись на первый звук: «Кто это так разошелся? Тарковский со своей палкой? А еще образованный, а сам — дебошир какой». И плотнее уселись на круглых, вёртких сидюшках перед прилавком. О нас ведь давно сказано: «Интеллигентники кричат, стучат, а что они, в сущности, могут?» Наша гардеробщица Лида тоже была там, за дверью, божьей коровкой вознесённая на круглой табуретке. Она, наверное, сердобольно сморщилась. «Давайте быстрее закруглимся: Арсению Александровичу стоять трудно».

Признаться, я в тот момент поведения Арсения Александровича не одобряла. По мне было лучше отстранение, холодное презрение к суете, всегда сопровождавшей любой распределитель. А потом я испугалась за самого Тарковского, уж очень он напрягся в неистовстве. И после неудавшейся попытки урезонить его своими силами, помчалась за Татьяной Алексеевной.

Она между тем уже шла, совершенно спокойно слушая удары, доносившиеся сверху, и мои объяснения. Лицо — сосредоточенно-надмённое.

— Но это в самом деле возмутительно, а он — мужчина. И пусть колбтит, пусть возмущается по-мужски...

Тут дверь, наконец, открыли и дальше пошло — традиционное кофепитие.

А потом, когда мы с Татьяной Алексеевной остались вдвоем, случился такой разговор.

— Вы совершенно напрасно хотели остановить Арсения Александровича в его чисто мужском порыве. А я, наоборот, поддерживаю. Я, например, страшно рада была, когда он в кабинете одного нашего генерала от литературы палкой смел бумаги со стола и высказал все, что он думает о секретариате и его прихвостнях. А вас сегодняшнее как будто огорошило?

— Огорошило.

— Вы что, считаете терпение добродетелью? Арсюша в иных случаях склонен терпеть. Но я стараюсь, чтобы он не впадал в это состояние.

— А если отойти в сторону?

— Мы и так в стороне... Зато посмотрите, кто правит бал...

НИЩИЙ ЦАРЬ

«Нищий царь» — это наиболее часто встречающееся самоопределение того, кого мы в соцреалистическом стеснении скромненько, с некоей ужимкою определили — лирический герой. И от той же застенчивости, по-девичьи подводя головку к плечу, решительно размежёвывали его с автором. В самом деле, мыслимо ли, чтоб наш простой советский автор называл (отождествлял?) себя с царём, хотя бы и нищим? Или — тем более с нищим? Нет ли тут, кроме всего прочего, намека на обобществление ценностей?

В нынешние времена лирический герой вроде бы приказал долго жить. Или, возможно, укрылся в школьных учебниках. Выскакивает из-за ширмы на уроках литературы? Ведь в самом деле: учителя, даже самые молодые из них, воспитывались на том, что надо скромненько, скромненько, если можно, еще скромнее!

Даже Пушкин, как известно, наша гордость, «наше все», именовал себя всего лишь пророком! (Правда, тут получается промашка, школьной программой не предусматривается: «Ты царь: живи один», — рекомендовал Александр Сергеевич Поэту. Не его ли достаточно горьким наставлением воспользовался Арсений Александрович?)

Но мне он, лирический герой Тарковского, а скорее сам поэт представляется князем. С царем я не согласилась, очевидно, из-за слова *царить*. «Он *царил* над...» Тарковского я не представляю *царящим* «над». Впрочем, нищий царь это, вероятно, что-то вроде короля Лира. И не важно, кто отобрал, кто заставил гнуться под проливным дождем или степным ветром в судьбе, равной судьбе своего народа.

Итак, Тарковский представляется мне скорее князем, впереди своей дружины. Все на конях, у края земли над морем. Он сам создал и представил нам этот образ.

Я век себе по росту подбирал.
Мы шли на юг, держали пыль над степью;
Бурьян чадил; кузнечик баловал,
Подковы трогал усом и пророчил...

И дальше:

Мне моего бессмертия довольно,
Чтоб кровь моя из века в век текла.

Зеленая, чуть привядшая шкура земли, еще не вытертая цивилизацией. Цветет пижма желтым, грубым, первобытным цветом. Зато медуніца нежна, и чуть вялые листья ее отдают голубым. Нечто призрачное заключается в разморённой зноем степи, в этом колдовском, нарочно придуманном стрёкоте кузнечиков... Марево висит, нависает, подчиняет себе... Марево струится, путает расстояния, времена. Доспехи изукрашены сурово и богато, но они убийственно просты, если сравнить с теми, какие нам показывают со всевозможных экранов.

А лицо человека, вырвавшегося чуть вперед к самой кромке рыжего обрыва, вы можете увидеть, развернув так называемую Литературную Энциклопедию на соответствующей странице. Оно так чётко, так совершенно, что его красота кажется по крайней мере несовременной.

Оно создано для того, чтоб показать, как человек может быть значителен умом и благородством. А доброты в нем нет. Есть горечь познания и предвидения. Доброта, все понимающая, но далеко не все принимающая, придет много позже.

Так, по моим представлениям, на мощном коне у самого моря, мог выглядеть князь Андрей Болконский, доведись ему дожить до сорока с лишним.

...Однажды мы были в гостях у Славиных. У того самого Славина, который написал неувядающую «Интервенцию», и у его жены. Дача их стояла, собственно, на территории Дома творчества — идти не долго. Сидели на маленькой, уютной и ясной веранде. Там же стоял волшебный шкафчик. Он был старинный, без всяких претензий на «богатство», хотя хранил в известном смысле сокровища. В нем были расставлены перед линейкой книг фотографии литераторов двадцатых и тридцатых годов. Многие из них, из легендарных имен, вошли в быт хозяина дома, одного из последних, оставшихся

еще на этой земле... Большеглазые молодые лица, худые щеки, косоворотки, кепи... Я рассматривала их с плохо скрываемой жадностью. Тарковского на тех фотографиях не было.

И вдруг он кивнул в сторону большого зеленого тома советского Энциклопедического словаря:

— Лева, покажи Елене Георгиевне, что там обо мне написано.

Лев Исаевич нашел нужную страничку, подвинул ко мне тяжелую книгу. В ней было: «Тарковский Арсений Ал.-др. (р. 1907), рус. сов. поэт, переводчик. Сб. лирики «Перед снегом» (1962), «Земле — земное» (1966), «Вестник» (1969)».

Не много. Однако Арсений Ал.-др. сидел, улыбался довольный... Вот почему только вспомнил о Словаре сразу после того, как прозвучало имя весьма преуспевающего? Или преуспевающий был ни при чем? Толчок дало то почтительное и удивленное внимание, с каким я рассматривала старые фотографии?

А не отдает ли это тщеславием? Суетой? Мол, время рассудит?

Боже мой, как, говоря о поэте, мы легко соглашаемся с тем, что «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Как любим отделять творения от творца. Будто суть в одной только божьей искре, а все страдания, все падения, все взлеты, все сняжки, все бессонные ночи, все кусты шиповника, все женщины, в которых с таким отчаянием и ему самому странной надеждой поэт ищет утешения, — все это не имеет никакого значения за порогом частной жизни. Будто не через эти завалы пробивается уже готовая, кристально совершенная строчка. Или другая — похожая на нечленораздельный звук рыдания. Будто боль можно изобразить, не почувствовав, будто сказать умно может и глупец, так ни за что, только в счет удачи награжденный упомянутой искрой...

Да, тщеславие, обида, жжение в груди живут и в них. Только после смерти или официального признания это зовется: высокое осознание своего творчества. Пушкину и то разрешили эти чувства лишь после того, как отпели почти тайком в Конюшенной церкви, как закопали, сопроводив согласно предписанию обычным для похорон дворянина обрядом, но отнюдь не какими-нибудь особенными изъявлениями всероссийского горя.

А тут сидит очень уже не молодой, но живой, совсем живой человек; смеется, светлым, карим, лукавым взглядом посматривает на меня сбоку: какое произвели впечатление несколько строчек в Энциклопедическом словаре? Хорошее

произвели впечатление, почти ничего не добавили к тому, что я уже думала о нем. Но ведь могли и забыть его и отодвинуть, как всегда пытались? Очень могли. Может быть, пришлось кому-нибудь напомнить. Татьяне Алексеевне? Друзьям?

И может статься, когда определяли, кому попасть в Словарь, литературные пингвины заявляли: время само расставит по местам, а сейчас не грех и скромность проявить.

Но почему они все, Ивановы, Алексеевы, Федоровы, с таким пониманием дела аплодируя друг другу, определили себя лауреатами, героями, рупорами народа? Почему, ведь именно они произносят сакраментальные слова о скромности? Народ, мол, сам знает, кого поднять?

Если народ определять превосходящим множеством, то, вполне возможно, Тарковскому по числу востребований до Асадова далеко. Но если говорить о том, из чего складывается культура народа, кто определяет лицо нации...

(Заметили ли вы, остановила ли вас мысль: будущее делают, как правило, люди, не понятые своим временем. Или понятые в самом конце жизни? Толпа и Пушкина воспринимала как автора «Бахчисарайского фонтана», но не «Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий...») Дмитро Павлычко, друживший с Тарковским, как-то рассказывал мне:

— Как Киев его принимал! Как принимал! Интеллигенция прямо ломилась на вечера. А на самих вечерах готова была ломиться на сцену — дозрел его читатель. Чем больше публика неистовствовала, тем дальше он отодвигался. Он не служил нашим вкусам, он был королем.

Мне хотелось бы, чтоб Дмитро поправился и сказал точнее:

— Он княжил над нами...

Это случилось в конце жизни. А осенью 1989 года Арсению Александровичу Тарковскому была присуждена Государственная премия. Посмертно.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПЕРЕВОДА

I

С годами они, годы эти самые, сжимаются. Для человека десятилетнего «прошлая зима» кажется уже бесконечно далекой. А сегодня, хотя я вспоминаю разговоры и события тридцатилетней давности, нагромождение пробежавших лет уже несколько меня не смущает.

Итак, тридцать лет назад, при многих свидетелях сражались я с Арсением Александровичем Тарковским в шахматы. Сидели мы в любимом уголке переделкинского дома творчества, где слева уходит мраморная лестница на второй этаж, стоит кожаный угловой диван и такие же кресла, удобно светят лампочки торшера — словом, в привычно-обжитом углу шахматистов, анекдотчиков и литературоведов.

Тарковский, с острой улыбкой на резко очерченном, угловатом лице, как всегда что-то бормотал про себя, каламбуры словами и строками. Неожиданно развеселился и, обращаясь ко всем присутствующим, шагнул в воспоминаниях еще на сколько-то ступенек в былое:

— А знаете, двадцать лет назад мне пришлось переводить стихи. Знаете кого? Представить себе не можете!

И вдруг осекся, разом умолк, встал и обратился ко мне:

— Слушайте, идемте ко мне, может быть я и отыграюсь?

Я быстро собрал шахматы в деревянную доску-футляр и, прислушиваясь к смутному перестукиванию фигур, оказавшихся взаперти, мы прошли по коридору до поворота к телевизору и столовой. Тут, напротив, маячила дверь его комнаты № 45, где теперь, тридцать лет спустя, помещается санчасть.

— Двадцать лет, двадцать лет назад я переводил его стихи...

Я понимал, что воспоминания распирают его, что он все равно к ним вернется. Уверен и в том, что рассказывал он об этой истории не только мне одному и, вероятно не раз, может быть сразу многим. Во всяком случае, упоминания о тех примечательных его переводах я встречал в мемуарах многих литераторов. Однако это меня не обескуражило: пересказы у них настолько кратки, к тому же порой неточны, что ежели в чем-то я и повторюсь, грех невелик.

Вошли. Я уселся и начал расставлять шахматы, Тарковский, со своей обычной, несколько утрированной церемон-

ностью, попросил разрешения отстегнуть ногу. Даже объяснил: «Натирает». Снял протез, поставил в угол, напевая: «Двадцать лет, двадцать лет, лазер резал. лазер резал...»

Пока он манипулировал протезом и усаживался напротив меня, я огляделся. Ничего особенного, нормальная комната, стандартный писательский приют со столом, настольной лампой, кроватью и диваном, шкафом, тумбочкой и стулом. На столе рукопись, необычной формы, вытянутая, как бухгалтерская книга, и окно под самым потолком.

Понимаю архитекторов: разбивая зал бывшей столовой на жилые комнаты, они соблюли строгие линии фасада. Снаружи получилось и на самом деле неплохо, горизонтальные линии сохранились. Жаль, что жить приходится не снаружи, а внутри.

— Не люблю комнат с такими окнами, — сказал я. — Хоть и без решёток, а что-то тюремное.

— И я не люблю, — признался Арсений Александрович. — Но уже не первый раз попадаю сюда. Зато поблизости выделяют комнату жене, Татьяне Алексеевне. Капризничать не приходится. Я вообще не люблю этих домов... нетерпимости. Но Тане здесь нравится: не нужно стряпать. Многие в жизни сложно.

— Вообще жизнь человеческая... «Гром и мат, а там и морг».

— Как вы сказали? — заинтересовался мой собеседник. Раздвинув пальцы рук, он крутил ими, словно что-то переворачивал. И воскликнул: — Но это же палиндром! Прекрасный! Он читается слева направо, так же, как справа налево! Чье это?

— Мое, — скромно признался я. — Становится народным, где-то уже слышал, но первым придумал я. Ей-богу. Между прочим, толкнул меня на перевёртыши конкурс ленинградской «Красной вечерней газеты». Нет-нет, в конкурсе я не участвовал, но уже тогда, в 1925 году влюбился в палиндром, удостоенный какой-то премии: «Торт с кофе не фокстрот».

— Изящно, — рассмеялся Тарковский. При этом он слегка притягивал подбородок к груди. — А у меня новое достижение: «Лазер-то цел, а палец отрезал». И такое есть: «На поле тело полетело, пан». А высшим своим достижением я считаю вот что: «Ишак ищет у тещи каши».

— Тоже глубокий смысл, — поддержал я его. — Действительно, нужно быть ишаком, чтобы искать каши у тещи!

— А у вас еще есть?

— Да все время что-то крутится... Еду в метро, на двери надпись: «Места для инвалидов». Перевернул: «водила...» И

получилось нечто вроде свидетельских показаний: «Водила в НИИ воров и инвалидов». Или цистерна с надписью: «Ассенизационная». Читается справа «Я, Анно...» — никуда не годится. А в конце концов вытанцовывается вновь нечто судебное: «Я, Анна, возила ром, еду, казаку, деморализованная».

— Неужели? — Арсений Александрович даже написал на полях газеты: «деморализованная». — Действительно! Такое трехметровое слово, и вдруг...

Тут и я достал листок бумаги — вот и сейчас он передо мной. Не знаю, что придумал он, а что я. Он сыпал палиндрами своими и чужими, в том числе прочел чье-то стихотворение, где перевертышем была каждая отдельная строка.

— У меня есть еще кое-что, — резвился Тарковский, — вот: «Але не дело, а попа попа оледенела». И еще... постойте-ка...

Как он сохранился у меня, вместе со стихотворениями Тарковского, этот листочек, исписанный моей рукой, но творчеством совместным, весёлым и задорным: «Долог рок, скор голод», «Мох ем с мехом», «Летом отёл», «Лог узок, а на козу гол» и долгая крутя слов «оледенело» и «в олени дело», где перевертыш получался, но абсолютно бессмысленный.

И вдруг посерьезней:

— Так вот, о Сталине...

Тогда я не понял, увы, я перебил:

— Вы писали о Сталине? Не огорчайтесь, все писали. И у меня есть баллада... как это... «И везде народ победы множит, вслед за ним идя в большой поход...»

— Я не смущаюсь. Да вы знаете, мои стихи даже стали песней, числится чуть ли не народной. А дело было так: служил я в редакции газеты Западного фронта «Боевая тревога», дослужился до капитанского звания, часто печатал в своей газете собственные стихи. Ну и получил приказ маршала Баграмяна написать стихи о Сталине. Написал «Гвардейскую застольную». Да вы ее знаете, ее все знают, композитор... не помню фамилию, музыку написал...

И он негромко напел:

Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем...

Я подхватил. И тут же, на том же листочке разразился экспромтом:

А между февральским мужским днем
И мартовским женским днем,
Мы встретимся снова, и сядем вдвоем.
И выпьем, и снова нальем.

Тарковский в долгу не остался: как я заметил, он вообще не любил оставаться в долгу, его экспромт звучал чуть печальней:

Как много лихих, сумасбродных лет
Мы бились за жизнь и честь...
Нога разболится, которой нет,
И сердце, которое есть.

— Болит? — участливо спросил я.

— Да, часто. Все-таки Бог хорошо спроектировал человека. Две ноги — это великолепно... А завтра еще поеду в издательство, в «Советский писатель», нужно сдать рукопись...

Он кивнул головой на стопку машинописи, размером длинней стандарта и, кажется, прошнурованную. Заметив мой жадный взгляд, догадался:

— Не могу — завтра после завтрака поеду... Если только на ночь?

Он поднял правое плечо, и на его подвижном лице отразилось смешанное чувство — как любому автору чего угодно ему было лестно: вот, случайный человек, а заинтересовался. И одолевала тревога: как, выпустить из рук новорожденную рукопись, даже «спеленутую»?

— Я очень осторожно... До завтрака!

Благородство победило. Он протянул мне свой труд и просительно повторил:

— До утра, только до утра, до завтрака! Прошу вас!

2

Я не «читал» эту рукопись, я зачитывался ею. Сначала выписывал названия особо понравившихся произведений — «Записал я длинный адрес», «Игнатьевский лес»... Потом не удержался и полностью перепечатал стихотворение «Портрет»:

Никого со мною нет.
На стене висит портрет.
По слепым глазам старухи
ходят мухи, мухи, мухи.

Хорошо ли, — говорю, —
 Под стеклом в твоём раю?
 По щеке сползает муха,
 Отвечает мне старуха:
 — А тебе в твоём доме
 Хорошо ли одному?

Я перелистнул страницу. Боже мой, он включил в новый сборник («Вестник») отчаянно-прекрасное стихотворение с интонацией человека, задыхающегося от отчаяния!

Отнятая у меня, ночами
 Плакавшая обо мне, в нестрогом
 Черном платье, с детскими плечами,
 Лучший дар, не возвращенный Богом.

Заклинаю прошлым, настоящим,
 Крепче спи, ня всхлипывай спросонок,
 Не следи за мной зрачком косящим,
 Ангел, олененок, соколенок.

В этом стихе-заклинанье он даже не осмеливается просить о праве вновь получить свою героиню, лишь в последней строфе он проговаривается, мечтая о праве «снова потеть»:

Я не знаю, где твоя держава,
 Я не знаю, как сложить заклятье,
 Чтобы снова потерять мне право
 На твоё дыханье, руки, платье.

Наверно, стрекотанье моей машинки будило соседей. Что ж делать, если я не мог удержаться? «Сверчок» — перепечатаем. «Звездный каталог», «К стихам», «Степь», «Стань самим собой», «Вы, жившие на свете до меня», «Переводчик»...

Дух захватывает. Вот это я перепечатаю, об этом я его спрошу. За сорок лет работы уйма переводов и только — если не ошибаюсь — три книги собственных стихов? Ведь и дальше — «Зуммер», «Кухарка жирная у скáред» — да мало ли отличных стихов! А вот «Переводчик»:

Шах с бараньей мордой — на троне.
 Самарканд — на шахской ладони.
 У подножья — лиса в чалме
 С тысячью двустигий в уме.

Розы сахаринной породы,
Соловьиная пахлава.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

И концовка, с еще более яркой ненавистью к традиционным образам восточной поэзии:

Да пребудет роза редифом,
Да царит над голодным тифом
И соленой паршой степей
Лунный выкормыш — соловей.
Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

3

На следующий день я до завтрака вернул рукопись, но успел сказать несколько хвалебных слов. А вечером он вернулся из города такой усталый, что все разговоры и расспросы мы отложили.

Успел он только весело бросить:

— Отдал. Родил. Похож я на роженицу? До завтра!

На другой день, когда мы шли по коридору, вновь погромыхивая шахматами, нас остановили двое болельщиков:

— Уходите к себе? Арсений Александрович, а вы обещали новеллу.

Но Тарковский как бы отодвинул их одной фразой:

— Простите, устал. О том переводе — другой раз.

Но шахмат мы даже не расставили. Оба говоруны, едва я снова принялся искренно хвалить «Вестник» и расспрашивать, какого дьявола он постоянно занимается «ах, восточными переводами», от которых у него «так болит голова», как он перехватил инициативу и заставил подробно ответить на вопрос — переводил ли я когда-нибудь?

— Конечно, — ответил я. — С эстонского. Но сначала не по доброй воле. Мою первую книжку стихов обругала Ц. О. «Правда», на три года меня отлучили от литературы, разрешив только публиковать переводы с эстонского, и то анонимные. Это после я добрался до текстов песен — самый трудный перевод, вроде палиндрома, нужно сохранить все вторичные ударения, избежать «непоющих» словосочетаний... Но я вступил в контакт с композиторами, авторами переводимого, мы добивались полного совпадения и содер-

жания, и эквиритмики... Издано почти четыреста песен, главным образом хоровых, с текстами в моем переводе...

— Нет, и в армию, и в переводы я сунулся добровольцем. В начале тридцатых годов была в Гослитиздате организована Редакция литератур народов СССР под общим руководством Шенгели. Мне достались восточные, естественно, по подстрочникам... Вос-точ-ны-е...

Повторяя это слово, он несколько растянул его. Нога его уже стояла в углу, к шахматам мы так и не прикоснулись. Устроившись поудобнее, Арсений Александрович сказал, вдруг понизив голос:

— Сейчас я открою вам одну тайну. Меня предупреждали, что об этом рассказывать нельзя. Но я полагаю, что теперь уже можно. Итак, однажды...

Итак, однажды в их квартире раздался телефонный звонок:

— Товарищ Тарковский? У нас к вам просьба... Нет, по телефону невозможно. Через полчаса у вашего подъезда будет машина, она привезет вас к нам.

И все. Трубка закричала. А год шел одна тысяча девятьсот сорок девятый. Туда увезут, а когда обратно — неизвестно, да еще и вернешься ли? Но от таких предложений не отказываются. Оделся, собрался, попрощался с женой. Вышел — машина уже стоит, показалась очень большой и очень черной — у страха глаза велики.

Шофер — сплошное благорасположение, открыл дверцу, усадил.

— Куда едем? — прикинулся беззаботным Арсений Александрович.

— К нам, на Старую площадь, куда же еще?!

Стало легко-легко — ЦК КПСС это не... не что-нибудь другое...

Охрана приветлива, хозяин кабинета — сама учтивость. Холеный, солидный, но весь кругленький и сладенький.

И вручает он Арсению Александровичу большущий черный портфель, вручает с такими словами:

— Дорогой товарищ Тарковский, мы тут посоветовались... Мы знаем вас, как лучшего переводчика с восточных языков. Я говорю о стихах. И мы остановили свой выбор на вас, как на самом великолепном кандидате. Возьмите портфель. Нет, сейчас зачем открывать? Не надо. Там стихи вождя всего прогрессивного человечества... И подстрочники к ним, сделанные по нашему заказу светилami грузинской поэзии, владеющими русским языком. Отцу народов довольно скоро исполнится семьдесят, и вся страна готовит

посильные подарки; есть решение сделать вождю сюрприз: издать стихи на его родном грузинском языке и, параллельно, вы знаете, как это делается, на развороте перевод, на языке старшей сестры Республик, на русском. Ваша почетнейшая задача... Мы уверены... Когда переведете — сообщите, пожалуйста. Пока мы вас не торопим.

Закончил монолог, нажав на это «пока». С улыбкой «сахаринной породы» подал руку, и — «машина внизу ожидает, вас отвезут».

Приехал Арсений Александрович, вошел в собственную квартиру, бледный, растревоженный, прижимая обеими руками к груди черный портфель.

— Арсюша, что с тобой? Что случилось? — испугалась супруга.

— Пока ничего. Но случится обязательно. Таня, я погиб. Мне приказали переводить стихи Сталина.

— Но это же великая честь!

— Великая. Если я переведу хуже подлинника, меня сгноят в застенках, если лучше — побьют за искажение оригинала.

— А если точно?

— Таня, где мера точности стихотворного перевода? И — дай сюда ушко: можно ли ожидать, что Иосиф Виссарионович великий поэт? Нельзя этого ожидать!

— Ты уже заговорил в его манере. Зачем мучиться заранее? Давай, откроем портфель!

Открыли.

Бросилось в глаза — сколь великолепно, превосходна бумага.

В остальном сбылись худшие ожидания. Форма стиха — черт с ней, разберусь. Но содержание?

Он ринулся к подстрочникам и увял окончательно.

Он прочел пышно, но стандартно разукрашенные излияния влюбленного юного семинариста. Может быть их продиктовало подлинное чувство, но тоже, увы, стандартное. Как ни переводы — хуже, точно, даже лучше — никакой разницы — если не написать совсем наново, останутся те же, ориентально ornamentированные пылкие признания грузинского семинариста Джугашвили.

О, как старательно трудился Тарковский, как тщился он выудить из подстрочника что-либо свежее!

В поте лица своего он давал вариант за вариантом, читал вслух жене, искал синонимы, пытался хоть где-то найти интонации возмужавшего политического деятеля — но снова наткнулся на соловьев, луну, аромат роз чужого сада, доносящийся в унылую келью...

Сталин начал снится ему в образе то старца, то юноши, то — страшно вспомнить — сатаны. Арсений Александрович засыпал с обрывками строк в голове, вроде: «О, как прекрасны розы тех садов, чей аромат доносит воздух чистый! Я на луну лететь с тобой готов...» — рифма не шла, но и во сне он не находил покоя, счастливый, вскакивал и записывал на клочке бумаги: «Я так люблю, как любят коммунисты!»

Утром находил эту запись и с яростью раздирал ее в клочки.

Но всему приходит конец.

Круглячок со Старой площади справился, как идут дела.

Все было давно готово, перепечатано, но так хотелось оттянуть финал, что он выпросил еще недельку — «пошлифовать».

— Хорошо, — суше обычного проронила трубка. — Я записываю в календаре: в следующую среду в пятнадцать ноль-ноль за вашей работой заедет шофер. О результатах мы сообщим. Это вас устраивает?

4

Времени до юбилея вождя было еще много, но ведь важнее не то, сколько ты ждешь, а чего?!

Неведомо чего ждать всего труднее.

Примерно через месяц ему сообщили, что машина вновь прибудет за ним. И прибыл тот же самый шофер, и все были любезны, как и в первый раз. Тот же самый кругляш с сахаринной улыбкой, ласково сказал, вытянувшись почти по стойке смирно:

— Товарищ Сталин сказал... Да, мы отказались от идеи сделать вождю сюрприз и показали Иосифу Виссарионовичу ваши переводы, лишь перепечатав на соответствующей бумаге.

— И он... прочел? — слегка задыхаясь, спросил Тарковский.

— Прочел, прочел, — обмякая, промолвил деятель. — Он просил передать вам, что чрезвычайно доволен проделанной работой. Чрезвычайно. Но должен вас огорчить, Арсений Александрович: товарищ Сталин считает, что в настоящее время, после стольких его теоретических работ по марксизму-ленинизму, публикация его ранних лирических стихов может в какой-то мере исказить его образ. Он просит вас извинить его, но печататься ваши переводы не будут.

— Благодарю! — возликовал Тарковский, — благодарю! Передайте товарищу Сталину, что я ему глубоко благодарен!

И пожал протянутую ему руку, уже сомневаясь — корректно ли было передавать гению благодарность... за что? Но чиновник из ЦК остановил его:

— Товарищ Тарковский! Портфель! Вы забыли портфель!

— Это не мой!

— Теперь он ваш, Арсений Александрович. Так сказать, на память. У меня к вам просьба: черновики у вас остались? Мы так и думали. Уничтожьте, голубчик. Сегодня же. И забудьте все это, и нашу просьбу, и ваши отличные переводы... Забудьте. А материалы, побывавшие у вас, хранить будем мы, у нас это организовано надежно. Счастливо.

— Но тут что-то есть, — Тарковский обратил внимание на то, что портфель туго набит — бумаги ему дали, что ли?

— Не беспокойтесь, там все ваше! Привет супруге!

Он восторженно, в лицах, пересказывал Тане беседу на Старой площади, а жена теребила портфель.

Они открыли его. Там лежали новенькие, с банковскими наклейками, пачки крупных купюр.

— Пожалуй, это был самый большой в моей жизни гонорар, — заключил свой рассказ Арсений Александрович.

— Уж мы с Таней считали, считали...

— А что-нибудь из стихов Сталина вы запомнили?

Он взглянул на меня и осветился своей угловатой улыбкой:

— Ну, что вы, право! Это было бы неблагородно — я же обещал забыть навсегда... Да и не ахти что... Сыграем?

«СУДЬБА МОЯ СГОРЕЛА МЕЖДУ СТРОК...»

«Мэтр» — не люблю этого слова. Да оно ему и не подходит. Мэтр, метр, сантиметр, миллиметр — это что-то из области мер и весов. А поэзия — сама безмерность.

Мы шагали по искристому переделкинскому снегу. И нас сопровождал какой-то приبلудный незлобивый пес, который вместе с нами радовался этому ослеплённому солнцем дню и легкому игóльчатому морозцу.

— Я верю в телепатию, — неожиданно обратился ко мне Арсений Александрович, как бы продолжая вслух свое безмолвное размышление. — Вчера Татьяна Алексеевна говорит: «Ты знаешь, целый месяц мучаюсь, вспоминаю, как звали мою няньку. Ведь прошло столько лет! И сейчас, наконец, вспомнила...» А я ей вдруг спокойно отвечаю: «Знаю, как звали, — Василиса!» Она так и ахнула от удивления. Имени этого она мне никогда не называла. Само вдруг всплыло. Наверно, так напряженно думала, что слово мне телепатически передалось...

Я придерживал Арсения Александровича под руку. Ритмично поскрипывал его протез. Дорога зажигала свои переливчатые кристаллы и блески. Она то сухо позванивала ледком, то снежным хрустом напоминала ленивое хрупанье поселковой лошади, вислобокой клячи, запряженной в сани и монотонно жующей сено у местного магазинчика.

— Я встречал феноменальных людей, способных передавать свои мысли, — таинственно продолжал Тарковский. — Марина Цветаева, например, умела сверх того передавать еще и свою волю. Я был с ней близко знаком. Если в ее окружении находился неприятный ей человек, она направляла на него какие-то резкие волны, пучок невидимой энергии, и тот улетучивался, исчезал... Настоящая колдунья! Смотрите, смотрите, на сугробе следы шестипятки! — с ребяческим изумлением воскликнул он.

— Да нет же, это почерк белки, — пытался возразить я. — Что это еще за шестипятка?

— Как, вы не знаете? Это зверюшка такая мохнатая, с крылышками. Водится только в Переделкине. След у нее шестипалый. На задних лапках по шесть пяток, и все ахиллесовы...

Я расхохотался. Мифическая шестипятка была привнесена в подмосковную фауну воображением поэта.

Тарковский — неутомимый выдумщик и безобидный мистификатор. Он всегда весело фантазирует, неназойливо шутит — в столовой Дома творчества, на прогулке, за шахматной доской... Это не циничное хохмачество, не разухабистое скоморшество. Вероятнее всего, он застенчиво прячет в интеллигентное озорство свою горечь, пронизательность и ум.

Вот он пытается атаковать белыми фигурами писателя из Эстонии Валентина Рушкиса, задумывается над ходом, приговаривает: «Рушкис, Рушкис, ушки-с на макушке-с!» Неумышленная острота попала в точку. У симпатичного художавого Рушкиса, действительно, забавное выражение лица: оно так сосредоточено и напряжено, что, кажется, уши и впрямь чутко насторожились. Болельщики, сгрудившиеся вокруг шахматного столика, смеются. «Не умно!» — замечает таллинский литератор, но всерьез не обижается. И в отместку победоносно передвигает черного ферзя: «Пока вы тут острили, вам — мат!» Растерянный партнер обескуражен, но с достоинством пожимает руку победителю.

Я заметил, что Тарковский постоянно играет словами, рифмует, каламбурит. Возможно, это — мимолётные упражнения, словесная разминка, необходимая поэту.

Кто-то из литераторов с высокомерным бахвальством заявил, что его книги выходили чуть ли не на всех языках мира, даже на иврите. Арсений Александрович мгновенно парировал: «Не врите, не врите, не врите на иврите!» Он увлекался палиндромами — фразами, которые одинаково читаются слева направо и наоборот. Его волновало их эхоподобное звуковое колдовство. Вот несколько палиндромов, записанных мною с его слов: «Муза — раз, муха — ах, ум за разум», «Ишак ищет у тещи каши», «Гром и мат, а там и морг». Особенно меня поразил палиндром, преподнесенный ко дню рождения известному пианисту Льву Оборину: «Велик Оборин, — и робок, и Лев». Это не бессмысленный набор слов, все умно и точно. Правда, не знаю, — сам ли он сочинил эти фразы или восхитился чужой изобретательностью. Думаю, что это не столь уж важно: в данном случае феномен интересней, чем авторство.

Тарковского забавляло веселое поэтическое хулиганство. Чуждый снобизма и ханжества, он знал много соленых эпиграмм и лукавых стихов, ценя в них мастерство и остроумие. Надо было видеть, какие озорные чертики плясали в его глазах, когда он шепотом читал фривольный стишок Эмиля Кроткого «Из египетских блокнотов»: «Пред пирамидою Хеопса священный бык с коровой е..., воображаю, что за вид на них открылся с пирамид».

В поэтической работе Тарковский был беспощадно требователен и к себе, и к другим. Однажды, развернув свежую газету, бегло прочел чьи-то скороспелые, но злободневные вирши и досадливо покачал головой: «Не Ойстрах!» (Этим возгласом из старого одесского анекдота мастер обычно оценивал посредственность). Буркнул сумрачно: «Пушкин писал для вечности, поэтому всегда современен, а эти норовят войти в историю, спекулируя на злобе дня». Я вставил к слову, что в этом году побывал с писательской бригадой на празднике поэзии в пушкинских местах, и услышал его вразумляющий вздох: «К Пушкину надо ходить не гурьбой, а поодиночке...»

Точность слова, рифмы, метафоры, факта для Тарковского — непреложный закон. В этом он дотошен и педантичен. Как-то он обратился ко мне: «Зиновий, мне трудно подниматься на второй этаж. Прошу вас, принесите из библиотеки энциклопедию на «Л». Пишу поэму, там упоминаю Ломброзо. Хочу себя проверить». Я мигом принес том Большого энциклопедического словаря, и он аккуратно выписал в тетрадь сведения об антропологической школе Чезаре Ломброзо. Потом я увидел их в обширной сноске к «поселковой повести» в стихах «Чудо со щеглом», когда мастер подарил мне с теплой дарственной надписью свою новую книгу «Зимний день».

Когда «Современник» издал его стихи разных лет, Тарковского огорчило оформление книги: «Понимаете, обида какая, за работой художника не уследил. Вот он и намалевал меня прямо на книжке. Я-то люблю обложки шрифтовые, без всякой мазни. А тут, как уголовник, спаливший деревню, выглядываю из-за дерева на дело рук своих... Картина, скажу вам, леденящая душу».

Прежде стихи его мне казались несколько холодноватыми. С годами пришло новое ощущение: я почувствовал их скрытый, приглушённый темперамент, подспудный глубинный жар.

Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у него,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

В его военных стихах я расслышал некрикливый и сдержанный трагизм человека, оплатившего правду слова собственным здоровьем, горькой судьбой солдата. В лирике

явственно разглядел масштаб личности, ведущей родословную от больших поэтов прошлого. Прозорливая мысль и негромкий голос тишайшего пророка соединяют в себе разговорную интонацию сегодняшнего дня с гипнотизирующим раскатом библейского речитатива. Безграничность его перевоплощений позволяет поэту заглядывать и в минувшее, и в будущее, и в космос.

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

Художник — антипод разобщённости, связист, соединяющий души и века. И в «Звездном каталоге» вновь слышится зуммер, на этот раз телефонов планетарных, телефонов «марев и миров»:

— А-13-40-25,
Я не знаю, где тебя искать.
Запоет мембрана телефона:
— Отвечает альфа Ориона.

Поэтическая непосредственность этого межзвездного диалога так наивно заразительна, что хочется набрать номер и самому дозвониться до околицы галактики. Мастеру чужды пустые и нарочитые поэтические туманности, но ему доступно все, даже туманность Ориона.

Единственным развлечением в Доме творчества было кино. Но репертуар литфондовского кинотеатра был невыносимо скучен и однообразен. И тогда супруги Тарковские сделали нам неожиданный подарок. Им удалось заказать по телефону в конторе кинопроката фильмы Андрея Тарковского.

О, с каким волнением смотрел Арсений Александрович ленты своего сына. В полумраке зала лицо его, подсвеченное призрачным лучом проектора, то тревожно напрягалось, то растроганно теплело, губы начинали дрожать, и сидевшие рядом улавливали боковым зрением, как он, не отрываясь от экрана, то и дело подносил платок к повлажневшим глазам.

Слух его в последние годы сильно сдал, и порой в тишине зала он довольно громко переспрашивал у жены о нерасслышанной реплике героя: «Таня, что он сказал?..» Ведь ему хотелось не упустить ни одного слова из фонограммы.

Несомненно, Андрей генетически унаследовал от отца поэтическое восприятие мира. В «Зеркале» за кадром звучит

голос Арсения Александровича. И создается нерасторжимое единство словесного и зрительного образа, когда сквозь метафизическую реальность фильма проступает этот умный и проникновенный голос. Тарковский рассказывал, что Андрей десятки раз записывал стихи, заставлял его вновь и вновь повторять чтение, добиваясь наиболее совершенного звучания. И не напрасно. Вспомните хотя бы сцену проливного дождя: мокрая комната, вода стекает по стене, по волосам матери. А в это время звучит:

На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин, — когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.

Какое чудо! — хочется воскликнуть, какая нужна метафорическая точность поэтического зрения, чтобы сказать: «слоистая и твердая вода». Может быть, так выглядит вода, подсвеченная молниями, в стеклянных сообщающихся сосудах судьбы отца и сына.

Я никогда не слышал, чтобы отец все говорил о сыне. Это была очень личная и очень болезненная тема. Лишь однажды, когда травля и газетная шумиха о «невозвращенце» особенно усилились, он тихо произнес: «Андрей выбрал свой путь...» И, пряча сигаретку в кулаке, задымил тайком от Татьяны Алексеевны, запрещавшей ему курить.

С возрастом накопившиеся горести и беды — война, жестокое фронтовое увечье, позднее литературное признание, безмолвное, засевшее в глубине сердца переживание о сыне — сказались на здоровье поэта. Он как-то осунулся и одряхлел. Участвовавшие спазмы сосудов вызывали головокружения. Спускаясь по крутой лестнице со второго этажа Дома творчества, однажды на моих глазах он покачнулся и упал. Я подскочил к нему, приподнял. Ах, бедный мой, дорогой Арсений Александрович! Он приходил в себя с какой-то извиняющейся улыбкой. Но и тут ему не изменило чувство юмора: «Предупреждала жена — не заглядывайся на молоденьких... А я, засмотрелся на Мариночку...» Он имел в виду библиотечаршу Марину Красину, местную красавицу, объект вожделенных снов молодых и престарелых обитателей Переделкина.

Арсений Александрович был удивительным рассказчиком. С тонкой наблюдательностью и неподражаемым юмором он передавал забавные истории из быта писателей, веселые случаи из своей артистической молодости. Особым успехом пользовались его новеллы о легендарном парикмахере Цен-

трального Дома литераторов М. М. Моргулисе, который, по крылатому выражению мудрого брадобрея, «тридцать лет работал над головами советских писателей».

Однажды Тарковский доверительно поведал нам о дружбе своего отца, известного народовольца¹, с молодым Юзефом Пилсудским, с которым тот познакомился в ссылке. Через много лет, в конце двадцатых годов, став крупным политическим деятелем, а позже премьер-министром Польши, Пилсудский написал отцу Тарковского письмо: «Дорогой Саша! Приезжай к нам в Варшаву. Я здесь неплохо устроился... маршалом». Семейные притчи поэт мастерски представлял в лицах и по-детски хохотал, сам получая удовольствие вместе со своими зачарованными слушателями. Уже в наши дни Арсений Александрович посетил в составе писательской делегации социалистическую Польшу и в память об отце возложил цветы на могилу Пилсудского. Членами делегации эта дерзкая выходка была расценена как возмутительный демарш и демонстрация уважения к буржуазному диктатору. Это вызвало страшный шок и невообразимый переполох среди идеологических начальников.

Иногда трудно было понять, что в этих рассказах правда, а что искусный вымысел. Однажды, когда разговор зашел уже о нашем отечественном диктаторе, Тарковский многозначительно приложил палец ко рту и таинственным голосом объявил: «Я тоже внес немалую лепту в торжество сталинизма. Во-первых, мне, как опытному переводчику, было дано почетное задание: перевести с грузинского юношеские стихи Джугашвили. О качестве их я сейчас говорить не буду. А во-вторых, должен с гордостью признаться, что являюсь автором текста популярной застольной песни, славящей «отца народов». Правда, потом авторство забылось, и песня стала поистине народной²». Слушая эту ерническую, исполненную горькой самоиронии исповедь поэта, я невольно вспомнил его выстраданные, бескомпромиссно убежденные строки:

Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени.
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.

Эти стихи он от руки занёс в мою «Зеленую книгу», рукописный альбом памятных встреч, с примечанием: «Переписал для Зиновия Михайловича Вальшонка в Переделкине 19 марта 1971 г.».

Многие годы фигура Тарковского была для меня неотделима от переделкинского Дома творчества, где он проживал с женой по многу месяцев. Без него мне там и мрачно, и пустынно, и даже не пишется как следует. Он был душой этого дома, центром притяжения. После ужина вокруг него собирался народ. Вспыхивали импровизированные поэтические вечера.

О, эти незабываемые вечера! Приходят из комнат, отрываются от пишущих машинок и даже от телевизора. Сбиваются в тесный круг. Мест не хватает: сидят на подлокотниках кресел, свешиваются с лестничных перил. Здесь особая атмосфера, воздух насыщен флюидами поэзии. Даже дежурная Валентина Сергеевна, «тетя Валя», клюющая носом возле вешалки, перестает дремать и прислушивается.

Читают все желающие. Читает и Тарковский. Голос звучит глуховато и возвышенно. Под латунной смуглостью лба антрацитно поблескивают всепроникающие глаза. В них — то печальная мудрость, то добродушное лукавство. Я вижу, как магически колышется на стене его одухотворенная, патрицианская тень, и меня не покидает чувство радостной причастности к завораживающему таинству.

Татьяна Алексеевна хлопотливо останавливает его: «Арсюша, хватит, ты устал!» Но сегодняшней Арсений Александрович в ударе. Он продолжает. Держится просто, с несуетным достоинством. Но в каждом движении и слове — что-то неуловимо значительно, даже величественно. И чеканное лицо с тонкой гравировкой морщин смутно мерцает, как лики древних монархов на старинных монетах. В эти минуты он — вне возраста и вне времени. Но вдруг из вневременной отрешенности опускается на грешную землю:

Клевета расстилала мне сети,
Голубевшие, как бирюза.
Наилучшие люди на свете
С царской щедростью лгали в глаза.

В 11 — отбой. Но частенько за полночь переваливают эти переделкинские посиделки. Не с его ли легкой руки мы называли их шутовым словесным перевёртышем — «посиделкинские переделки»?

Помню, после таких «переделок-посиделок» он поделился со мной: «Прилепилась ко мне вчера какая-то старушка, божий одуванчик. Личико пергаментное. Говорит, переделкинское кладбище закрыто, на нем больше не хоронят. Но я могу за вас, голубчик, похлопотать, поговорить кое с кем и все устроить. Прогнал я эту кладбищенскую ворону. Вот

так. Все и вся теперь устраивают...» Он улыбнулся, и в зрачках его дрогнули грустно-пронические блики.

Мы неторопливо шли среди берез и сосен, отделанных легкой серебристой филигранью. Пушистая снежная оторочка подчеркивала строгую импозантность дач с ажурной деревянной резьбой, дремóтную безмятежность бревенчатых коттеджей. Я решил прочитать Тарковскому несколько стихотворений.

— Разбирать стихи по косточкам, потрошить, анализировать я не умею, — раздумчиво сказал он, выслушав меня. — Есть стихи и нестихи. У вас, к счастью, стихи. Вы мне интересны. Учителя у вас хорошие. Но вы еще не выявились до конца. Скажем, есть двадцать-тридцать тысяч таких, как вы, по уму и нутру. Но вы должны аккумулировать свою художественную энергию, подняться на новую духовную ступень, выразить себя во всей полноте. Понравилась мне ваша строчка — «тучи тихие, как волхвы». Раньше я думал, что строка обязательно должна быть написана густым мазком. Теперь убедился, что она может быть очень прозрачной и простой. И учитесь рифмовать. Я считаю, что неточные рифмы просто безнравственны! У позднего Манделштама они вытекают из алогичности содержания. А у вас все эти «баюшки — барышни» неуместны. И запомните, каждое стихотворение должно иметь свою нравственную цель.

Он на минуту задумался и после паузы, как бы глядя внутрь себя, произнес почти речитативом:

Я — свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться.

И продолжал так же самоутлublённо:

— Все гонятся за счастьем. А, оказывается, быть счастливым — это просто жить, сочинять, ходить по траве, по снегу, по песку, смотреть на облака, на звезды. Главное — трудитесь! Об успехе не думайте. Деньги, слава — это все химеры. Суета и обольщение. И никогда ни перед кем не унижайтесь, не занскивайте. Лучше проиграть. То, что далось ценой унижения, радости не принесет. Ах, да что я вас, взрослого человека, стариковскими нотациями морочу.

Я знал, что мысли и принципы Тарковского не расходятся с его делами. Он не умеет напоминать о себе настырными звонками в редакции, оттеснять кого-то плечом, «пробивать» свои книги. Да это ему и не нужно. Пусть поздно, но все пришло само. А сколько еще есть процветающих литерато-

ров, чья повседневная мораль в так называемой «частной жизни» находится в жестком конфликте с их поэтическими проповедями. Благо, их можно списать на счет лирического героя.

Мы проходили мимо библиотеки Корнея Чуковского, завещанной детям и расписанной броско и пестро, как ярмарочный балаганчик.

— Вот Корнея Ивановича за «Муху-Цокотуху» ругали, — усмехнулся Тарковский, обивая палкой снег с ботинок. — Пошляки говорили, что муха не может выйти замуж за комара, что такого не бывает. А поэзия — дело чистое, она отторгает пошлость. Психологическая несовместимость. И в поэзии все бывает...

Подошли к белым колоннам Дома творчества. Нас встретила встревоженная Татьяна Алексеевна, чем-то похожая на горделивую, нестареющую наездницу — в коротком приталенном полушубке и брюках, заправленных в высокие сапоги:

— Арсюша! Где ты пропадаешь? Ты не замёрз? Скоро обед!

Мне посчастливилось. Мы еще не раз толковали о жизни, поэзии. Случалось, Арсений Александрович читал мне в своей угловой комнате только что написанные, неопубликованные стихи. Выверял их на слух, листая большую, как амбарная книга, рукописную тетрадь. Строчки еще дымилась, не остыв от одержимости пера и не успев забронзоветь. Помнится, я сказал, что «алмазная высь» звучит слишком красиво. Но поэт не согласился со мной. В отборе поэтических средств он был тверд и принципиален.

Перед отъездом из Дома творчества я пригласил Тарковских к себе на скромную «отвальную».

За столом с запотевшими бутылками шампанского, печеньем и апельсинами из литфондовского буфета, я прочел несколько стихотворений, написанных в Переделкине. На этот раз Арсений Александрович ничего не сказал, а только обнял меня, прикоснувшись к лицу прохладной смуглой щекой. Эти объятия дорогого стоят.

Как неотступный Эккерман записывал разговоры с Гете, я записал по горячим следам памятных прогулок его размышления, а эпизоды подсказала услужливая память.

Я посвятил Тарковскому большой цикл стихов, своего рода «Тарковиаду». Первое по времени написания стихотворение начиналось строфой: «Тарковский читает стихи торжественно и глуховато. Пред силой своих же стихий он выглядит чуть виновато». Когда я включил его в рукопись новой книги, мой редактор Евгений Храмов скептически

заметил: «Тарковский — мертвый поэт». Не знаю, что он имел в виду, может быть, некоторую книжность и академизм стиля? Но меня эта жестокая реплика крепко резанула по сердцу. Для меня Тарковский всегда был живым и трепетным поэтом, более того — живым классиком, носителем высокой поэтической культуры, соединяющим наше поколение с Серебряным веком.

Сразу после выхода в свет я послал Тарковскому на домашний адрес свою книгу «Полуденный поезд», куда вошло стихотворение, посвященное ему. Вот его заключительные строки:

Тарковский читает стихи.
Мы слушаем в призрачных позах.
И вещие губы сухи,
И палка — провидческий посох.
В потресканном зеркале лба
Душа отражается, мучась,
Возвысив до слова Судьба
Простое понятие — участь.
Становится крестным путем
Простая земная дорога.
Наверно, и вправду в своем
Отечестве нету пророка.

Долго не было ответа. Наконец, через несколько месяцев, пришло письмо, написанное таким знакомым, аккуратным и несуетным почерком Арсения Александровича: «Милый Зиновий! Из-за того, что нашему дому грозит капитальный ремонт, мы мотаемся по белу свету, и ваше письмо с такими хорошими, проникновенными стихами каким-то несповедимым путем попало к нам в руки только сейчас. Крепко Вас обнимаю, желаю вам счастья, здоровья, удачи во всем. Татьяна Алексеевна нежно вас приветствует. *Искренне ваш А. Тарковский. 30 июня 86 г.*»

В обратном адресе на конверте были указаны координаты: Матвеевское, «Дом ветеранов кино», где в последние годы подолгу жила чета Тарковских. Оттуда же, из Матвеевского, вскоре позвонила Татьяна Алексеевна: «Спасибо, Зиновий, за стихи! Арсений хворает. Возраст... Здоровье и настроение соответственно... Так что ваши душевные строки оказались очень своевременными. Они порадовали и поддержали Арсюшу...» О, эта старомодная интеллигентность и щедрое великодушие! Теперь эти качества в литературной среде почти вышли из обихода.

То были последние драгоценные послания и сигналы от несравненной семьи Тарковских. В 1989 году поэта не стало. И всего через два года вслед за ним ушла Татьяна Алексеевна. Существует гипотеза, что в течение долгой совместной жизни из двух биополей образуется единое, взаимопроникающее поле, некий общий энергетический кокон. И с исчезновением одной части нарушается баланс, и вскоре гибнет вторая часть. Цепная реакция горя.

Поэта отпели в патриаршей церкви. И, как напроорочила старуха-вещунья с пергаментным лицом, похоронили на переделкинском кладбище. Рядом с надгробным барельефом в виде строгого креста в гранитном овале над последним приютом поэта установлен деревянный крест с надписью «В память Андрея Тарковского». Это место рядом с отцом оставлено для переноса праха сына, знаменитого кинорежиссера, который в 1986 году умер и похоронен в Париже³.

Я стою над сиротливой могилой, окаймлённой низенькой и скромной металлической оградкой, на пологом склоне холма, без шапки, склонив повинную голову. А с косматой ветки на скорбный погост, на волосы и воротник осыпается сухой и рассыпчатый снег. Может быть, его стряхнула с хрустальной сосны неугомная и беспечная шестипятка.

ИЗ БЕСЕД С АРСЕНИЕМ ТАРКОВСКИМ

Пощадили камни тебя, пророк,
в ассирийский век на святой Руси,
защитили тысячи мертвых строк,
перевод с кайсацкого на фарси.

Фронтвик, сверчок на своем шестке
золотом поющий, что было сил —
в невозможной юности, вдалеке,
если б знал ты, как я тебя любил,

если б ведал, как я тебя читал —
и по книжкам тощим, и наизусть,
по Москве, по гиблым ее местам,
а теперь молчу, перечесть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,
утолявший жажду из тайных рек,
на какой ночёвке ты так озяб,
уязвлённый, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой
разбивался медленно, в такт стихам.
И за кадром голос немолодой
оскорблённым временем полыхал.

Бахыт Кенжеев
«Памяти Арсения Тарковского»

Стихи эти потрясают. Какой же пронизательностью обладает поэт Бахыт Кенжеев, если он, даже не будучи знаком с Арсением Тарковским, так глубоко проник в сокровенную его суть, так сумел понять его сумрачное, скорбное одиночество — человеческое и поэтическое... То, что лишь смутно виделось немногим из читателей Тарковского — в том числе и знавшим его лично — другой поэт выразил с ошеломляющей точностью. Впрочем, может быть, есть своя парадоксальная закономерность в том, что именно отсутствие какого бы то ни было личного контакта с поэтом позволяет другому поэту, его современнику, точнее, правильнее почувствовать и понять его как человека.

Ибо при общении — под воздействием многих особенностей очень необычной, редкошно одарённой личности —

впечатление о ней неизбежно становится несколько размытым, односторонним.

Судьба подарила мне радость многолетнего общения с А. А. Тарковским — мы познакомились еще в те годы, когда любители поэзии читали его стихи в передававшихся из рук в руки списках. Но то, что так отчетливо увидел и так «крепко» выразил живущий ныне в Канаде поэт Бахыт Кенжеев, я ощущала редко и только интуитивно: очень мало было в облике и повседневном поведении Арсения Александровича такого, что давало бы повод для подобных прозрений.

Пожалуй, наиболее остро я почувствовала то, о чем говорится в стихотворении Кенжеева, на встрече Тарковского с читателями в Литературном музее на Петровке весной 1974 года.

Ведущая открыла вечер. Подойдя к столу, на котором стоял любовно подобранный сотрудниками темно-коричневый кувшин с сиреневыми астрами, Арсений Александрович остановился, тяжело опираясь на палку. Все ждали, что он начнет читать, но поэт молчал. По лицу его текли слезы. Зал недоуменно-сочувственно затих. Прошла минута. В зале стояла тишина. Положение спасла стайка молодых поэтесс: быстро разобрав принесенный ими букет гвоздик, они вереницей продефилировали мимо Арсения Александровича и каждая клала перед ним на стол красный цветок. Арсений Александрович заулыбался, вытер слезы и начал читать. Много раз доводилось мне потом бывать на вечерах Тарковского, но такое я видела лишь однажды. И запомнила навсегда.

Обычно же блистательно остроумный и артистичный Тарковский, общий любимец и превосходный рассказчик, постоянно окруженный в Домах творчества кружком поклонниц и поклонников, умевший смеяться по-детски, до слез, при непосредственном общении напрочь заслонял от постороннего взгляда столь верно угаданного в нем Бахытом Кенжеевым «пророка», «царя в изгнании», «беглого раба», «уязвленного, сумрачного человека»...

Познакомилась я с А. А. Тарковским в 1955 году, потом отношения наши прервались и возобновились лишь через девятнадцать лет. Тут уж встречи стали частыми, особенно в летние сезоны 1975-81 годов, на даче Тарковских в подмосковном Голицыне, где, начиная с 1976 года, они были почти ежедневными. В Москве мы виделись и перезванивались сравнительно редко.

В мою задачу не входит анализ творчества поэта, чьи стихи такой великий знаток, как Анна Ахматова, называла «дивными», «божественными».

Мне хочется лишь по возможности точно воспроизвести то, что я слышала от Арсения Александровича, и рассказать о той частице его жизни, с которой я соприкоснулась непосредственно, то есть передать некоторые свои впечатления от личности Тарковского; показать, в меру своего понимания, Тарковского в жизни, короче говоря, рассказать о том, что я слышала своими ушами и видела своими глазами.

Тщательно просмотрев грудку записных книжек, где были по свежему следу зафиксированы почти все беседы с Тарковским, я поняла, что приводить их полностью, в хронологическом порядке (что, кстати, было бы легче всего) — нет смысла: в разговоре Арсений Александрович — по ему одному ведомой внутренней логике — часто переходил с одной темы на другую, и эти дневниковые записи получались фрагментарными. Поэтому я попыталась для начала сгруппировать все рассказы Арсения Александровича об истории семьи Тарковских, о его родителях и брате, о детских годах в Елисаветграде, а затем привести отдельные, точно датированные записи о разговорах с Тарковским, сделанные тотчас же после этих бесед.

Необходимо подчеркнуть, что записи никак не претендуют на полноту и точность историческую — они лишь передают факты и события точно так, как о них рассказывал сам Арсений Александрович.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ СЕМЬИ И О ДЕТСКИХ ГОДАХ В ЕЛИСАВЕТГРАДЕ

Александр Карлович, отец Тарковского, родился в 1862 году, под Елисаветградом. Окончил реальное училище. Знал много языков, включая древние (в том числе — санскрит); в преклонном возрасте изучал древнееврейский. Писал милье, домашние стихи¹. В 1884 году был осужден по делу Елисаветградского народофильского кружка. На вопрос судьбы, принадлежит ли он к партии «Народная воля», А. К. Тарковский с гордостью ответил: «Да, я имею честь принадлежать к этой партии». После тюрьмы, где он сидел в одиночке, Александр Карлович был сослан в Сибирь, в селение Тунку, где пробыл пять лет. В одной избе с ним жили еще трое ссыльных: корреспондент английской газеты Шкловский (дядя будущего писателя Виктора Шкловского, писавший под псевдонимом Дионелло), врач Афанасий Иванович Михалевич и польский социал-демократ Юзеф Пилсудский. После ссылки Александр Карлович почти всю оставшуюся жизнь прожил в Елисаветграде.

В 1919 году, в страшное голодное время, дочь Александра Карловича от первого брака Леонилла выхлопотала ему как бывшему народовольцу персональную пенсию. Указ о ее присвоении был подписан Лениным. Одновременно Ленин прислал Александру Карловичу письмо с просьбой написать и прислать ему свои воспоминания о народовольческом движении на Украине, что Александр Карлович и сделал. Когда в городе установилась власть большевиков, Александра Карловича вызвали в ОСО Второй конной армии, где ему вручили конверт с золотым обрезом и огромной сургучной печатью — это было письмо Пилсудского. Привожу его в изложении Арсения Александровича: «Дорогой Саша, только теперь мне удалось добыть через АРА твой адрес. Если ты жив, откликнись. Приезжай в Варшаву. Если у тебя есть семья, бери с собой семью. Я устроен неплохо — стал маршалом Польского сейма. Посылаю две продуктовые и две вещевые посылки...»

В городе то и дело сменялись власти, шли бесконечные обыски и грабежи, так что в конце концов в доме Тарковских остались только матрацы и отцовская лира на воловых рогах. Неудивительно поэтому, что такие посылки в то голодное время оказались для семьи спасительным подспорьем — недаром 60 лет спустя Арсений Александрович с легкостью перечислял их содержимое: какао, сгущенное молоко, яичный порошок, мука, сахар; два отреза — в том числе синий шевинот, две пары обуви. В начале 70-х годов, съездив в Польшу, Арсений Александрович посетил кладбище, где похоронен Пилсудский, и положил на его могилу цветы... О независимом характере отца и вызванных этим некоторых его чудачествах Арсений Александрович неизменно говорил с оттенком гордости.

Так Арсений Александрович любил рассказывать о том, как отец сватался к его будущей матери, Марии Даниловне Рачковской. Мария Даниловна отказывала ему четырнадцать раз. Дошло до того, что в 1902 году, во время свадьбы их общих знакомых, где Александр Карлович был шафером, а Мария Даниловна — подружкой невесты, он пригрозил:

— Если вы мне опять откажете, я лягу на пол, буду кричать и бить ногами до тех пор, пока не получу вашего согласия.

— Ложитесь, — безмятежно ответила Мария Даниловна.

Александр Карлович тут же привел свою угрозу в действие — лег на пол, бил ногами и кричал до тех пор, пока Мария Даниловна не сказала:

-- Хватит, я согласна.

А вот другая излюбленная история Арсения Александровича — о том, как Александр Карлович проучил городского. Тот неоднократно требовал, чтобы с тротуара были убраны продольные камни, ограждавшие вход в дом Тарковских. Ненавидевший полицию и любое принуждение, Александр Карлович велел спустить на городского злющую суку по кличке Черт, и городской позорно бежал, бросив шашку, которой отмахивался от собаки. Александр Карлович поручил жившему при доме беглому монаху, товарищу его по сибирской ссылке, которого в семье ласково называли Александрик, отвезти на извозчике шашку в полицейский участок, чтобы все прохожие узнали о позорной трусости городского. В ответ на это полицейские приказали гицелям отловить Черта, но сыновья Александра Карловича забросали собачников камнями, и тем тоже пришлось спасаться бегством...

Во время гражданской войны, когда Елисаветград был занят немцами, Александр Карлович, рано ослепший от глаукомы, как-то шел с палкой по улице после комендантского часа, и один из немецких патрульных положил ему руку на плечо. Александр Карлович терпеть не мог, когда к нему прикасались, и, как рассказывал потом свидетель этой сцены, начал лупить немцев палкой, а они... вытянулись перед ним во фронт.

Во втором браке у Александра Карловича было двое детей — Валерий и Арсений. Характер у старшего — Вали — был отцовский, взрывчатый. Как-то он подсмотрел, что Александрик сорвал и съел одну из трех ягод, выросших на посаженной Александром Карловичем черешне, и тут же вызвал «преступника» на дуэль.

Необузданный характер Вали не раз приводил к большим неприятностям. В 1917 году Александр Карлович отдал свой сарай под крупорушку, и работники завалили двор дома половой. Отец послал 14-летнего Валу попросить, чтобы половику отвалили. Мальчуган ворвался в крупорушку с ножами и пригрозил, что если требование его не будет немедленно выполнено, он всех перережет. Рассерженные работники затянули ему шею ремнем и, стукая голову об пол, проволокли через все 13 комнат дома. Матери, по счастью, не было дома...

В 1919 году Валя за три недели проделал невероятную политическую эволюцию: кадет, большевик, анархист, в «каковом качестве» (слова Арсения Александровича) и был убит. В пятнадцать с половиной лет! После этого вся любовь родителей сосредоточилась на младшем сыне Арсении, и мать баловала его, как только могла, до самой своей смерти.

Арсений Александрович очень любил вспоминать — и слушать чужие воспоминания — о детстве.

В семье у Арсения Александровича была кличка — Муц. Немало воспоминаний было связано у него с праздниками, особенно — рождественскими. Обычно в ночь под Рождество каждому из детей привязывали к ботинку рождественский подарок. Арсений Александрович вспоминал, что как-то в раннем детстве, проснувшись в предвкушении счастья, он почему-то не обнаружил своего ботинка и горько зарыдал: Дед Мороз не только не принес ему подарка, но еще и ботинок отобрал!

А вот другой рассказ, показывающий, как доверчив Арсений Александрович был ребенком. Как-то он подошел на улице к незнакомому человеку и спросил: «Вас зовут Петр Андреевич?» Тот ответил: «Да». И только много лет спустя Арсений Александрович понял, что прохожий над ним подшутил.

Арсений Александрович никогда не лгал, даже в мелочах. Рассказывал: «До 14 лет я был ужасный врун, потом понял, что врать стыдно, и перестал».

По-видимому, эта правдивость в большом и в малом была причиной невероятной, истинно детской доверчивости Арсения Александровича, о проявлениях которой расскажу ниже.

Отец, знаток древних языков, хотел дать детям классическое образование. Арсений Александрович учился сперва в частной гимназии Крыжановского, где окончил три класса, потом перешел в 6-ю группу Единой трудовой школы. С удивительной незлобностью вспоминал он эпизод «бунта» в гимназии, когда старшеклассники переворачивали все вверх дном и колотили младших. Его, малыша, затащили в пустой класс, положили между партами лицом вниз, жестоко отлупили и оторвали подметки от новеньких ботинок (от этой экзекуции у Арсения Александровича навсегда остался след — шрам на нижней челюсти). Говорил Арсений Александрович об этом со свойственным ему юмором.

Арсений Александрович часто повторял, что биография у него весьма пестрая, и рассказывал разные кусочки из нее, преимущественно — забавные. Вот одна из рассказанных им историй, связанная с его «вхождением в поэзию». В Елисаветграде было двое городских сумасшедших. Одна из них — Софья Александровна, ходившая в шляпе с зелеными и оранжевыми перьями и в сапогах, всерьез считала себя поэтессой. Однажды Арсений Александрович и трое его друзей-подростков наняли погребальные дроги и вместе с Софьей Александровной разъезжали по городу, останавливаясь то тут, то там и читая стихи. Арсений Александрович

завернулся в желтое покрывало, а на голову водрузил зеленый абажур — он считал себя футуристом. Вскоре в местной газете, выходявшей на синей бумаге для сахарных голов, был напечатан дерзкий акростих лихих «футуристов» — Арсения Александровича и его друзей. В полудетской шалости власти усмотрели политическую крамолу: мальчиков арестовали и приговорили к расстрелу — шуток в те времена не любили. Юных арестантов хорошо кормили и даже водили в театр. Потом увезли в Николаев. Арсению Александровичу удалось бежать. Он добрался до Балаклавы, где стал работать учетчиком в рыболовецкой артели. «А уха там была — чудо!» — вспоминал Арсений Александрович. И без явной связи с ухой вдруг сказал, что стихи его учил писать остзейский барон Ротштейн фон Блюменау. Так в разговоре он часто перескакивал с одной темы на другую...

Еще одна излюбленная история из ранней юности (ее Арсений Александрович обычно рассказывал, когда ему было тяжело и грустно) связана с именем его друга той поры Фавста («Фавсика») Никитина.

Однажды после дружеского кутежа Арсений Александрович умудрился с тростью в руке залезть на фонарь. Подбежал приятель и сердито закричал: «Пока ты прохлаждаешься на фонаре, Фавсика жёнят». Арсений Александрович мигом спустился, и приятели бросились в дом, где шла свадьба. Невестой оказалась дочь черноусого мастерового Ната Славинская. Недолго думая, Арсений Александрович смел тростью все со свадебного стола и тем спас Фавсика от «принудительной» женитьбы. Рассказывал он это в лицах так мастерски, что собеседник не мог удержаться от смеха, и вместе с ним смеялся Арсений Александрович, хотя глаза у него оставались печальными.

О семье, детстве и ранней юности в Елисаветграде Арсений Александрович рассказывал особенно охотно. Из рассказов Арсения Александровича я поняла, что родной город часто ему снился (а сны у него были цветные): кладбище, которое с течением лет становилось в его снах все краше — маленькие аккуратные могилы, над ними звенят венки. Снился стоявший напротив дома Тарковских зеленый домик в три оконца, в детстве казавшийся Арсению Александровичу волшебным. Я передаю эти его рассказы в таких подробностях потому, что воспоминания об Елисаветграде и сны о нем послужили толчком для создания прекрасных стихотворений («Белый день», «Был домик в три оконца...»). В шестнадцать лет он приехал в Москву учиться.

О московской юности Арсения Александровича я многое узнала из его бесед с давним другом, замечательным поэтом

и переводчиком Марией Сергеевной Петровых, при которых мне довелось присутствовать. Например, о Высших литературных курсах при Всероссийском союзе поэтов, где они вместе учились в 1925-29 годах. Читали там такие корифеи, как Соболевский, Гудзий, Цявловский. «Но лекции мы слушали плохо, идиоты этикие», — признавалась Мария Сергеевна. Вместе дурили, писали стихи. Мария Сергеевна рассказывала, что Арсений Александрович был подвижный, как ртуть: вечно разбрасывался, внимание у него сосредоточивалось плохо (эта черта, насколько я могу судить, сохранилась у него и в дальнейшем). Мария Сергеевна говорила, что в ту пору Арсений Александрович был необыкновенно шедрым, хотя жилось ему трудно. Он без конца скитался по углам, жил впроголодь. Арсений Александрович рассказывал друзьям, что снится ему варенье, а жевать приходится свекольную ботву. На сей счет был написан такой шуточный стишок (привожу его со слов другой сокурсницы Арсения Александровича — поэта и переводчика Ю. М. Нейман):

Я несчастное творенье,
Очень трудно я живу:
Ем варенье в сновиденьи,
Наяву жую ботву.

Мария Сергеевна и Арсений Александрович вспоминали, как однажды дома у Марии Сергеевны в Замоскворечье несколько друзей с Высших литературных курсов готовились к экзаменам: Арсений Александрович сварил какой-то жуткий крушон, напился и уснул на сундуке, покрытом медвежьей шкурой («Остаток былой роскоши», — поясняла Мария Сергеевна). Ночью из кухни донесся дикий гробот. Отец Марии Сергеевны имел обыкновение сушить дрова на остывающей плите, и Арсений Александрович, непонятно как забредший на кухню, своротил всю полённицу. Едва Мария Сергеевна успела его, обернутого в простыню, втащить в комнату, как в кухню вышел ее отец. Был он человеком весьма строгих правил, и если бы застал там Арсения Александровича в таком виде, дело могло бы кончиться плохо. Как-то, в очередной раз оставшись без ночлега, Арсений Александрович заночевал у сестры Марии Сергеевны Кати, в доме в Гранатном переулке (москвичам знаком этот дом-«утюг» на углу Гранатного и Спиридоновки). Мария Сергеевна и Арсений Александрович не раз при мне вспоминали, как Катя положила Арсения Александровича спать на рояль в комнатке, куда ее пустил в порядке самоуплотнения известный архитектор Залесский. Ночью Арсений Алексан-

дрович вышел, а возвращаясь, перепутал комнаты, попал к Залесскому и в темноте стал его ощупывать, выкрикивая: «Я не один, нас много!» (Слова эти потом на всю жизнь стали одним из любимых присловий Марии Сергеевны и Арсения Александровича.) Рассказывала Мария Сергеевна, что в юности Арсений Александрович горячо и охотно откликался на чужую беду: после пожара энергично помогал ей откапывать уцелевшие вещи...

Сам же Арсений Александрович о своей жизни после отъезда из Елисаветграда говорил редко и отрывочно.

НЕКОТОРЫЕ ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ БЕСЕД
С А. ТАРКОВСКИМ (1976—1985)

Приведу хотя бы небольшую часть записей о разговорах с Тарковским, делавшихся сразу же после таких бесед.

Прежде чем перейти к дневниковым записям, хочу сказать, что у Арсения Александровича на всю жизнь сохранилось пленительное детство. Недаром он так любил рассказывать о собственном детстве и слушать рассказы о детстве других. О детстве — почти вся его удивительная проза.

Детскость Арсения Александровича проявлялась в его реакциях, в склонности к словесным играм, шуткам, шуточным песенкам, розыгрышам, очаровательному озорству и беспредельной доверчивости. Пусть же приведенные ниже записи, в которых достаточно отчетливо видны эти свойства Тарковского, не покажутся странными людям, родившимся взрослыми. Вот таким поэт Арсений Тарковский был в жизни, и эти его особенности в сочетании с органической демократичностью и уважением к чужой личности пленяли всех, с ним общавшихся, делали его «шармёром». Как человек большого ума «шармёрство» свое он сознавал. Очаровывать умел и любил. Но истоком этого «шармёрства» был не наигрыш, а истинная человеческая суть Арсения Александровича.

Удивительной была и его артистичность, проявлявшаяся в самых разных формах — от высочайшего поэтического искусства и актерского дара, позволявшего ему с легкостью перевоплощаться в того человека, о котором он рассказывал или читал вслух, до веселого, ловкого манипулирования вещами — скажем, пробками. Впрочем, обо всем этом — дальше.

Большая часть приводимых здесь дневниковых записей сделана в летние сезоны 1976-85 годов в подмосковном поселке Голицыно, коротким рассказом о котором я хочу их предварить.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГОЛИЦЫНЕ

С подмосковным поселком Голицыно связано много писательских имен. В 1932 году здесь был создан Дом творчества Литфонда (после длительного перерыва он вновь открылся в 1947 году). Писатели жили либо в самом доме, неповторимом по своему уюту и домашней, греющей душу обстановке, либо снимали комнаты на местных дачах и с судками ходили за питанием в Дом творчества. В разное время в Голицыне жили и работали М. Цветаева, А. Ахматова, М. Петровых, К. Паустовский, Ив. Катаев, А. Твардовский, Л. Славин, Д. Гранин, С. Капутикян, Ю. Домбровский и многие другие большие мастера. В 1937 году именно в Голицыно приехал возвратившийся из-за границы А. Куприн (жил он на проспекте Луначарского, как мне удалось установить, в доме № 34, у Звягинцевых).

Недаром А. А. Тарковский, любивший этот Дом творчества, в 80-х годах говаривал: «Голицыно — скелет русской литературы», — ведь многих замечательных писателей, в разное время работавших в голицынском Доме, в те годы уже не было в живых. Тарковский в 51-м году купил в Голицыне половину дома на Пролетарском проспекте (д. 19). В половине этой — два окошка по фасаду, два по правому торцу, одно по левому. Сам проспект — тихая и зеленая улочка, вдоль нее растут вековые сосны, ели, березы. Участок Тарковских небольшой, на нем две громадные березы, яблони; в густо заросшем палисаднике — кусты алого и белого шиповника, под окнами — неприменная маленькая клумба с особенной — зеленой с белою середкой — травой, которую Арсений Александрович насадил в память о садике при его родном доме в Елисаветграде. Под окнами — круглый садовый столик (Арсений Александрович часто за ним сиживал и собственноручно его чинил) и две простые лавочки без спинки.

Дача — необычная, одноэтажная с нежилым мезонином и затейливым балкончиком наверху — выкрашена в темно-терракотовый цвет, на нем красиво белеют оконные переплеты. В комнатах — зеленые полы и такого же цвета потолочные балки, выделяющиеся на белом потолке; над обеденным столом — коричневая деревянная люстра — шестиугольник, обсаженный деревянными птичками.

В половине Тарковских — 4 комнаты: в рабочем кабинете Арсения Александровича много книжных полок и телескоп, некогда любимая его «игрушка». Над кроватью — полка с подаренными ему поэтическими сборниками. На тумбочке у кровати — безделушки и рисунок, подаренный девочкой

Улей: раскинувшая лапы обезьяна (Арсений Александрович с детства очень любил обезьян и артистически их изображал).

В столовой — выложенный коричневой плиткой камин; на каминной полке — глиняные лошадки. На белом серванте два украинских керамических барана, справа на комод — телевизор, слева — узенький шкаф с гжельским фарфóром, фаянсовыми и фарфóровыми чашками и фигурками. Рядом с камином — стенной шкаф с зеркалами. Из столовой — вход в кабинет Арсения Александровича и в спальню Татьяны Алексеевны. В спальне красивая «двухэтажная» книжная полка над кроватью, цветная репродукция с картины Пикассо. Четвертая, маленькая комнатка, в которой провел отроческие годы рано ушедший из жизни сын Татьяны Алексеевны — Алексей Студенецкий, в последние годы была ее рабочим кабинетом.

Так выглядели дача и комнаты в 70-80-х годах.

Слева к дому примыкает крошечная терраска, из-за которой поселковые власти основательно потрепали Арсению Александровичу нервы — она не была внесена в план, и поссовет постановил... снести ее.

Чтобы спасти терраску, потребовалось вмешательство самого высокого писательского начальства. Помню поездку с Тарковскими летом 1976 года в Одинцово, в отдел районного архитектора. Арсений Александрович, для которого всякая поездка в «сферы», как он именовал власти любого уровня, была фóрменной пыткой, не только моральной, но и физической, дорогою извёлся. К архитектору мы пошли вместе. Пришлось крепко держать Арсения Александровича за руку — он был не в себе. Пустячный этот вопрос был решен за полминуты, но для такой ерунды Арсению Александровичу пришлось провести много неприятных разговоров, чтобы заручиться ходатайствами именитых начальников. Фронтóвик, вернувшийся с войны без ноги, замечательный поэт, он был глубоко оскорблён этой унижительной возней — и из-за чего, из-за четырёхметровой терраски!

Разговоры с Тарковским, приводимые в дневниковых записях, по большей части велись в кабинете Арсения Александровича, или в палисаднике, за круглым столиком, или в Доме творчества, или во время прогулок по голицынским улицам, вдоль скромных дачек; на дачных участках — рябина, старые разлапистые яблони, огородные гряды, клумбы. Таким было Голицыно в 70-80-е годы, во многом сохранилось таким и по сей день.

ГОЛИЦЫНО. ЛЕТО 1976 ГОДА

23 июля

У Тарковских на даче никак не кончат ремонт. Живут в Доме творчества.

В кинотеатре идет фильм Андрея Тарковского «Зеркало». Мария Сергеевна Петровых хочет, чтобы мы пошли с нею вдвоем. Ставит условие: на обратном пути — полное молчание. Тут же соглашаюсь. В фильме многое о семье Тарковских — значит, обсуждению не подлежит. Выходим из кино бледные, трясущиеся. Пришедший на следующий сеанс народ из Дома творчества спрашивает: «На вас что, муку возили?»

Муку на нас возили... Возвращаемся молча — как договорились.

24 июля

В столовой Дома творчества за небольшим (в отличие от большого, общего) столом — Тарковские, Мария Сергеевна Петровых, вечно пьяный поэт Д., его свояченица и я. Вчера Д. пришел с «Зеркала» взбешённый и сегодня «выговаривает» Тарковскому:

— Нет, ты скажи, за чего люди деньги плотют? Не-ет, ты скажи. Дерьмо это «Зеркало». Уходят люди с сеанса — и правильно делают. Вот ты стал читать, я твой голос узнал, ну это еще ничего, интересно. А остальное — дерьмо. Тьфу!

Арсений Александрович кротко молчит. Мы оцепенели.

Свояченица Д. решила пролить масло на воды — задает Арсению Александровичу вопрос:

— А который из этих мальчиков в картине — вы? (*Ничерта не поняла.*)

Арсений Александрович (*чуть улыбаясь*): «Который пошелудивей»...

Мнение Д. в Доме творчества разделяют и некоторые другие. Страшно неловко перед Арсением Александровичем. Выходим в сад, садимся на лавочку.

Арсений Александрович: «Чего там не понимать? Он же дикарь. Вы все поняли?»

— По-моему, все. Кроме одного эпизода: в общарпанной комнате женщина с умными глазами велит мальчику прочитать письмо Пушкина к Чаадаеву. Слушает и молчит. Потом больше не появляется. Кто это? В чем тут замысел?

Арсений Александрович: «Андрюшка и сам не понимает, я тоже спрашивал».

28 июля

Тарковские уже на даче. Арсений Александрович разбирает книжные полки. Снимает томик Пушкина. Читает вслух стихи и в который раз с радостным изумлением повторяет: «Какая поэзия!»

Особенно любит «Полтаву», вновь и вновь может читать с восторгом первооткрывателя поэму, которую с детских лет знает наизусть. О «Медном всаднике» говорит: «Поэма гениальная, но какая страшная...»

При мне рассказывал Марии Сергеевне Петровых свой поразительный сон о Пушкине, впоследствии послуживший, как считал сам Арсений Александрович, толчком к созданию цикла «Пушкинские эпитафии». (Опубликован в сборнике А. Тарковского «Зимний день». М., 1980.)

Вот этот сон. Арсению Александровичу привиделась Бессарабия: в домике наподобие мазанки, но почему-то розового цвета, Пушкин, маленький, очень живой стоит у рукомятника, намыливает руки. Увидев Арсения Александровича, приветливо вскидывает голову, улыбается ему, выказывая готовность вступить в разговор. Но заговорить с ним Тарковский не осмелился и прошел мимо. С той поры, рассказывая этот сон, всякий раз сокрушался, что хотя бы во сне не побеседовал с любимым поэтом.

1 августа

Голубой денек. Яблони увешаны созревшим белым наливом. Арсений Александрович починает садовый столик, ловко орудуя молотком. (Вообще «рукастый» на удивление: чинит молнии, артистически ставит заплатки на старые куртки, починает всякую всячину.)

Арсений Александрович: «Наконец-то пожаловали! Ну, рассказывайте, над чем думаете».

Мне давно хочется спросить Арсения Александровича о странностях в истории Иуды. Рассказываю, что меня озадачили слова евангелиста Иоанна о том, что во время Тайной вечери в Иуду вошел сатана.

Неразрешимая загадка: был Божий замысел. Бог не внял молению сына «Да минует меня чаша сия», стало быть, Иуда исполнял Божие предназначение. Но мало этого, в него еще вошел сатана. Полученные за предательство Христа тридцать сребренников Иуда выбросил за ограду храма и казнил себя сам: удавился на осине, закрыв себе тем самым путь к спасению.

Арсений Александрович внимательно слушает.

— Вы до этого сами додумались?

— Сама. Но я неверующая, потому и хотела спросить человека религиозного.

Арсений Александрович: «Я долго ломал себе над этим голову. Когда был в Польше, посетил монастырь в Лясках и задал тот же вопрос об Иуде настоятелю пану Тадеушу. Тот сказал, что в Ватикане одно время ставился вопрос о канонизации Иуды, но от этого отказались — он же самоубийца».

— В том-то и дело, ему изначально были отрезаны все пути, и это промысел Божий.

Арсений Александрович: «Да, все это так. А вот вы знаете, что Иоанн Креститель крестил Христа за полтора года до того, как тот начал проповедовать? Христианство имеет свои корни — это секта ессеев. У них был обряд омовения, для него имелись специальные бассейны. Если низший по сану прикоснулся к высшему, требовалось омовение. Отсюда, по-видимому, и обряд крещения».

— Позвольте, но это же было до Евангелия, и там, естественно, ничего этого нет.

— Конечно. Но вообще-то я за ортодоксальное толкование Евангелия. И нечего мудрить.

В религиозности Арсения Александровича — ничего показного: нательный крест никогда не виден, изредка, когда он в постели, в верхней части шеи заметен кусочек простого шнурка от крестика. Постов, насколько могу судить, не соблюдает. Большой знаток Библии. Часто заглядывает в справочник по Библии — «Симфонию». Иногда вкрапляет в речь непонятные для атеистов библейские изречения.

Например, в Доме творчества его кто-то спрашивает: «Вы не видели такого-то?» Отвечает: «Разве я сторож брату моему?» Человек, не знающий, что в Библии Каин так отвечает на вопрос об Авеле, отходит от Арсения Александровича в полном недоумении...

Рассказывает, что его наставником в вере был академик Вернадский. Познакомили его с ним дочери академика Баха.

Арсений Александрович: «Вернадский развивал у меня теологическое мышление — для этого давал читать много книг, в том числе Павла Флоренского, Сергея Булгакова. Они и оказали на меня решающее влияние».

6 августа

Арсения Александровича одолевают графоманы. Один из них, полупомешанный молодой человек, буквально его оса-

ждает. Дошло до того, что Арсений Александрович, когда Тарковские жили в Доме творчества, стал его по-детски бояться и прятался, едва завидев издали странное это существо. «Плодовитая бесплодность», — называет его Арсений Александрович. Сегодня графоман снова явился в Дом творчества писателей и стал приставать ко всем, требуя, чтобы ему сообщили адрес дачи Тарковского. Увидев его и зная, что делается с Арсением Александровичем при одном его приближении, я бросилась на дачу — предупредить. Арсений Александрович побелел. Решили так: Татьяна Алексеевна, жена Арсения Александровича, Марина Арсеньевна, его дочь, и Александр Витальевич, его зять, образуют заслон у входной двери, я увожу Арсения Александровича в дом. Держа Арсения Александровича за руку, ввожу его в самую дальнюю комнату дачи — кабинет. Человек далеко не робкий, он обливается потом, стонет, глаза у него то и дело закатываются — такова острота чисто детской его реакции на нечто неприятное. Остается одно: немедленно его отвлечь. Все еще крепко держа Арсения Александровича за руку, начинаю размахивать ею в такт стихам капитана Лебядкина («Бесы»):

Жил на свете таракан,
Таракан от детства.
А потом попал в стакан,
Полный мухоедства...

Испуг Арсения Александровича постепенно проходит, он улыбается. Продолжаем уже вместе, взмахивая в такт сжатыми руками:

Место занял таракан,
Мухи возроптали,
«Полон очень наш стакан»,
К Юпитеру закричали.

Арсений Александрович хохочет, и, отпустив его руку, читаю дальше:

Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик...

«...Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплёскивает в лохань всю комедию — и мух, и таракана... Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет!»

Арсений Александрович серьезно и внимательно слушает, грустно кивает:

— Вот-вот. А я ропщу...

Спасибо капитану Лебядкину — хотя вряд ли он когда-либо удостаивался читательской похвалы. Юмор Достоевского обычно помогает вывести Арсения Александровича из самого мрачного настроения.

19 августа

Счастливым днем. Ездили с Тарковскими в Жуковку, под Барвихой, к моим друзьям — Георгию и Сусанне Левинсонам. На днях мы там были. В тот раз перезнакомила всех. Дружно. Тепло. Они дали нам «Чевенгур» Платонова и «Реквием» Ахматовой, вмонтированный в потолстевший от этого номер «Нового мира» и набранный «новомировским» шрифтом. Арсений Александрович читал день и ночь. Едем отдавать.

В Жуковке Арсений Александрович охотно читал стихи — мои друзья включили магнитофон, записали. Потом Арсений Александрович попросил магнитофон выключить (будет читать ненапечатанное) и прочитал необыкновенные рассказы о своем детстве: «Донька», «Марсианская обезьяна», «Чудеса летнего дня», «Обмороженные руки», «Точильщики». Все заморожены.

В ответ на вопрос одного из гостей Арсений Александрович рассказывает об единственном в его жизни стихотворении о Сталине. В войну Арсений Александрович служил в редакции фронтовой газеты. Маршал Баграмян приказал ему и композитору Любану для поднятия духа бойцов за три дня сочинить песню о Сталине. Не исполнить приказа маршала Тарковский как человек военный не мог и рассказывал об этом со спокойным достоинством.

Песня потом часто исполнялась по радио. Все мы помним ее мотив и припев:

Выпьем за Родину,
Выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем.

Кстати, композитор этот — автор музыки к популярной песенке, исполнявшейся джазом Леонида Утесова:

Так будьте здоровы, живите богато,
А мы уезжаем до дома, до хаты.

Ходили все вместе гулять. Сидели на краю обрыва над Москвой-рекой. Красота немислимая — излуцина реки, за ней зеленые поля, далеко-далеко — полоска леса.

И кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по-старому —
Преображение Господне...

Договорились запомнить этот день навсегда.

19 сентября

В Дом творчества зашел Арсений Александрович — по-прощаться: Тарковские уезжают в Переделкино. Принес мне царский подарок — большое шутовое стихотворение: «В защиту Суламифи от легкомыслия царя Соломона». На мгновение взял мою руку, по-ребячески прижался к ней щекой. Старые дети прощаются до следующего лета.

МОСКВА, ЗИМА — ВЕСНА 1977 ГОДА

25 января

Звонит Арсений Александрович.

— Приезжайте, я, кажется, написал поэму. Условно назвал — «Чудо со щеглом».

Вечером поехала к Тарковским на Садовую-Триумфальную. Арсений Александрович сказал, что «написалась» поэма очень быстро (он вообще творец моцартианского склада), но потом он тщательно ее отделявал — на все это ушла неделя. Тут же стал читать, причем сам первый смеялся в смешных местах — вещь еще не «отделилась» от него.

Тарковский читает медленно, не форсируя звука, без всякого позирования, с достоинством. Читает не по-актерски, то есть не разбивает строку подчёркнутой расстановкой смысловых акцентов. Непостижимым образом одновременно передает тончайшие оттенки смысла и полностью доносит звукопись стиха — «кладку слов, скрепленных их собственным светом», как сам он определяет «мучительный труд поэта».

Получается нечто абсолютно органичное — и смысл и звучание донесены до слушателя полностью.

Только Арсений Александрович кончил, приехали приглашённые им Михаил Козаков с женой. Едва успев переобуться

в старые шлёпанцы Арсения Александровича, Козаков стал с ходу читать с листа, и тут произошло прямо-таки чудо: даровитый артист с первых же строк уловил интонацию автора (а ведь он поэму даже глазами не пробежал и не знал ее содержания). Прочел же ее именно так, как было задумано Тарковским. (Могу судить по тому, что непосредственно перед этим выслушала всю вещь в исполнении автора). Тут сказался актерский такт Козакова и большая общая культура.

Слушая Козакова, Арсений Александрович сиял и вновь радостно смеялся в смешных местах:

— Миша, вы молодец.

Другим чтецам, в исполнении которых я слышала стихи Тарковского, они удавались редко.

Так, стихотворение «Я ветвь меньшая от ствола России», которое сам Тарковский читал удивительно просто, без всякого нажима, известный чтец С. выкрикивал: «Я! Ветвь! Меньшая! От ствола! России!» и фактически губил вещь — такая манерность, ложное величие и крикливое самоутверждение прямо противоречили поэтической и человеческой сути Тарковского.

Однажды я спросила Арсения Александровича, как он терпит эту скверную декламацию, но он только улыбнулся в ответ: «Ничего, ничего, пусть...»

А секрет, как объяснила мне позднее дочь Тарковского, Марина Арсеньевна, — очень прост. Так трагически поздно допущенный к слушателю и к читателю (стихи его до 1962 года, то есть до 55 его лет, ходили только в списках), Арсений Александрович бывал от души рад уже тому, что его читают, и поэтому никогда не делал чтецам никаких замечаний — напротив, был им благодарен.

13 марта

Телефонный звонок.

Арсений Александрович: «Приезжайте к нам в гости».

— Когда?

Арсений Александрович: «Что значит «когда»? Я же не Наполеон Бонапарт!»

— А я бы к Наполеону ни за что в гости не пошла.

Арсений Александрович (*радостно*): «И я. До чего мне несимпатичны всякие Наполеоны и Наполеончики! Их же уважать нельзя».

Вечером на Садовой-Триумфальной. Арсений Александрович хочет показать подаренные ему новые зарубежные

издания русской поэзии. Скачет по приставленной лесенке вдоль высоких, под потолок, книжных полок — у меня темнеет в глазах. Наконец спускается. Читает вслух Чулкова, Ходасевича, Георгия Иванова. На диване — уже знакомый мне большой плюшевый мишка. Достаяю из сумки свёрточек. Арсений Александрович смотрит на него, потом отводит глаза, потом снова смотрит. Очень медленно разворачиваю свёрток, вынимаю детские галошки. Начинаю знаменитое стихотворение Тарковского:

Я человек, я посредине мира.
За мною — мириады инфузорий,
Передо мною — мириады звезд...

Прокурбским жестом указываю на мишкины лапы:

— Все это так. Но мишка — без галош!

Натягиваю ему блестящие новенькие галоши. В самый раз. Арсений Александрович смотрит круглыми глазами. Потом улыбается во все лицо, потом смеется, потом хохочет. Я за ним. Хотела бы посмотреть на человека, который не засмеется вслед за Тарковским.

Отсмеявшись, говорит:

— Нет, вы и вправду настоящий ребенок!

А оба мы — старики.

Потом Арсений Александрович упоённо читал Тютчева и Боратынского. На прощание молча протянул мне скелетные большой скрепкой перепечатанные на машинке листки, кое-где исправленные им от руки. На первой странице — заголовок: «Арсений Тарковский: Стихотворения. 1976 год» и приписка от руки: «Милой моей подружке Суламифи Оскаровне с любовью».

ГОЛИЦЫНО, ЛЕТО — ОСЕНЬ 1977 ГОДА

26 июня

«Чёрствы́е именины» Арсения Александровича. С утра принесла в подарок «Fioretti» («Цветочки») Франциска Ассизского.

Арсений Александрович (*радостно*): «Как вы догадались? Ведь 24-го день рождения Анны Андреевны! Эту книгу я любил особенно, поэтому когда-то подарил ее Ахматовой — она ею восхищалась. До сих пор помню — желтенькая такая была книжечка. Какое совпадение! Это же лучшая книжка в мире!»

Тут же стал читать стихи Ахматовой. Сказал, что с годами ценит ее поэзию все больше и очень любит ее как человека.

— При виде Анны Андреевны я всякий раз чесался от влюбленности.

Ахматовой Тарковский посвятил стихотворение «Рукопись», а после ее смерти написал цикл «Памяти А. А. Ахматовой».

От Марии Сергеевны Петровых я узнала, что Арсений Александрович познакомился с Ахматовой незадолго до войны у Шенгели, что Ахматова называла стихи Тарковского дивными, божественными. Она написала рецензию на его первый сборник стихов «Перед снегом» (1962), а до того давала своим друзьям и поклонникам читать стихи Тарковского в списках. Сам Арсений Александрович об этой высочайшей оценке Ахматовой его поэзии не упомянул ни разу (тщеславия, во всяком случае, в обычной его форме, он начисто лишен — черта для поэта весьма редкая; но цену себе знает). Просто со свойственной ему самоиронией рассказал, что, прочитав его стихотворение «Земное», Ахматова сказала так: «Арсений Александрович, теперь, если вы попадёте под трамвай, мне нисколько не будет вас жаль».

— Вот такая изысканная похвала, — добавил Арсений Александрович.

Позволю себе привести это прекрасное стихотворение полностью:

Когда б на роду мне написано было
 Лежать в колыбели богов,
 Меня бы небесная мамка вспоила
 Святым молоком облаков,

И стал бы я богом ручья или сада,
 Стерег бы хлеба и гроба, —
 Но я человек, мне бессмертья не надо:
 Страшна неземная судьба.

Спасибо, что губ не свела мне улыбка
 Над солью и желчью земной.
 Ну что же, прощай, олимпийская скрипка,
 Не смейся, не пой надо мной.

Арсений Александрович с восхищением говорит о необыкновенно изошрённом поэтическом слухе Ахматовой. Рассказал, что, когда прочитал ей стихотворение «Первые свидания», Ахматова сразу спросила:

— Вы начинали его терцинами²?

— А ведь я, — добавил Арсений Александрович, — и вправду начинал его терцинами, но потом мне стало лень...

Повторил слова Ахматовой: «В нашей жизни нет ничего, о чем не было бы написано у Кафки».

Потом стал рассказывать о разных житейских происшествиях, характеризовавших Ахматову. Вот некоторые из них:

Однажды Ахматова шла зимой по Ленинграду в старом дождевике, прислонилась к колонне какого-то дома, чтобы передохнуть, и ей подали гривенник. Она поблагодарила, принесла его домой и положила за икону. Очень этой монеткой гордилась.

Арсений Александрович ценил остроумие Ахматовой. Как-то, когда Ахматова гостила на Ордынке у Ардовых, одного из их мальчиков послали купить к чаю что-нибудь сладкое, и он принес давленные-передавленные «подушечки».

— Их хоть при тебе давили? — спросила Ахматова без тени улыбки.

Однажды, услышав пьяную брань, вскинула голову и, глядя на Арсения Александровича, горделиво произнесла:

— Ну и что ж. Мы — филологи.

Арсений Александрович рассказал, что Анна Андреевна не любила Льва Толстого за его моралистические поучения. И очень резко отзывалась о Чехове, утверждая, что и люди у него жалкие и в нем самом много мещанского. Мнение ее о Чехове Арсений Александрович разделял, и, должно быть, увидев на моем лице крайнее удивление, сердито сказал:

— Нет, нет, и не спорьте. Мне Чехов тоже не нравится — людей он не любил, потешался над ними...

Арсений Александрович радуется подаренной ему пластинке со стихами Ахматовой в ее собственном исполнении и ставит пластинку для каждого гостя, чтобы лишний раз послушать ее самому.

Хотя и говорит, что с годами ценит Ахматову больше, а Цветаеву меньше, часто читает стихи Цветаевой вслух.

14 июля

Тарковские хотят брать молоко у моей молочницы Зины. Арсений Александрович твердит, что будет ходить к ней со мною. Но у Зины с начала лета — постоянные клиенты и все молоко распределено. Кроме того, идти ему далеко, да еще поздно, в темноте, по грязи. Но Арсений Александрович настаивает — видно ему хочется гулять.

Вечером Арсений Александрович заходит за мной: в одной руке палка, в другой — бидон. Идем на проспект Мира. Путь

на протезе от дачи Тарковских немалый. Одиннадцатый час. Стемнело. Двор молочницы завален кучами дёрна, брёвнами, мусором. К хибарке-развалюхе приставлена высокая лесенка. Арсений Александрович осматривается. Заворожённо:

— Как мне здесь нравится — темно, странный двор, какая-то лестница, кошки...

Поднимаемся на грязную веранду. Арсений Александрович очень уважительно здоровается с Зиной (вообще уважителен со всеми). Вдруг:

— Ой, котёнок! (*Нагибается.*) Ну, здравствуй. Меня зовут Арсений Александрович, а тебя?

Суровая карлица-хромоножка Зина внимательно наблюдает эту сцену. Заметила, что Арсений Александрович поднимался по ступеням с трудом и в руках у него палка. Кто он — она не знает.

Увлеченный разговором с котенком, Арсений Александрович уже забыл о молоке. Прошу Зину давать Тарковским молоко. Зина молча рассматривает Арсения Александровича. Потом сердито:

— Нет свободного молока. Но кому другому откажу. А вам — будет!

Арсений Александрович уже разыгрался:

— Спасибо, спасибо! А хлев посмотреть можно? Корову? Ругательница Зина необычно почтительно:

— Уж вы извините, вон люди молока ждут. А в другой раз — свожу беспременно.

Наливает Арсению Александровичу два литра молока. Это непреклонная-то Зина! Арсений Александрович благодарит, вежливо прощается со всеми, медленно спускается по ступенькам. (Всегда требует, чтобы спускались впереди него — ему неприятно, должно быть, мысль, что сзади его мучения с протезом явственно видны.) Бредём к калитке. Арсений Александрович радостно повторяет:

— Какая хорошая женщина! Какой удивительный двор! А котенок!

— Ну вот, Зину и котенка обаяли, а корова осталась неохваченной.

Арсений Александрович: «А корова — на очереди!»

18 июля

Вчера возвращались в темноте от Зины. Шутили по поводу завтрашней поездки Арсения Александровича в «сферы». Хочу проводить Арсения Александровича до его калитки. Их проспект весь в рытвинах и лужах.

Арсений Александрович: «В гости зайдете?»

Объясняю, что у меня много дел.

Арсений Александрович (*сёрдится*): «Ах, не зайдете? Тогда катитесь».

Настаиваю, чтобы позволил проводить его до дома.

Арсений Александрович: «Нечего, нечего. Не хотите в гости, катитесь. Только сперва погладьте меня по голове».

Погладила и укатилась. Проклинаю себя, что послушалась. Возле самого дома Арсений Александрович оступился и упал. Кричал от дикой боли. Однорукий сосед Саша Жарков услышал, выбежал, поднял его и умудрился донести до кровати.

Утром Алеша (пáсынок Арсения Александровича — Алексей Студенецкий) с приятелем возили Арсения Александровича в местную поликлинику на рентген, там же наложили лангетку. Трещина на шейке бедра ампутированной ноги («предпоследняя нога», — шутит Арсений Александрович).

Арсений Александрович лежит иззелена-бледный в повязанной, как у древнего египтянина, косынке. Кроткий после укола обезболивающего.

— Это же царская боль, не то что вчера...

«Ломается» беспрерывно: то ребро, то рука, теперь нога.

— Я вам записал те стихи, что вы просили — «В магазине меня обсчитали» и «Я тень из тех теней»...

Не понимаю, когда успел — после такой страшной ночи да еще утра в поликлинике у хирурга. Но обещал — сделал. Генетическая верность слову. Терпелив, весел. Дочери Марине просит не сообщать. Приехал из Переделкина замечательный хирург Юлий Осипович Зак: лежать два месяца. Нужна перегипсовка — лангетка наложена безграмотно.

Читаю переписанные Арсением Александровичем стихи и говорю, что у него почерк волевого человека: строки ровные, идут вверх.

Арсений Александрович со спокойной гордостью:

— А я и есть волевой человек.

С редкостным достоинством переносит свое фронтовое увечье (три ампутации ноги, осталось только бедро; фантомные боли в отнятой части ног; тяжелый протез или костыли — на всю жизнь).

Часто падает, при этом чувствует себя виноватым перед спутником:

— Шел я с мальчиком и упал. Он, бедняжка, так испугался!

Прошлым летом, когда Тарковские жили в Доме творчества, Арсений Александрович входит в столовую, смеется:

— Я — идиот. Как князь Мышкин. Только Мышкин разбил вазу, а я опрокинул Марусин чемодан. (Хотел помочь Марии Сергеевне Петровых с укладкой. — С. М.) — Бедная Маруся, пришлось ей все укладывать снова.

Приходит Мария Сергеевна Петровых — бледная, голос дрожит:

— Арсений сейчас у меня споткнулся о чемодан и так грохнулся — мог разломаться на части. Боже, как я испугалась. А он хохочет...

18 июля

Был местный хирург Канделис. Артистически «перегипсовал» Арсения Александровича. Назначил мумие.

23 июля

— Почему вы вчера не пришли? Словом переболвиться не с кем.

А дом полон народа. Понаехали поклонники, поклонницы. Слава Богу, раздобыли мумие. Советую Арсению Александровичу, если ему так скучно, поговорить с самим собой. Как говаривала мудрая моя бабушка, за которой это водилось, — приятно же побеседовать с умным человеком.

Арсений Александрович: «А я — не умный. (*Вопрошающий взгляд: ждет опровержения.*) И даже не Аполлон. Ха, Аполлон с отбитой ногой!»

Просит дать ему с полки томик украинского поэта Григория Сковороды. В семь лет друг отца по сибирской ссылке Афанасий Иванович Михалевич³ открыл ему эту философскую поэзию, и Арсений Александрович полюбил ее на всю жизнь. Читает вслух стихи Сковороды. Вообще часто повторяет его строки, особенно автоэпитафию: «Мир ловил меня, но не поймал». Впоследствии написал о нем стихотворение: «Григорий Сковорода», помещённое в сборнике «Зимний день». («Советский писатель». М., 1980.)

18 августа

Арсений Александрович желтый, много курит, читает Гумбольдта.

— Почему так ненадолго приходите? Вас надо сечь золотой розгой.

Объясняю, что больна и, как только полегчает, приду с «полнометражным» визитом.

— А я прочитал Константина Леонтьева. Какой умница! Все предвидел еще когда. Про народовольцев пишет: они хотят излечить от насморка, а доведут до чумы. Как-то в Оптиной пустыни встретил Льва Толстого, сказал ему: «Хорошо бы, граф, вас сослали, да подальше, в Сибирь, да в тюрьму, чтобы графиня и дочери вас не могли ублажать». А Толстой ему: «Голубчик, сделайте милость, похлопочите, чтобы сослали. Я всячески стараюсь опорочить себя в глазах правительства, так нет же, мне все сходит с рук».

Подую Арсению Александровичу банку его любимого варенья «Роза». Арсений Александрович рассказывает, что отец его, Александр Карлович, называл это «варёные тряпки». Сразу же очень ловко открывает банку — ждате он совсем не может. С наслаждением хлебает варенье из блюдечка, потом блюдце тщательно вылизывает и победоносно озирается — доволен своим озорством и очарователен своим детством.

19 августа

Арсений Александрович, землисто-бледный, лёжа, сосредоточенно лепит из пластилина барельеф — собственное лицо. В доме тепло, соседка Ирина Анатольевна истопила печь. На кровати справа, как всегда, много вещей — планшетка, книги, доска для пасьянса, дощечка, к которой крепится лист бумаги, — все в идеальном порядке.

Сажусь, молча слежу за его работой. Работает медленно, тщательно, весь поглощён делом. Вдруг:

— Что вы молчите? Я все равно вас слушаю — внутри.

Рассказывает, что в который раз перечитывает всего Достоевского и всего Толстого. Достоевского ставит выше всех русских писателей, любит его как человека. Всю минувшую ночь читал «Униженные и оскорбленные». На мои робкие слова, что этот роман, как мне кажется, несколько слабее других, сердито отвечает:

— У Достоевского нет слабых романов.

С сердцем говорит:

— Все русские писатели, кроме Достоевского, рубили сук, на котором сидели, в том числе и Толстой. Один Достоевский предупреждал о грядущей беде, но кто его слушал?

2 сентября

Радость! Гипс будут снимать 28-го. Арсений Александрович сидит в кресле перед открытым окном, босая (здоровая) нога — на теплой батарее. Увидев меня, начинает ритмически хлопать в ладоши: «Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам» — ария Кармен. Дурячась, берет ногой с подоконника то очки, то карандаш. Там же лежит томик Лескова — он его сейчас перечитывает. Захожу в дом. Начинает читать вслух свой перевод средневекового арабского поэта и мыслителя Абуль-Аля аль-Маарри — только что пришла вёрстка из издательства «Художественная литература». Читает с удовольствием почти час и, как обычно, поглядывает на слушателя — нравится ли. Чтение сопровождается остроумными комментариями — параллели с современностью. В верстке пропущена строка после слов:

Когда бы алчности ты не был жалкий раб...

Огорченно-вопросительно смотрит на меня.

Подхватываю:

...Сберкнижки бы ты сдал и сел под баобаб...

Доволен, смеется «весь», морща нос. Приходит соседка Ирина Анатольевна, приносит бандероль, присланную ей из Ленинграда — модную игру «Эрудит» (Арсений Александрович просил заказать там у ее родных). Арсений Александрович тут же забывает про перевод, с лихорадочной поспешностью распаковывает новую игрушку. Помогаю.

Арсений Александрович: «Осторожней, верёвку не порвите».

— И веревочка пригодится.

Арсений Александрович: «Да-да, пригодится. Веревочка всегда пригодится. Я Плюшкин и Осип в одном лице».

Позабыл обо всех и обо всем, увлеченно проверяет, полный ли комплект фишек в этом «Эрудите». Потом начинает играть сам с собой. Когда Арсений Александрович увлечен игрой — в нарды, в шахматы, в карты, в «Эрудит», человеку, не являющемуся партнером в игре, рядом с ним делать нечего. Испаряюсь.

4 сентября

Арсений Александрович сияет: завален подарками, убажён, приветлив.

Рассказывает, что в Грузии готовится его книга, куда войдут в основном переводы. Пять листов¹. Потом, без всякого перехода:

— Кошка Фрося опять беременна. Поверьте, не от меня. Ой, вы только представьте себе, идет вереница котят, и у всех мое лицо. Боже, котят придется топить. — Отчаянно: — Не буду! Не буду! Не буду!

На листе бумаги нарисовал фантастический рисунок: концлагерь, пять лиц палачей (идиот, садист и др., все разные) и тюремный врач. На заднем плане мощные голые лампы, колючая проволока.

— Почему так редко бываете?

— Господи, я позавчера была.

— Нет, вы все время куда-то отдаляетесь, как астральное тело, я же чувствую.

А еще говорят, что он не видит людей. Когда смотрит, видит все до дна. Только смотрит редко.

16 сентября

Арсений Александрович лежит. Не без гордости, но с запинкой читает по-немецки (готический шрифт) детскую книжку Буша (автор знаменитой книги «Max und Moritz» — «Макс и Мориц») с рисунками. Смеется, радуется. Ему прислала ее в подарок библиограф из магазина «Дружба» вместе с вышивкой мельчайшим крестиком по канвэ — очень красивый цветной рисунок: река, лодка, мельница. Сверху вышита надпись: «Арсению Александровичу Тарковскому».

Арсений Александрович (*радостно*): «Небо! Вы посмотрите, какое небо! Надо в рамку, хорошо бы — старинную. Почему-то она называет это в письме «гобелен». А лица ее я совершенно не помню. И имени-отчества тоже...»

Потом читал Фета и Тютчева.

Приехала Лариса Миллер (вместе с А. Радковским, М. Синельниковым, М. Рихтерманом она училась у Арсения Александровича в студии молодых литераторов при Союзе писателей, которую он одно время вел). Привезла в подарок только что изданный сборник ее стихов «Безмянный день». С благодарностью расцеловала своего учителя.

— Арсений Александрович, это наша общая книга!

Наставник горячо радуется выходу книги. После отъезда Л. Миллер дал мне ее почитать:

— У Ларисы прозрачно-родниковая форма при истинно глубоком содержании. Когда читаю ее, отдыхаю от невняти-

цы и мнимого глубокомыслия, а их так много в современной поэзии.

18 сентября

Пришла на дачу Тарковских. Первый вопрос Арсения Александровича:

— Ну, как вам Лариса Миллер?

С увлечением стал читать вслух ее стихи, не вошедшие в сборник. Потом сказал:

— Как жаль, что ее не услышит Ахматова...

Таких слов мне ни об одном из молодых поэтов от Арсения Александровича слышать не доводилось. Уважительно упомянул о том, что Лариса отказалась изменить в стихотворении одну-единственную букву (вместо «отпускают тебя» сделать «отпускаю тебя», из-за чего стихотворение потеряло бы свой гражданский смысл, превратившись просто в женскую лирику). Из-за этого стихотворение не было включено в сборник.

— И Лариса пошла на это сознательно, — с гордостью за нее сказал Арсений Александрович.

20 сентября

В доме паника. Опередив Фросю, чужая кошка родила на постели Татьяны Алексеевны двух котят.

Арсений Александрович: «Кто пришел? Вы? Ну, слава Богу, идите скорее сюда. Что мне делать с котятами? — весь дёргается. — Нет, вы скажите, что мне делать с котятами? Я же лежачий. И все равно топить не могу! И не буду! Не буду!»

Надо срочно отвлечь. Вынимаю из сумки что под руку попало — флакончик для духов «под старину», прошу починить и отчистить.

Арсений Александрович повертел флакон, потом, чуть переиначивая фразу из Бабеля:

— У вас невыносимый грязь, мамаша, но я выведу этот грязь...

Затеваем игру: один начинает фразу из Бабеля, другой ее заканчивает.

«Эге, пане Грач...» — начинает Арсений Александрович, а я подхватываю: «...вижу, ваше дите просится на травку»...

Это веселит Арсения Александровича, он отходит душой, смеется. Как всегда при ручной работе, вдохновенно сосре-

доточен. Замечательно отчистил и починил флакончик, завернул, положил в коробочку из-под сигарет.

В энный раз следует история о Фавсике Никитине — это когда нужно сбросить душевное напряжение.

Арсений Александрович: «Знать бы, сросся я или нет?»

— Но у вас прекрасный организм!

Арсений Александрович: «Но мне, матушка, семьдесят первый годок».

Начинаю игру.

— Это вовсе мне семьдесят первый годок, вы спутали.

Смотрит с детским удивлением, хотя хорошо знает, что я много моложе. Доверчив необычайно.

— Ну пусть мне будет побольше, а вам поменьше.

Арсений Александрович (задорно): «Да, хорошо бы мне было сейчас тридцать лет!»

— Но это нелегкое дело, быть тридцатилетним.

Арсений Александрович: «Зато написать сколько можно! Ах, сколько бы я еще написал!»

28 сентября

Сняли гипс. Арсений Александрович весел. Как обычно, издевается над осточертевшим штампом — «инженеры человеческих душ». Переименовывает его так: «инженеры человеческих уш, брюш» (врачи), «инженеры человеческих луж» (маринисты). Выше всех современных прозаиков ставит Юрия Олешу, восхищается им как мастером метафоры. (Они с Олешей — земляки, оба родом из Елисаветграда).

Арсений Александрович: «Вы только подумайте, какая у него точность образов: «задумчивая гиря» (о Всев. Иванове); «раздевалка гномов» (банка с консервированным красным перцем), «гвоздь со шляпкой» (о злобной даме)».

По моей просьбе читает любимое мое стихотворение «Анжело Секки». Прощаемся. Завтра Тарковские уезжают в Переделкино.

ГОЛИЦЫНО. ЛЕТО 1978 ГОДА

18 июня

Тарковские приехали на дачу из Дома творчества «Переделкино» на двух машинах в сопровождении двух молодых людей.

Сзади увидела спину Арсения Александровича — передвигается с трудом, рывками. Сжало душу, поздоровались.

Арсений Александрович: «У Андрея был инфаркт. Задняя стенка. Сейчас поправляется. Оператор отснял новый фильм на бракованную пленку. Столько месяцев работы — псу под хвост. Теперь на нем висят полтора миллиона». (Речь шла, как я поняла позднее, о «Сталкере». От Арсения Александровича хотели скрыть, что у сына инфаркт, но он узнал, очень плакал, ездил к нему. Впоследствии, посмотрев заново отснятый «Сталкер», Арсений Александрович сказал мне: «Это лучший фильм, какой я видел в жизни».)

С гордостью рассказывает, что «Зеркало» купили в Париже, что Феллини и Антониони очень его хвалили.

— А у нас фильм получил третью категорию! Музыка к новому фильму Андрей подбирал сам.

— А не вы?

— Нет, нет. У нас с ним общие вкусы — старые итальянцы, Бах.

Сколько глупостей — частью и при мне — пришлось выслушать Арсению Александровичу об его отношении к творчеству сына... В чем только не подозревали обыватели — это его-то! — вплоть до зависти к Андрею. Ничего, кроме беспримесно чистой радости и гордости за талант сына, никогда у него не видела. Вспоминается 30 июля 1975 года — в связи с 20-летним юбилеем журнала «Иностранная литература» в Центральном Доме литераторов — банкет. Сидим за столиком. Подходит в дымину пьяный молодой поэт:

— Арсений Александрович, вы не только отец Андрея, вы еще и хороший поэт!

Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна молчат. Отгонять дурака приходится мне:

— Молодой человек, вы же видите, у нас серьезный разговор.

Арсений Александрович (*кротко этому пьяному*): «Ну, не надо, не надо (*называет его по имени*)».

Весело смеялся, когда после его творческого вечера в Политехническом музее (4 марта 1977 года) я пересказывала ему разговоры среди случайной публики:

— Это тот Тарковский, который в кино?

— Нет, в кино — это его дядя.

Вечером.

Приходит Анна Петровна Томашевская, добрый друг Тарковских. Сидим у Арсения Александровича в кабинете. Арсений Александрович рассказывает, что к поэзии его приходил отец. В 1913 году водил его, шестилетнего, на вечера

Бальмонта, Сологуба, Северянина, приехавших на родину Арсения Александровича — в Елисаветград.

Арсений Александрович охотно читал нам стихи Федора Сологуба. Потом сердито сказал, что «Горький забил Сологуба своим «фельетоном» о Смертяшкине».

В 1926 году, в 19 лет, попав в Ленинград, Арсений Александрович позвонил Сологубу, рассказал, что слышал в детстве его стихи и очень их полюбил. Спросил: «Федор Кузьмич, нельзя ли вас увидеть?» Сологуб его пригласил, дал адрес. Принял вежливо и осведомился: «А вы, юноша, не пишете ли стихи?» Арсений Александрович ответил, что пишет, и Сологуб попросил его почитать. Прослушав, сказал, что стихи — плохие. Потом добавил: «А все-таки пишете. Может, что из вас и получится». Во время их разговора племянница Сологуба за стеной играла бесконечные гаммы. Арсений Александрович спросил Сологуба, не мешает ли ему это. «Нет, — ответил Сологуб, — я чувствую себя не таким одиноким». (Жена Сологуба, Анастасия Николаевна Чеботаревская покончила с собой в припадке безумия. На обеденном столе ей по-прежнему ставился прибор.) Хозяин пригласил гостя отобедать с ним, но Арсений Александрович напомнил Сологубу, что уже вечер — вот-вот разведут мосты. Сологуб отпустил его с неохотой, подарив ему на прощание свою книгу «Небо голубое». В передней подал ему пальто: «Не смущайтесь, так принято — гостю всегда подают пальто».

— Вот, — заключает Арсений Александрович, — говорили, что он злой, а я никогда не видел такого доброго старика. И чего он меня не отпускал? Может быть, от одиночества?

К слову, Арсений Александрович рассказал еще один эпизод об авторе «Мелкого беса». Однажды, выступая на собрании поэтов, Сологуб объявил:

— Коль скоро здесь затронули проблему переселения душ, я хочу изложить свои соображения на сей счет. — И битый час рассуждал на эту тему, а в заключение объявил слушателям:

— Когда-то, очень давно, все мы жили в Древнем Египте, и я толковал об этом предмете, а вокруг меня сидели и слушали такие же идиоты, как вы... (История эта смахивает на анекдот, но передаю ее — как и все остальное — в точном соответствии с рассказом Тарковского.)

Стемнело. Мы уходим. Арсений Александрович идет проводить нас до калитки. По дороге наломал нам сирени, ловко пригибая ветки палкой. С удовольствием проскакал по заросшему, влажному, полутемному саду. Расцеловал нас на прощание.

25 июня

День рождения Арсения Александровича. Утром забежала поздравить. Арсений Александрович в соседней комнате бредет. Наконец «героически добрился», по его выражению. С детской радостью рассматривает подарки. В сборнике Блейка прежде всего посмотрел, чьи переводы. Потом посмотрел, кто художник (оформление прекрасное) и рассердился:

— А почему не сам Блейк?

Читает вслух мою надпись: «От подружки детства — вечного».

Ласково-растроганно: «Какая хорошая надпись...»

Затем подаю другую книгу — свой перевод прозы Теннесси Уильямса «Римская весна миссис Стоун».

Арсений Александрович (*учтиво*): «А вот это — самый дорогой подарок».

Повторяю строку из раннего его стихотворения:

...Стихи друзей и поздравленья женщин...

Арсений Александрович задумчиво и грустно поправляет:

...Стихи друзей и женщин поздравленья...

По просьбе юбиляра спела полюбившуюся ему песню:

Цыганка с картами
Вчера гадала мне —
Дорогу дальнюю,
Казённый дом...

Вечером было 19 человек, не пошла.

27 июня, вечер

В саду у Тарковского полно люпинусов, цветут кусты красного и белого шиповника. Арсений Александрович лежит в комнате, читает Теннесси Уильямса. Как всегда, уговариваю его выйти в сад.

Арсений Александрович: «Нет, тут воздух такой же, а мне вот интересно читать этот лесбийско-педерастский роман».

— Господи, что вы такое говорите. Весь сборник — об одиночестве. Теннесси Уильямс — величайший его знаток.

— Верно, верно, это я вас дразню. Я его никогда не видел, вашего Теннесси, но вот читаю и слышу его голос. (Самая дорогая похвала. — С. М.)

Выходим в сад, садимся за столик. Арсений Александрович оживлён, внимательно смотрит на зелень.

— Видите — она ярусами: внизу трава, выше — кусты, еще выше — яблони и надо всем — старые березы.

Смотрим в синее небо.

Арсений Александрович (*радостно*): «Стрижи!»

Налюбовавшись вечерним небом, берется за дело: чинит зонтик, заколачивает в садовый стол гвозди. Рассказывает, что когда-то шляпка плохо забитого гвоздя с нижней стороны столешницы вошла ему в бедро, и он вырвал шляпку вместе с мясом.

Справа от столика растет трава с белой полосой посередке.

— Нравится вам? Это молочная трава, трава моего детства. Точно такая росла у нас в саду в Елисаветграде.

Читает «Белый день».

Камень лежит у жасмина,
Под этим камнем — клад,
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней
Вьющиеся розы,
Молочная трава.

Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.

Арсений Александрович: «Небо в тот день было белое, затянутое дымкой, жара страшная».

...Никогда я не был
Счастливей, чем тогда...

Внимательно слушает рассказ о самом счастливом дне моего детства — он был не белый, а голубой. Вообще слушать о детстве очень любит.

— А где он был, ваш голубой день, и сколько вам было лет?

— В Геленджике. Было мне шесть лет. Мы с мамой сидели в беседке у обрыва над морем, и все вокруг было голубое — море, небо. И смутное чувство — лучше этого никогда уже не будет.

— Да, да, как я это понимаю...

Потом Арсений Александрович рассказывает: в БМЛ (серия «Библиотека мировой литературы». — С. М.) опубликованы его оригинальные стихи и переводы из Абу-ль-Аля аль-Маарри.

Хлопаю в ладоши от радости.

Арсений Александрович: «Маня, вы не на работе... Холоднокровней, Маня...» Начинаем дурить «по Бабелю», забрасывая друг друга фразами из «Одесских рассказов».

На столике — пакет с крупным, сочным черным изюмом. Арсений Александрович вспоминает о нем, берет горстями и отправляет в рот.

Прощаюсь, иду к калитке. Арсений Александрович отвечает механически, не поворачивая головы, он ничего не видит и не слышит — изюм!

1 июля

Арсений Александрович — в доме. В гостях — Александр Антонович Радциг, авиаконструктор и философ, интересно рассказывает о бесконечности, кривизне пространства, гении. Арсений Александрович завтракает, внимательно слушает. Любую философскую мысль схватывает мгновенно. Он верит в то, что человек проходит через множество воплощений. Радциг это отрицает. Арсений Александрович настаивает и приводит такое доказательство: детство, он лежит в кроватке с сеткой, в щель неплотно прикрытого ставня пробивается свет, и на потолке, как в камере-обскуре, можно видеть уличные сцены. Не раз у подножья кровати появлялся козлик, он клал верхние копыта на спинку кровати, и рядом с ним возникало деревцо. Точно такого козлика Арсений Александрович увидел много лет спустя на выставке вещей, найденных в гробнице Тутанхамона.

Выходим в сад. Ветви цветущего шиповника опустились до земли. Арсений Александрович, отбросив костыль, ловко обрезает сухие сучья, Александр Антонович обвязывает кусты капроновой веревкой. Работа идет споро.

5 июля

Жаркий серый день, парит. Арсений Александрович в доме, сам с собой играет в «Эрудита».

— Ой, вы в таком легком платье! И бусики! Подождите, пожалуйста, я кончаю.

Сию, жду. Потом выходим во двор. Арсений Александрович — с книжкой. Аккуратно вытирает мокрый от дождя линолеум, которым покрыт стоящий в саду матрац. Садимся. Арсений Александрович с удовольствием читает вслух стихи русских поэтов из подаренной ему на днях американской антологии: Чулков, Анненский, Кузмин, Георгий Иванов.

Доходим до современников. Прошу Арсения Александровича рассказать об Э. Багрицком — оказывается, он был последним, с кем тот разговаривал по телефону. (Незадолго до смерти Багрицкий редактировал переводы стихов еврейского поэта И. Фефера, были в их числе и переводы Тарковского.) Арсений Александрович с уважением говорит, что Багрицкий знал наизусть всю поэзию и что ему он, в частности, открыл прекрасного поэта Константина Случевского. Однако очень осуждает его строки о веке:

Но если он скажет: «Солги» — солги.

Но если он скажет: «Убей» — убей...

— Тоже мне поэтическое кредо в двух строках! — возмущается Арсений Александрович. Потом снова перелистывает антологию: — Да тут стихи Исаковского и Твардовского о Сталине!

Спрашиваю, был ли среди поэтов сталинской эпохи хоть один, кто не писал о нем стихов. Мне кажется, Пастернак таких стихов не писал.

Арсений Александрович. (*хмуро*): «Писал, все писали. Вон и Ахматова в надежде спасти сына сочинила стихотворение, которого потом стыдилась до конца дней. Сама же писала:

Вместе с вами я в ногах валялась

У кровавой куклы палача...»

Арсений Александрович идет в дом, приносит два своих неопубликованных рассказа — «О докторе Добровольском и докторе Покатило» и «Тася». Читает вслух. «Тася» — крепкая, по-бабелевски беспощадная вещь о фронтовой медсестре. И такое чудо не напечатано...

В калитку входит незнакомый человек, туповатый и наглый на вид. Хозяйственно оглядывает двор и дом, потом, не поздоровавшись, начинает деловой разговор:

— Вы Тарковский?

Арсений Александрович: Я.

Чужак: Машину продаете?

Арсений Александрович (*любитель розыгрышей*): Нет. То есть да.

Чужак: Сколько просите?

Арсений Александрович: Сто тысяч (по тем временам — сумма невероятная. — С. М.).

Чужак: Сколько?

Арсений Александрович: Я же сказал — сто тысяч. Впрочем, я не продаю, а покупаю.

Чужак: Чего-о?

Арсений Александрович: Не продаю, а покупаю. И не машину, а прокатный стан.

Чужак: Чего-о?

Арсений Александрович: Я же сказал — прокатный стан. Пожалуйста, если узнаете, где недорого продается прокатный стан, сообщите мне, будьте так любезны. Он нам очень нужен в хозяйстве...

7 июля

Дождь. Арсений Александрович в постели, читает «Гамаюн» Вл. Орлова («Обсахаренный Блок», — говорит он сердито).

Рассказывает, что Блока изучал так: делил лист бумаги на семь граф — стихотворение Блока: что Блок читал в то время, когда его писал; на фоне каких исторических событий оно написано и так далее. Изыскания свои он впоследствии передал специалисту по творчеству Блока Вл. Орлову.

Заговорив о Блоке, Арсений Александрович рассказал, что совершенно случайно попал на похороны его жены Любови Дмитриевны Менделеевой... Осенью 1939 года Арсений Александрович поехал в Ленинград заключать с тамошним отделением Детгиза договор на переложение «Волшебных гуслей» сербского поэта Р. Стийенского: 12 тысяч строк (из них — 1200 рифмованных, остальные — белый стих) он успел сделать за полтора месяца. Одет Арсений Александрович был по сезону — в элегантный серый костюм и легкий плащ. В Ленинграде, выходя из вагона, он вдруг почувствовал себя странно, словно во сне, но у него еще хватило сил зайти в Детгиз; оттуда он направился в гостиницу «Европей-

ская» и сел на подоконник. Очнулся в Боткинских (инфекционных) бараках, где очутился вместе с Дмитрием Шостаковичем — обоих свалил жестокий дифтерит. К тому времени, когда он вышел из больницы, уже выпал снег, а у Арсения Александровича был с собой из верхней одежды лишь легкий плащик. Вскоре после выхода Арсения Александровича из больницы к нему в гостиницу «Европейскую» пришел поэт и переводчик Вл. Пяст и предложил пойти на похороны вдовы Блока Любови Дмитриевны Менделеевой. Вдвоем они пошли на квартиру Блока. Арсений Александрович счел, что обязан пойти на кладбище, хотя был еще нездоров. Шли мучительно долго, и дорогой он совсем замёрз в своем летнем плаще. Похороны, на которых присутствовали всего шесть человек, являли собой, по словам Арсения Александровича, «нечто блоковское»: над безлюдным кладбищем — зловещий алый закат, в свежевыкопанной могиле — вода. Вс. Рождественский произнес речь от имени Союза писателей, назвав покойную «Любовью Дмитриевной Блок», в ответ на что брат ее, Иван Дмитриевич, закричал: «Она не Блок, а Менделеева, мы ее Блокам не отдадим!» Гроб погрузили в ползатопленную могилу, засыпали землей вперемешку со снегом...

— Это было одно из самых страшных зрелищ в моей жизни, — заключает Арсений Александрович.

Прошу Арсения Александровича прочесть новые стихи. Он включает магнитофон «Грундиг» — полный эффект присутствия. Посматривает, как обычно, на слушателя — нравится ли?

После первого стихотворения:

— Хорошее?

С радостью киваю. После второго:

— Хорошее?

Опять киваю. И так после каждого. Когда запись кончается, Арсений Александрович со спокойным удовлетворением мастера, сделавшего работу как надо:

— И по-моему, хорошие.

Вечером

Арсений Александрович звонит с дачи в Дом творчества: в газете «Нойе Цурхер цайтунг» — статья, часть ее надо перевести, там пишут о его поэзии. Беру с собой 19-летнюю красавицу с длинной золотой косой Оленьку Колчину, гостящую у матери-писательницы, — ей очень хочется познакомиться с Арсением Александровичем.

Арсений Александрович в джинсовом костюме с погасшей трубкой в зубах:

— Ой, какая милая девушка!

Оля громко смеется от радости — все в ней открытое, искреннее.

Арсений Александрович: «А смеется как!»

Начинаю переводить — тягучие, заумные фразы, что-то о многослойности поэзии Тарковского, ее эзотеричности, сочетающейся с классической традицией.

Арсений Александрович сперва слушает очень серьезно, потом раскуривает трубку и начинает высмеивать высокопарный стиль статьи, даму-автора, а заодно и себя.

Арсений Александрович приосанился, очаровывает Оленьку.

Говорю ему, что он дофин. Арсений Александрович затевает обычную игру: надо быстро придумать по строке в очередь какую-нибудь нелепицу.

Начинает Арсений Александрович: «Дофин Французский...»

Подхватываю: «Инфант Испанский...»

Арсений Александрович: «Сократ Московский (чую рифму-ловушку)».

Подхватываю: «А. А. Тарковский!»

Быстро подбираем мотив и поем на два голоса. Арсений Александрович от души веселится, мы с Олей — тоже, она помирает со смеху. Счастье, что я не поэт и потому могу позволить себе участвовать в такой игре с Тарковским.

30 июля

У Тарковских побывал живущий в Доме творчества армянский прозаик Леонид Гурунц, прелестный, по-дитячьи искренний.

Говорит: «Тарковский — величайший из ныне живущих поэтов. Остальные по большей части «временщики»: либо конъюнктурщики, либо подпирают плечом модную тему. Они уйдут, а Тарковский останется. Шли мы в кино, — продолжает Гурунц, — по дороге — канавка, по дну ее ползёт червяк. Тарковский — на костылях — нагибается, переносит червяка в безопасное место».

— Леонид-джан, а может, важнее посочувствовать человеку, чем червяку?

Гурунц: «Нет, нет, с такого поступка начинается все. Нас лишают права на доброту».

Рассказываю ему, что Арсений Александрович не пьет чай, если заварка в пакетиках: вдруг там муравей. И про то, как, увидев у него на окне паутину, стала ее снимать.

Арсений Александрович: «Не надо, вернется паучок, расстроится».

— А для чего он туда вернется, как вы думаете?

Молчание.

Арсений Александрович обожает свою кошку Фросю. Утверждает, что в прежнем воплощении Фрося была Анной Павловой.

19 августа

Арсений Александрович в голубых джинсах, в рубашке с голубым узором. Рассказывает, что переписанное им для меня стихотворение «Бобыль» начинал давно и просит изменить в тексте «недопитую» чекушку на «непочатую»... Говорит, что все время ему хочется заснуть.

— Спать так интересно. Ведь я, как все сумасшедшие, вижу цветные сны...

Тащит марки — на даче уже шесть новых альбомов. Их привозит в подарок молодой поэт Геннадий Русаков. За последнее время много новых марок Бурунди. Показываю на красавца лемура с седой головой и седым хвостом.

— Угадайте, кто?

Угадал сразу: «Это я». Показывает на лань, мирно жующую травку: «А это вы».

Читает вслух пародию Ю. Левитанского на его стихи и от души смеется — свойство для поэта редкое. К литературным оценкам, как и к наградам, относится спокойно. Отзыви умные и добрые ценит. Например, статьи А. Урбана, К. Ковальджи, С. Чупринина.

24 августа

2-й час дня, Арсений Александрович еще не ел. Духота в комнатах. Рассматривает книги, присланные в подарок какой-то художницей. (Арсений Александрович о ней — «чокнутая».)

— Все-таки странная у вас классификация живых существ, примерно так:

1. Душенька (Достоевский, кошка Фрося, заведующая восточной редакцией Гослита, гусеница).

2. Чокнутая -- о поклонницах, посылающих вам такие чудесные подарки.

3. Зануда — таких подавляющее большинство.

У меня положение межеумочное: «чокнутая душенька».

Арсений Александрович смеется: «Верно, верно. Но есть еще и четвертая категория — стукачи. Имя им легион».

4 сентября

Арсений Александрович смотрит телевизор.

— Поздравьте меня, я самосожженец. — Показывает прожжённую сигаретой дырку на джинсовом костюме. В комнате накурено, уговариваю Арсения Александровича выйти на воздух. Садимся на садовую скамейку.

Арсений Александрович: «Ну, рассказывайте, что интересного прочли».

Рассказываю о только что прочитанной книге Моуди «Жизнь после смерти». Верующие, вернувшиеся из реанимации, видели темный тоннель и в конце его — что-то светящееся, смеющееся. А ведь Гоголь считал, что Христос не смеялся, и истерывал себя за свой юмор, как за великий грех.

Арсений Александрович: «Но почему бы Христу не смеяться? Его юмор — чист и возвышен. Христианство — религия, веселящая душу. Самая радостная религия. А что до тоннеля, то в картине Иеронима Босха «Рай» изображен черный тоннель и свет в конце его».

Как и в других беседах, заключает: «В Бога верить надо, и нечего мудрить».

10 сентября

Идем в кино на картину Висконти «Семейный портрет в интерьере» — Тарковские, моя подруга Елена Михайловна Жезлова, сестра Лиля и я. Мы с Леной и Лиля — в полном потрясении. Первые слова Арсения Александровича по выходе:

— Какая тяготи́на. Наркоман и сутенер — в роли борца за права человека.

Лиля: «Но это определение — с чисто социальных позиций. Картина гениальная».

На улице темно, лужи. Арсений Александрович идет впереди всех один — сердится, как это бывает, когда с ним не согласны. Желая снять напряжение, Лена рассказывает,

что ее друзья назвали сына именем любимого поэта — Арсений. Но Арсений Александрович непреклонен:

— Несчастный ребенок. Вот еще стало модное имя. А когда-то для швейцаров было модно имя Лаврентий.

Бредёт, не оглядываясь. На углу останавливается, хмуро приглашает нас в гости — на яблоки. Мы благодарим Татьяну Алексеevну и Арсения Александровича, обещаем зайти в другой раз.

22 сентября

Пришла прощаться. Арсений Александрович весел, хмурости как не бывало. Однако жалуется на боль в ноге и «приступ» склероза. Показывает кучу обновок и радуется им.

Вдруг: «Давайте линчевать негров и издеваться над евреями! Знаете, как я дразню Софу (Софья Наумовна Славина, жена Льва Славина, — оба они близкие друзья Арсения Александровича): «Голый, несчастный, больной, старый еврей...» Нет, не так: «Старый, несчастный, больной еврей голый...»

Вставаю: «...бежит по улице и кричит: "Я Тарковский"».

Арсений Александрович доволен, смеется: «Вот видите, а Софочка сердится». На прощание читали стихи Ходасевича — Арсений Александрович и Татьяна Алексеevна много их знают на память. Еще одно лето кончилось.

МОСКВА. ЗИМА 1978 ГОДА

29 декабря

Арсений Александрович звонит из Переделкина в ответ на мое письмо, поздравляет с наступающим Новым годом:

— Спасибо за марки, за добрые слова о грузинском сборнике.

— А вы что-нибудь новое написали?

Арсений Александрович (*явно чем-то расстроен*): «Не знаю. Нет. Да, кое-что написал. На меня надвигается перевод».

Вот, значит, одна из причин уныния. Вопросов на эту тему задавать нельзя.

Арсений Александрович (*после долгого молчания*): «Давайте родимся в следующем воплощении вместе. Будем

детьми в одно время — папы, мамы, братья, сестры... Будет так весело».

— Давайте. Только я не очень верю в новые воплощения.

Арсений Александрович: «А вдруг все-таки? Договорились?»

— Договорились. И долго вы там, в Переделкине, просидите?

Арсений Александрович (*грустно*): «Понятия не имею. Я как поездной заяц — контролер спросил, долго ли он собирается так ехать, а заяц ответил: "Если не замёрзнет морда, то до Одессы"».

Надоело ему, видно, в Доме творчества, хочется к себе домой — к своим книгам, пластинкам, маркам.

Пробую развеселить:

— Когда будете читать в «Литературке» путевые заметки какого-нибудь пижона, помеченные в конце «Бангкок — Переделкино», вспоминайте, как вы летом сочиняли рассказ «под Хармса» — «Париж — Малаховка» и все хохотали. Ладно?

Арсений Александрович: «Ладно. Это лучше хотя бы потому, что озорство вообще лучше унылой глупости».

ГОЛИЦЫНО. ЛЕТО 1979 ГОДА

7 июля

Арсений Александрович лежит в постели, зеленый, в прокуренной комнате. Поздравляю с минувшим днем рождения (Тарковских не было в Голицыне).

— Хотела осыпать вас золотым дождем, но в связи с повышением цен на золото вынуждена ограничиться золотым кольцом.

Арсений Александрович озадачен — доверчивость его беспредельна и трогает душу. Завожу:

Поздравляю я поэта робко,
Вот на память от меня коробка...

Смотрю в сумку:

— А коробки нет!

Арсений Александрович включается в игру, смеется.

Продолжаю:

— А в коробке — кольцо вам и стихи поэта Тарковско́ва. Стихи Тарковско́ва — не вам, а мне, а теперь получайте кольцо.

Арсений Александрович уверен, что речь и вправду идет о золотом кольце. Смущено:

— Ну, сейчас начнется нечто несусветное...

Подаю книгу «Золотое кольцо» — сборник, мастерски сделанный давними моими приятелями фотохудожниками Ириной Стин и Анатолием Фирсовым — цветные снимки городов русского Золотого кольца.

Арсений Александрович: «С каким вкусом сделано и какая надпись милая. Ну, спасибо, спасибо. Давайте мою книгу, напишу».

Подаю сборник «Волшебные горы» (Тбилиси, изд-во «Мерани», 1978).

На авантитуле сверху стоит мое имя — С. Митина. Арсений Александрович ставит после имени запятую и дописывает: «...которую я очень люблю безгрешной любовью, ей же, с пожеланием счастья, подписываю эту уродину (опечатки и измятость!) на память о старике Тарковском Арсениш». Подпись, дата. Затем тщательно исправляет своей рукой множество опечаток. (Вообще, подписывая книгу, неизменно исправляет все опечатки и порою снимает редакторскую правку, восстанавливая первоначальный текст.)

18 июля

Арсений Александрович — бледный, подавленный. Сегодня — 40 дней, как умерла Мария Сергеевна Петровых. Арсений Александрович говорит о ней с большой любовью — о ее доброте, редкостном уме, чувстве собственного достоинства. Рассказывает, что ужаснулся, увидев ее в гробу, — до того она была на себя непохожа.

— А ведь мы дружили с 1925 года! Какой верный друг! И стихи у нее такие прекрасные — «Назначь мне свиданье на этом свете...» Очень, очень большой поэт. Подумайте, как трудно, почти невозможно женщине сохранить в поэзии собственное лицо после Ахматовой и Цветаевой...

Сидим молча. Потом попеременно читаем стихи Марии Сергеевны.

Кто кроме нее мог написать такое:

Одно мне хочется сказать поэтам:
Умейте домолчаться до стихов...

13 июля

Попеняла Арсению Александровичу за надпись на его книге — «На память о старике». Отдаю припасённые для него австралийские марки. Показывает подарки, полученные к дню рождения: альбом по истории марок, пластинки. сборник В. Ходасевича, детская книжка Людмилы Копыловой, к которой он очень тепло относится.

— А не создать ли музей подарков Арсению Александровичу Тарковскому?

Арсений Александрович с комическим ужасом показывает на полку над кроватью, забитую поэтическими сборниками:

— Да, но люди дарят мне и свои книги!

— И вы все читаете?

— Не знаю. Все.

— А если вам не нравится, что говорите автору?

— Молчу упорно.

Давно собираюсь спросить Арсения Александровича, что такое редиф — термин восточного стихосложения.

(«Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова»...)

Арсений Александрович: «Редиф — по-арабски — сидящий позади всадника. То есть повторяющееся слово в газели. Например (начинается розыгрыш):

Сидит в этой комнате Суламифь,
Мне нравится весь и вся Суламифь».

Арсений Александрович раскуривает трубку и вдруг надевает картуз — синий с белым козырьком.

— Картуз красивый, но зачем он вам в комнате?

Арсений Александрович: «От мух...»

Удивляюсь, но Арсений Александрович упорно твердит свое: «От мух».

У меня мелькает догадка:

— Вы — морской волк?

Арсений Александрович смутился — значит и вправду играет в морского волка. Как сильно, как неистребимо в нем детство. Недаром любит повторять слова из книги Андрея Белого «Петербург»: «Николаю Аполлоновичу захотелось на родину, в детскую, потому что он понял: он — малый ребенок».

Арсений Александрович тут же переводит разговор.

— А знаете, ваш друг давал интервью.

Обрадовалась:

— Кому?

— Кириллу Ковальджи.

— А для кого?

— Для «Воплей» -- вон номер в столовой, на окне, возьмите («Вопросы литературы» № 6 за 1979 г.).

— А как это делается?

— Вопросы я получил заранее, ответы наговорил на магнитофон, потом все переписали.

Открываю журнал. В глаза бросается: «Гений приходит, чтобы затворить ворота эпохи».

— А кто затворил ворота нашей эпохи -- Ахматова?

Арсений Александрович: «После Пушкина гениев в русской поэзии не было. Ахматова не гений, крупный талант».

30 июля, вечер

Арсений Александрович лежит.

— Здравствуйте, я по вас соскучился. Какие красивые гладиолусы! Спасибо.

Спрашиваю, есть ли новые подарки для музея Тарковского.

Арсений Александрович: «Завтра приедет народ, а пока — никаких. А у вас?»

— Ну, у меня-то откуда?

Арсений Александрович: «А вот откуда: по-моему, вам понравился мой картуз».

— Понравился. Но вы же в нем — морской волк.

Арсений Александрович: «Нечего, нечего. Сейчас же примерьте перед зеркалом».

Примеряю, возвращаю.

Арсений Александрович: «Вам идет, берите».

— Но как же морской волк? И Татьяна Алексеевна будет недовольна. Нет, нет. Не надо.

Арсений Александрович сердится: «Наденьте сейчас же. Сейчас же».

Надеваю.

Арсений Александрович: «Вы не понимаете современного романтизма», — сказано Санчо Панса Дон Кихоту.

17 августа

Арсений Александрович веселый, в черно-красной ковбойке, недавно подаренной дочкой, играет в шахматы с

новым знакомым. Пока играют, ушла в кабинет Арсения Александровича — посмотреть книги. На столе — груда любительских фотографий Арсения Александровича, много одинаковых. Спросила, можно ли взять.

Арсений Александрович: «Пожалуйста».

Подаяю выбранную.

Арсений Александрович: «Ах эту! Самую уродскую выбрали».

Берет ручку, надписывает. «Это я, А. Т. С. Митиной с любовью».

Доиграв партию, читает вслух привезённого Хармса («в машинке»). Хохочет. Никогда не видела, чтобы человек так смеялся: Арсений Александрович смеется «весь» — лицом, корпусом, ковбойкой, старенькой курткой. Вспотел, по лицу текут слезы, утирает их, не может читать, валится со стула. (Постоянное опасение — как бы не упал.) Дохохотались до дыр.

Рассказала, что композитор Зингер написал романсы на слова М. С. Петровых.

— Если мне удастся все устроить с фортепиано, приедете послушать?

Арсений Александрович (*твердо*): «Нет. Зачем делать из прекрасных стихов романсы?»

(Годы спустя, услышав по радио чудовищно пошлую песенку, которую сварганили из дивного стихотворения Тарковского, вспомнила эти его слова.)

Спрашиваю, есть ли новые издания.

Арсений Александрович рассказывает, что недавно переводы его стихотворений изданы в Польше, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Америке. Стихи взяты доконвенционные, и он получил за все смехотворную сумму.

— Но зато ваши стихи узнает столько людей на свете! Черт с ними, с тугриками.

Арсений Александрович: «Нет, нет. Денежки — дело серьезное, о-о-очень серьезное. Без них даже галош мишке не купишь. Да-а».

28 августа

Дождливый день. Арсений Александрович дома один, весел, ставит в вазочку астры.

— Вот вы ничего не знаете, а в Голицыне методом народной стройки заасфальтировали дорожки. То же будет и с проезжей частью.

Шоссе Россию там и тут,
Соединив, пересекут...

Арсений Александрович: «Что за чушь, как это — «соединив, пересекут»?»

— А это Пушкин, «Евгений Онегин».

Арсений Александрович: «О, Господи. Вот склероз! У меня кардиосклероз, пневмосклероз, склероз мозга, отосклероз, склеротические складки в глазу. (*Оттягивает веко, показывает.*) Словом, я почётный член Всесоюзного, республиканского, областного и районного общества склеротиков. И вообще — я покойник».

— Ну, как сказал Юрий Олеша, мы все покойники, отпущенные на побывку. А у вас — редкостный организм.

Арсений Александрович: «А Шолом-Алейхем сказал еще лучше. Человек — как сапожник: живет-живет, потом умирает».

Смеется. Ну и слава Богу. Приносит магнитофон, запускает запись своих новых стихов — «Бобыль», «Лес», «Листья». При чтении чуть задыхается, сильнее чувствуется южный акцент: немного растягивает гласные, вместо двойных «н» произносит одно. Когда запись кончается, ставит Баха.

Арсений Александрович: «Ну, теперь расскажите что-нибудь необыкновенное».

— Пожалуйста:

Сан-Франциско — далеко,
Если ехать низко,
Если ехать высоко,
Сан-Франциско — близко.

Арсений Александрович радостно: «Это вы сочинили?»

— Нет, не я.

Рассказываю об авторе — поэтессе Нине Михайловне Артюховой, ее прекрасном смехе, о слепоте.

Арсений Александрович обещает подарить мне написанные от руки «Деревья»⁵.

— Обманете...

— Нет, нет, подарю непременно. Кому ж и дарить, как не вам? Вы штучный читатель, не конвэйерный. Таких теперь не выпускают.

Принесла Арсению Александровичу странную, но красивую картинку, рисованную тушью: удлинённый черный цветок на белом фоне, внизу — подпись художника — Sabra.

Арсений Александрович требует, чтобы на обороте я сделала надпись. Делаю такую:

Быть не может двойного мнения —
Дивны вещи строки Арсения.

Арсений Александрович читает, улыбается.

Затеваю игру.

— Дальше там шла рифма «гения», но я не написала. И не просите.

Арсений Александрович (*тут же включаясь в игру*): «Ну не прошу, не надо».

— Нет, нет, и не просите.

Арсений Александрович: «Ну не прошу, не прошу».

— Нет уж, клянчить ни к чему, я подаю только по субботам.

Арсений Александрович хохочет — смотреть радостно. Спрашиваю, не намечается ли у него авторский вечер в Останкинской телебашне.

— Нет, они меня не любят, только раз включили в передачу об Ираклии Абашидзе, я его когда-то переводил.

Передачу эту я видела. Тарковский — фрагмент передачи об авторе, чьи стихи он переводил. Даже не переводчик и поэт, а просто — переводчик. Вечная его боль.

Под конец читает на украинском языке два прекрасных стихотворения Леонида Первомайского, переводя их тут же, по ходу, на русский и поясняя их символику: «Серебряный автобус» — смерть. А смысл стихотворения такой: тебе, читатель, нужны жизненные блага, а мне — вольная душа и свобода творить. Очень любит стихи Первомайского, горюет о его смерти (рак печени) и бедах, выпавших на его долю при жизни.

25 сентября

Золотая осень, но уже пасмурно. В доме — жара. Арсений Александрович утомлённый, хмурый, показывает только что вышедшую книгу переводов — «Стихотворения» Абу-ль-Аля аль-Маарри. Доволен изданием. Говорит, что такую поэзию очень любил Паустовский — как хотелось бы ему почитать...

Арсений Александрович рассказывает, со слов Паустовского, как тот удирал с Украины — его разыскивали, чтобы сделать гетманом (он отпрыск древнего украинского рода). У Паустовского было портретное сходство с Колчаком. Впоследствии ему предлагали писать историю отечественного флота и сулили звание адмирала, но он отказался.

ГОЛИЦЫНО. ЛЕТО 1980 ГОДА

6 августа

Слжу у обочины на раскладном стулике --- схватило сердце. Едет машина Тарковских. Останавливается. Собрались в Переделкино, смотреть фильм. Арсений Александрович очень бледный, постаревший. Зовет меня с ними, но я не в силах.

Арсений Александрович: «Заходите завтра же. Для вас есть подарок — желтый картуз».

— А о моей репутации вы подумали? Люди скажут: у Митиной от Тарковского — картуз.

Арсений Александрович (*смеется*): «Да еще желтый, да еще похож на меня. Нет, правда, заходите. Ой, я, кажется, забыл дома часть своего организма (понимаю, что речь идет о слуховом аппарате. — С. М.). А, вот он! Что за голова! Проклятый я! 4.15 мне цена!»

— Почему 4.15, а не 4.20 или 8.23?

— Нет, нет и не спорьте! 4.15 — красная мне цена.

Видно худо ему, а он смеется, острит. Сколько в этом достоинства.

ГОЛИЦЫНО. ЛЕТО 1981 ГОДА

7 августа

Теплый голубой день. Арсений Александрович в прокуренной комнате занят обычным теперь для него делом — поглядывает в телевизор и раскладывает пасьянс. Резко упал слух. Жалуется, что в запястье «отложение белков». Болят кости, мышцы, здоровая нога. Смеется, слушая придуманную мною «Речь на будущем юбилее Тарковского, куда меня не позовут»... и, кажется, рад подарку, какого нет ни в одной из коллекций Тарковского — смешным фотолубкам. Одна из этих картинок — три девочки (подпись «Вера, Надежда, Любовь») — особенно веселит его.

Возмущаюсь: «Это же три целинницы, какой тут может быть смех?»

Арсений Александрович хохочет. Потом:

— Расскажите что-нибудь из детства, а?

Внимание у Арсения Александровича обычно сосредоточивается неважно, но о детстве всегда слушает с расширенными глазами. Рассказываю о трех своих побегах из дому в возрасте от двух до четырех лет --- все три раза под завораживающим воздействием красоты: то выскользнула на лест-

Арсений Александрович: «А всего переводов могло быть томов двадцать. И все превосходные (так Арсений Александрович говорит о своих переводах впервые. — С. М.). Печатают меня в общем-то как переводчика».

Зачастую перевод стихов даже высоко ценимых им поэтов для него — жестокое самонасилие. В последние годы часто повторяет:

— При одной мысли о переводе впадаю в депрессию.

Помню, Арсений Александрович попросил меня прочитать ему вслух коротенькую справку (даже не авторскую статью) о нем, помещённую в связи с его семидесятилетием в «Литературной газете» за 6 июля 1977 года в разделе «Поздравляем юбиляров». Комментировал ее весьма едко. В заключение сказал: «В переводчики задвигают, гады. Я для них — переводчик и поэт». Это — многолетняя боль Тарковского. Жаловаться он не любит и потому рассказывает в этой связи такую шутовскую историю: один литературный «начальник» в застолье назвал абхазского народного поэта Дмитрия Гулиа прозаиком и поэтом, на что Гулиа ответил так: «У нас есть поверье: тот, кого фея поцеловала в уста, делается певцом, а в сердце — поэтом. Не знаю, куда поцеловала фея нашего друга, но он стал замечательным начальником...»

Арсений Александрович: «Да-да, печатают меня как переводчика. Поэтом я не считаюсь».

Немедленно надо снять хоть чем-то эту его горечь:

— А вы и не поэт и не переводчик. Вы вообще — здешний ворон.

Арсений Александрович развеселился, несколько раз повторяет со смехом:

— Да-да, я «здесь ворон».

Рассказывает, что предисловие к «Избранному» написал молодой критик С. Чупринин, и оно ему очень нравится.

ГОЛИЦЫНО. ЛЕТО — ОСЕНЬ 1985 ГОДА

2 сентября

Арсений Александрович в пижаме, поверх которой накинут черный платок с красными розами, посматривает в телевизор и одновременно раскладывает пасьянс. Жаль нарушать его спокойную механическую занятость — он очень сдал. На столе большой конверт с надписью: «Арсению Александровичу Тарковскому — от N». Жду, пока Арсений

Александрович кончит раскладывать пасьянс, потом показываю на конверт:

— Прислал?

— Нет, пришел и оставил. По-моему, он немного графоман.

— Вам ведь много шлют и дарят стихов. Что вы с ними делаете?

— Складываю стопкой. Много идет в корзину.

— Но все-таки читаете иногда?

— Изредка.

Вдруг выходит из полусонного оцепенения.

Взволновался, ожил:

— Слушайте, я получил та-а-кие стихи из Минска от Михаила Айзенштадта! Понимаете, молчал человек до шестидесяти лет. А тут прочел мой сборник и прислал стихи на обёрточной бумаге — по два на листке. Читаю — Господи, настоящая поэзия!

Арсений Александрович рассказывает, что устроил стихи Айзенштадта в «День поэзии», всячески проталкивает его сборник. Назвал еще двух открытых им поэтов. Радостно читает вслух стихи Айзенштадта.

— А вы часом меня не разыгрываете? Может, это стихи Арсения Тарковского?

Арсений Александрович с обычной доверчивостью, очень серьезно:

— Нет, нет, это он сам писал. Мы пригласили его вместе с женой в Переделкино.

Рассказав о том, что его действительно волнует, Арсений Александрович сразу отключается.

То были последние слова, какие я слышала от Арсения Александровича Тарковского о стихах и поэтах...

Закончить эти записки мне бы хотелось вторым стихотворением Бахыта Кенжеева из диптиха «Памяти Арсения Тарковского».

Что звенит в золотой табакерке?
Музыкальный поселок, дружок.
Кто нам жизнь (и за что?) исковеркал,
неурочную душу поджег?

Спи без снов, незадачливый гений,
с опозданием спи, навсегда.
Над макетом библейских владений
равнодушная всходит звезда.

Книги собраны. Пусто в прихожей.
Только зеркало. Только одна
участь. Только морозом по коже —
по любви. И на все времена.

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ С ПОЭТОМ

1983 год. Переделкино. Дом творчества.

Слегка торжественный голос поэта Корина:

— А сейчас Вы увидите Арсения Александровича...

Так со мною бывает всегда: в преддверье большой радости мною овладевает непонятная тревога, смятение мое ищет выхода в необузданных катастрофических образах, но что же может случиться за те несколько минут, прежде, чем я увижу Тарковского?..

Но вот и Тарковский... Как много морщин изваяли годы на этом прекрасном лице; он и сам ваятель своей судьбы — терпеливый и бесстрашный. И разве может лицо поэта быть иным, не быть прекрасным, когда на нем отблеск его стихов!..

Разговор возникает сразу, как бы с середины прерванного диалога; может быть, это разговор двух мимов, когда мысли обгоняют друг друга, минуя слова...

Случайно он берет меня за руку — нет, совсем не случайно соединились наши руки, я становлюсь десятилетним мальчиком, мне заранее ничего не страшно, я умиротворён и счастлив на много лет вперед — мою руку держит Тарковский, он беседует со мною как поэт с поэтом.

— Арсений Александрович, а я ведь думал, что, когда не придется нам встретиться в земной жизни, мы встретимся в жизни иной, за гробом...

— Да, это так, — согласно кивает Тарковский, и я вспоминаю слова Корина, что Тарковский человек верующий, что носит он на груди натальный крест...

Сколько часов длится беседа — или она длится столетье, ведь, беседуя с ним, я беседую с Пушкиным, Лермонтовым, Блоком — он знает все их тайны, все бессмертные строфы...

Вот он говорит об Ахматовой, вот по-родному горько за что-то корит Цветаеву, но угадывает мое смятение и добавляет сокрушённо:

— Так ведь и я ее люблю...

Упоминаю в беседе Антокольского, назвавшего мою поэзию высосанной из пальца.

Тарковский гневается:

— Это он себя высосал из пальца...

О делах житейских моих он не расспрашивает, для этого слишком мало времени, пока возникают в памяти все вели-

кие спутники — от загадочных поэтов Востока до Баратынского и Фета.

Читаю стихи. Глаза Татьяны Алексеевны Озерской, жены поэта, наполняются слезами.

— Как много слез в Ваших стихах... Но они прекрасны...

— А говорят, Москва слезам не верит...

— Вашим слезам весь мир поверит...

В гардеробе он обнял меня и долго держал в объятьях. словно знал, что встреча наша — первая и последняя.

— Храни Вас Бог...

Иногда я молюсь: «Господи, я недостойн твоей любви, но вспомни слова великого поэта земли русской — Арсения Александровича Тарковского, сохрани мою душу — сирую и мятежную, смиренную и непокорную...»

ХРОНИКА ЖИЗНИ АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ТАРКОВСКОГО

- 1907 -

- 12 июня (25 июня н. ст.) — родился в г. Елисаветграде Херсонской губернии.
- 25 июля — крещен в Преображенской церкви.

- 1913 -

- посещает с отцом поэтические вечера приезжавших в г. Елисаветград поэтов — К. Бальмонта, И. Северянина, Ф. Сологуба. Доктор Афанасий Иванович Михалевич знакомит со стихами украинского философа-«старчика» Григория Сковороды.

- 1914 -

- гибель на фронте Первой мировой войны, в Мазурских болотах, мужа тетки Веры Карловны, полковника Владимира Дмитриевича Ильина, дяди Володи.

- 1916 -

- поступает в подготовительный класс гимназии Мелетия Карповича Крыжановского.

- 1917-1918 -

- посещает первый класс гимназии Крыжановского.

- 1919 -

- попадает в плен к атаманше Марусе Никифоровой.
- май — в бою с отрядами атамана Григорьева погибает старший брат Валерий.

- 1922 -

- кончает Елисаветградскую трудовую школу № 11 и поступает в Первую Зиновьевскую профтехническую школу. Дружба с Николаем Станиславским, Юрием и Татьяной Никитиными, Ириной и Ипполитом Бошняками. Знакомство с Марией Густавовной Фальц.

- 1924 -

- выбыл из Первой Профтехнической школы с предпоследнего, пятого, триместра из-за ее ликвидации.
- 26 декабря -- смерть отца, А. К. Тарковского.

- 1925 -

- конец июня -- едет в Москву для продолжения образования. Работает распространителем книг. После собеседования поступает на Высшие Государственные литературные курсы при Всероссийском Союзе поэтов при Москпрофобра. Знакомится с поэтом и теоретиком стиха Георгием Александровичем Шенгели.

- 1926 -

- декабрь -- едет в Ленинград, где был принят поэтом и прозаиком Ф. Сологубом. Встреча с М. Г. Фальц.

- 1927 -

- публикация в сборнике «Две зари» (изд. «Никитинские субботники») стихотворения «Свеча» (1926 г.).

- С конца 20-х гг. -

- работает в газете «Гудок» автором очерков и стихотворных фельетонов. Псевдоним — Тарас Подкова.

- 1928 -

- 20 февраля -- смерть в г. Зиновьевске мужа тетки, Ольги Даниловны, Александра Васильевича Гусева, дяди Саша.
- февраль -- женится на Марии Ивановне Вишняковой, также слушательнице Высших государственных литературных курсов.
- лето -- едет в город Зиновьевск (бывший Елисаветград) к матери. Провожает М. Г. Фальц в Одессу, к ее мужу.

- 1929 -

- закрытие Высших государственных литературных курсов. Слушателям предоставлено право сдать выпускные экзамены в I МГУ. Тарковский этим правом не воспользовался.
- лето -- едет в г. Зиновьевск к матери.

- 1930 -

- июнь — уезжает в село Завражье Юрьеvecкого района Ивановской области к своей теще, Вере Николаевне Петровой (1880 — 1966). К 25 июня туда приезжает Мария Ивановна Тарковская.

- 1931 -

- работа на Всесоюзном радио. Командировка под Нижний Новгород на стекольный завод. Пишет радиопьесе «Стекло». На квартире у поэта Рюрика Ивнева молодые поэты А. Тарковский, Н. Берендгоф, А. Штейнберг читают свои стихи О. Э. Мандельштаму.

- 1932 -

- 3 января — поэма «Стекло» передается по Всесоюзному радио. Ее автор подвергается критике за «мистику».
- конец марта — вместе с женой приезжает в село Завражье.
- 4 апреля — рождение сына Андрея.
- декабрь — поездка в Ленинград.

- 1933 -

- примерно в этом году Г. А. Шенгели, тогда сотрудник Отдела литературы народов СССР, привлекает к работе над переводами национальной поэзии молодых поэтов — А. Тарковского, М. Петровых, С. Липкина, А. Штейнберга.
- лето — с семьей едет в город Юрьеvec, где живет его теща.

- 1934 -

- выход первых книг переводов.
- лето — неоднократно приезжает в г. Малоярославец, где живут на даче жена и сын.
- творческая поездка в г. Орджоникидзе (Северная Осетия).
- 3 октября — рождение дочери Марины.

- 1936 -

- июнь — поездка в гг. Симферополь и Ялту (дом отдыха).
- знакомство с Антониной Александровной Бохоновой (1905-1951).

- 1937 -

- лето — живет в г. Тарусе тогда Московской (теперь Калужской) области с А. А. Бохоновой.

- 1938 -

- лето — живет на Волге с А. А. Бохоновой.
Поездка в Туркмению для переводов стихов Туркменского поэта Кемине.

- 1939 -

- весна — поездка в Тбилиси.
- лето — живет в Чечено-Ингушетии (г. Грозный, поселок Ведено) с А. А. Бохоновой и ее дочерью, Еленой Трениной. Работает над переводами национальных поэтов.
- осень — едет по издательским делам в Ленинград. Заболевает там дифтерией, лежит в инфекционной больнице им. Боткина.
Присутствует на похоронах Л. Д. Менделеевой.

- 1940 -

- вступает в Союз советских писателей СССР.
- знакомится с Мариной Ивановной Цветаевой.

- 1941 -

- 22 июня — начало войны.
- лето — проходит военную подготовку с писателями Москвы.
- 16 октября — с матерью Марией Даниловной Тарковской выезжает в г. Чистополь Татарской ССР, куда эвакуируется Союз писателей и где уже находится А. А. Бохонова с дочерью.
- октябрь — ноябрь — работает на разгрузке дров. Создает цикл «Чистопольская тетрадь». Пишет многочисленные заявления в правление Союза писателей с просьбой направить его на фронт.
- декабрь — с группой писателей возвращается в Москву, где ждет назначения в Действующую Армию.
- конец декабря — получает назначение в Действующую Армию.

- 1942 -

- 3 января — Приказом НКО СССР за № 0220 зачислен на должность писателя армейской газеты.

- январь 1942 — декабрь 1943 — работает как военный корреспондент и автор стихов в газете 11 (16 Гвардейской Краснознаменной) Армии «Боевая тревога».

- 1943 -

- награжден Орденом Красной Звезды.
- конец сентября — начало октября — приезжает в отпуск в Москву.
- 3 октября приезжает к детям в Переделкино.
- 13 декабря тяжело ранен под г. Городком Витебской области.
- декабрь — находится в военных госпиталях, где переносит несколько ампутаций на левой ноге.

- 1944 -

- январь — жена А. А. Бохонова перевозит Тарковского в Москву. Находится в госпитале в Москве (сейчас Институт Вишневского на Б. Серпуховской улице). Профессор Вишневский производит еще одну ампутацию, в результате которой удается остановить газовую гангрену.
- смерть матери, Марии Даниловны Тарковской.
- лето — живет с женой в Доме творчества писателей в поселке Переделкино.
- знакомится с переводчицей Т. А. Озерской (1907 — 1991).

- 1945 -

- едет в Грузию. В Тбилиси встречается с поэтами Чиквани, Абашидзе, с актрисой Натой Вачнадзе.
- август — с женой А. А. Бохоновой едет в Армению в творческую командировку. Встречи с поэтессой С. Капутикян и художником М. Сарьяном.
- готовит книгу стихотворений для издательства «Советский писатель». Книга одобрена на секции поэтов Союза писателей. Несмотря на рецензию Е. Книпович, книга принята к изданию.

- 1946 -

- в доме Г. А. Шенгели и его жены, поэтессы Н. Л. Манухиной, знакомится с А. А. Ахматовой.
- выходят «чистые листы» книги стихов. После постановления ЦК КПСС «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» книга снимается с производства. Матрицы книги уничтожаются.

- 1947 -

- связывает свою судьбу с Т. А. Озерской.
- работает в Ашхабаде и Фирузе над переводами туркменского классика Махтумкули.

- 1948 -

- в Ашхабаде и Нукусе работает над переводом каракалпакского эпоса «Сорок девушек».

- 1949 -

- весна — ЦК КПСС поручает Тарковскому перевод юношеских стихов И. В. Сталина (к 70-летию вождя). Осенью поручение отменяется.
- сентябрь — поездка в Туркмению.

- 1950 -

- лето — поездка в Азербайджан для работы над переводом поэмы Расула Рзы «Ленин» с Т. А. Озерской, ее сыном. Алексеем Студенецким, и дочерью Мариной Тарковской (г. Баку, Мардакяны, село Алты-Агач).
- декабрь — оформляет развод с А. А. Бохоновой.

- 1951 -

- 26 января — регистрирует брак с Т. А. Озерской.
- 22 марта — смерть А. А. Бохоновой.

- 1955 -

- лето — посещает г. Кировоград (бывший Елисаветград, Зиновьевск).

- 1959 -

- май — с Т. А. Озерской-Тарковской посещает чехословацкий курорт Карловы Вары.

- 1962 -

- выход в свет первой книги «Перед снегом». (М., «Советский писатель», 142 с., тираж 6 000 экз.).
- август — сын поэта, кинорежиссер Андрей Тарковский получает Главный приз Венецианского международного кинофестиваля за фильм «Иваново детство».

- 1966 -

- выход книги «Земле — земное» (М., «Советский писатель», 175 с., тираж 20 000 экз.).
- 5 марта — смерть А. А. Ахматовой.
- 9 марта — вместе с В. А. Кавериним и др. сопровождает гроб с телом А. А. Ахматовой в Ленинград.
- апрель — в составе делегации советских писателей едет с женой во Францию.
- ведет поэтическую студию при Московском отделении Союза писателей.

- 1967 -

- июнь, июль — поездка в Армению для работы над переводами стихотворений Егише Чаренца.
- сентябрь — поездка в Друскининкай (Литва).
- конец сентября — поездка в Ереван.
- ноябрь, декабрь — поездка в Ереван и Тбилиси.

- 1968 -

- в составе делегации советских писателей едет с женой в Англию. Встреча с литературоведом и переводчиком русской поэзии профессором Питером Норманом.

- 1969 -

- выход книги «Вестник» (М., «Советский писатель», 291 с., тираж 20 000 экз.).

- 1970 -

- июль — поездка на Украину (Киев, Житомир).

- 1971 -

- лето — поездка с женой в Грузию (Боржоми, санаторий «Ликани»).
- Присуждение Государственной премии Туркменской ССР им. Махтумкули.

- 1974 -

- выход книги «Стихотворения». (М., «Художественная литература», 288 стр., тираж 25 000 экз.).

- 1977 -

- награжден Орденом Дружбы народов.

- 1978 -

- выход книги «Волшебные горы» (Тбилиси, «Мерани», 283 с., тираж 15 000 экз.).

- 1979 -

- 5 октября --- смерть Марии Ивановны Вишняковой.

- 1980 -

- выход книги «Зимний день» (М., «Советский писатель», 96 с., тираж 25 000 экз.).

- 1981 -

- май --- поездка в Киев.

- 1982 -

- выход книги «Избранное» (М., «Художественная литература», 736 с., тираж 25 000 экз.).
- осень --- едет в г. Ереван.

- 1983 -

- выход книги «Стихи разных лет» (М., «Современник», 206 с., тираж 20 000 экз.).

-1986 -

- 29 декабря — в Париже скончался сын — Андрей Арсеньевич Тарковский.

- 1987 -

- в связи с восьмидесятилетием награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
Из-за прогрессирующей болезни не может принимать участие в работе над составлением трех последних книг, вышедших при его жизни.
- выход книг «От юности до старости» (М., «Советский писатель», 112 с., тираж 50 000 экз.) и «Быть самим собой» (М., «Советская Россия», 256 с., тираж 20 000 экз.).

- 1988 -

- ноябрь --- перевезен в Центральную клиническую больницу в Кунцево.

- 1989 -

- апрель — выход книги «Звезды над Арагацем» (Ереван, «Советакан грох», 234 с., тираж 5 000 экз. (на титульном листе дата — 1988).
- 27 мая — скончался в больнице.
- 1 июня — похоронен на кладбище в Переделкине после гражданской панихиды в Центральном доме литератора и отпевания в храме Преображения Господня.
- ноябрь — Постановлением правительства СССР присуждена посмертно Государственная премия за книгу стихотворений «От юности до старости».

КРАТКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Татьяна Васильевна Никитина (Станиславская) — театральный режиссер.

¹ Кировоград, город на Украине. До 1924 года — Елисаветград, до 1934 года — Зиновьевск, до 1939 года — Кирово-Украинское.

² В 1938 г. Юрий Васильевич Никитин (1905-1940) был незаконно репрессирован. Погиб в пересыльном лагере в бухте Нагаева (Магаданская обл.).

³ Станиславский Николай Дмитриевич (1905-1970) — театральный режиссер.

⁴ Винниченко Владимир Кириллович (1880-1951) — украинский писатель, драматург, политический деятель. Умер в эмиграции в Америке.

⁵ Олесь (Александр Кандыба, 1878-1944) — украинский поэт. Умер в эмиграции в Праге.

⁶ Заньковецкая Мария Константиновна (1860-1934) — украинская актриса. Жена актера Н. К. Садовского (Тобиловича).

Юлия Моисеевна Нейман (1907-1994) — поэт, переводчик. Автор сборников «Костер на снегу», «Мысли в пути», «Причуды памяти».

¹ Густав Густавович Шпет (1879-1937) — философ. Был незаконно репрессирован. Расстрелян в Томске.

² Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — религиозный философ, поэт, критик.

³ В компании елисаветградских друзей «князем» был Юрий Никитин, «виконтом» — Николай Станиславский, «графом» — Арсений Тарковский. Предки А. А. Тарковского, выходцы из Польши, согласно архивным документам, с начала 18-го в. жили на Украине. Легенда о дагестанском происхождении возникла из-за тождества фамилий.

⁴ Труалет — правильно: триолет.

⁵ Петровых Мария Сергеевна (1908-1979) — поэт, переводчик.

⁶ Штейнберг Аркадий Акимович (1908-1984) — поэт, переводчик, художник.

⁷ Шенгели Георгий Аркадьевич (1894-1956) — поэт, теоретик стиха.

⁸ Стийенский Радуле М. Партизаны на Дурмиторе. М.: Художественная литература, 1935.

⁹ Сборник «Перед снегом». М.: Советский писатель, 1962.

¹⁰ Стихотворение «Отнятая у меня, ночами...» (1963) посвящено близкой знакомой поэта, увлечение которой началось в Ашхабаде, возможно, в 1954 году.

¹¹ Бохонова Антонина Александровна, по первому мужу Тренина (1905-1951) — вторая жена поэта.

Елена Орестовна Ноземцева — в 1950-х годах — директор Кировоградского областного краеведческого музея.

Евгения Кузмишна Дейч — критик, литературовед.

¹ Первая публикация А. Тарковского — четверостишие «Свеча». Сборник «Две зари». М.: Никитинские субботники, 1926.

² Звягинцева Вера Клавдиевна (1894-1972) — поэт, переводчик.

³ Грудцова Ольга Моисеевна (1906-1982) — критик, дочь фотохудожника М. Наппельбаума.

⁴ Дзига Вертов (1895/96-1954) — кинорежиссер, новатор и теоретик документального кино.

⁵ Каплер Алексей Яковлевич (1904-1979) — кинодраматург.

⁶ Рыльский Максим Фаддеевич (1895-1964) — украинский поэт, общественный деятель, академик.

⁷ Первомайский Леонид Соломонович (1908-1973) — украинский поэт, прозаик, драматург.

⁸ Драч Иван Федорович — украинский поэт, сценарист.

⁹ Дмитро (Дмитрий Васильевич) Павлычко — украинский поэт, сценарист.

¹⁰ Михалевич Афанасий Иванович — врач, друг семьи Тарковских. Участник украинфильского кружка г. Елисаветграда. В 1884 году был арестован, в 1887 сослан в Восточную Сибирь. Отбывал ссылку вместе с Александром Карловичем Тарковским, отцом поэта.

¹¹ Лифшиц Бенедикт Константинович (1887-1939) — поэт, переводчик. Был незаконно репрессирован.

Софья Наумовна Славина (1900-1996) — театральная режиссер. После смерти мужа, писателя Льва Славина, занималась публикацией его наследия.

Галина Федоровна Аграновская — жена журналиста Анатолия Аграновского. Автор воспоминаний об А. Галиче, Б. Слущком, Я. Смелякове, П. Шубине.

¹ В августе 1950 г. А. А. Тарковский, его дочь Марина, Т. А. Озерская и ее сын, Алеша Студенецкий, после недели, проведенной в Мардакянах, жили в селе Алты-Агач в доме у местных жителей, потомков русских переселенцев-молокан.

² Стихотворение «Звездный каталог».

³ Гонорары А. А. Тарковского были редки и нерегулярны. Дети А. А. Тарковского, Андрей и Марина, часто навещавшие отца, жили на зарплату их матери, М. И. Вишняковой.

⁴ В доме Тарковских в Голицине хозяйство постоянно вели домашние работницы. С 1954 года много лет у Тарковских жила Александра Матвеевна Горбунова (Саша).

⁵ «Убийцы» — учебная работа, снятая на Учебной студии ВГИКа второкурсниками Андреем Тарковским, Марией Бейку и Александром Гордоном (1956 год).

⁶ Писатель А. Н. Толстой жил в квартире на втором этаже бывшего дома для гостей при особняке С. П. Рябушинского. Сейчас в этой квартире музей писателя.

Михаил Михайлович Козаков — актер, режиссер. Автор воспоминаний «Актерская книга».

¹ Строка из стихотворения А. Тарковского «Малютка-жизнь».

² Строка из стихотворения А. Тарковского «Меркнет зрение, сила моя...»

³ Эйхенбаум Борис Михайлович (1886-1959) — литературовед.

⁴ Строка из стихотворения А. Тарковского «Просыпается тело...»

⁵ Строка из стихотворения О. Мандельштама «Мой щегол, я голову закину...»

⁶ Ломброзо Чезаре (1835-1909) — итальянский психиатр и криминалист.

Александр Витальевич Гордон — кинорежиссер, постановщик фильмов «Сергей Лазо», «Кража», «Сцены из семейной жизни», «Двойной обгон», «Выкуп», «Футболист» и др.

Валентин Александрович Коновалов (1930—1996) — художник, художник-постановщик кино. Автор книги «Записки фразера».

¹ А. А. Тарковский жил рядом со станцией метро «Аэропорт» по адресу: 2-я Аэропортовская (потом ул. Черняховского), д. 4.

Питер Норман — профессор-славист. Переводчик русской поэзии.

¹ Франк Наталия Семеновна — дочь русского религиозного философа С. Л. Франка.

Лариса Емельяновна Миллер — поэт, прозаик, эссеист. Автор шести поэтических книг.

¹ Первый сборник Л. Миллер — «Безымянный день». М.: Советский писатель, 1977.

² Якобсон Анатолий (1935-1978) — литератор, преподаватель русского языка и литературы. Был вынужден уехать из СССР. Несколько лет спустя покончил с собой в Израиле. (Прим. Л. Миллер.)

³ Первая книга А. Радковского «Шершавая десть» вышла в 1933 г. М., издание ассоциации «Авиатехинформ».

⁴ Татьяна Алексеевна скрывала от Арсения Александраевича известия о тяжелой болезни его сына. Смерть Андрея Арсеньевича была для него неожиданным тяжелейшим ударом.

⁵ Стихотворение написано на смерть второй жены поэта А. А. Бохоновой в 1951 г.

Александр Николаевич Радковский — поэт.

¹ Строки из стихотворения О. Мандельштама «Ариост».

² Сборник «Вестник». М.: Советский писатель, 1969.

³ Слова М. А. Шолохова. (Прим. А. Радковского.)

⁴ Второе стихотворение из цикла А. Тарковского «Пушкинские эпитафии».

⁵ Третье стихотворение из цикла А. Тарковского «Степная дудка».

⁶ Строки из стихотворения А. Тарковского «Перед листопадом».

⁷ Маркиш Перец Давидович (1895-1952) — еврейский писатель. Был незаконно репрессирован.

⁸ Строфа из стихотворения Н. Заболоцкого «Читайте, деревья, стихи Гезиота». (Прим. А. Радковского.)

⁹ Строфа из стихотворения А. Тарковского «Предупреждение».

¹⁰ Копылова Людмила Викторовна (1940-1990) — поэт, переводчик с латышского. Автор трех поэтических книг.

¹¹ Вторая книга поэта Г. Русакова — «Длина дыхания». М.: Советский писатель, 1980.

¹² Радиопозма А. Тарковского «Стекло». (Прим. А. Радковского.)

Евдокия Мионовна Ольшанская — поэт, литературовед.

¹ У А. А. Тарковского было четыре самодельных экземпляра книги. Один хранился у него, другой был им подарен М. И. Вишняковой (впоследствии утрачен), третий находился в коллекции критика, собирателя книг А. К. Тарасенкова. Где находился четвертый экземпляр, мне не известно.

² В «пробивании» книги «Перед снегом» участвовал также друг А. А. Тарковского писатель В. С. Виткович.

³ В 1977 г. Тарковские обменяли квартиру на ул. Черняховского на две, чтобы разъехаться с сыном Т. А. Озерской-Тарковской, А. Н. Студенецким. Их квартира из двух комнат была меньше прежней. Окна выходили на перегруженное транспортом Садовое кольцо. С тех пор Тарковские почти постоянно жили в домах творчества.

⁴ Большая часть рассказов из цикла «Константинополь» написана в 1945 г.

⁵ В Житомире Тарковские гостили у Н. Д. Станиславского и его жены Т. В. Никитиной-Станиславской.

⁶ Кривин Феликс Давыдович — прозаик.

⁷ Стихотворение А. Тарковского «Засуха». В «Избранном» (1982) первая строка читается «Земля зачерствела, как губы...»

⁸ Сборник «Вестник» вышел в 1969 г., фильм Андрея Тарковского, законченный в 1966 году, появился на экранах лишь в 1971 году.

Михаил Михайлович Кралин — поэт, литературовед.

¹ Журнал «Вопросы литературы».

² Альвинг Арсений Алексеевич (1885-1942) — поэт.

³ Абу-ль-Аля аль-Маарри (973-1057/58) — арабский поэт и мыслитель.

⁴ Сборник «Вестник».

Юрий Иосифович Коваль (1938-1995) — прозаик. Автор книг «Недопесок», «Приключения Васи Куролесова», «Чистый Дор», «Самая легкая лодка в мире», «Суер-Выер» и др. Публикуемые материалы подготовлены к печати Натальей Коваль.

¹ Забыты слова «нмя» и «знамя».

² АХРР — Ассоциация художников революционной России (1922-1932), с 1928 г. — АХР — Ассоциация художников революции.

Григорий Александрович Корин — поэт. Автор более десяти поэтических сборников, в том числе «Смена ритма», «Автопортрет», «Калейдоскоп», «Последняя треть» и др.

Наталья Эрнестовна Гилярова — прозаик.

Левон Мкртычевич Мкртчян — критик, литературовед, мемуарист. Автор книг «Родное и близкое», «Да придут к нам благородные мысли со всех сторон», «Если бы в Вавилоне были переводчики», «Разговоры с поэтом» и др.

¹ Чаренц Егише (1897-1937) — армянский поэт. Был незаконно репрессирован.

² Комитас (1869-1935) — армянский композитор-классик.

³ Китс Джон (1795-1821) — английский поэт-романтик.

⁴ Сагян Амо — армянский поэт.

⁵ Галенц Арутюн — армянский художник.

⁶ Соколов Владимир Николаевич (1928—1997) — поэт.

⁷ Лифшиц Владимир Александрович (1913-1978) — поэт, переводчик.

⁸ Шипачев Степан Петрович (1898/99—1979) поэт.

⁹ Топчян Эдуард — литературовед.

¹⁰ Григор Нарекаци (951-1003) — армянский поэт, автор лирико-философской поэмы «Книга скорбных песнопений».

¹¹ Издательство «Советский писатель».

¹² Гитович Александр Ильич (1909-1966) — поэт, переводчик.

¹³ Шкловский Виктор Борисович (1893—1984) — писатель, литературовед.

¹⁴ Кулиев Кайсын (1917-1985) — балкарский поэт.

¹⁵ Михайлов Александр Алексеевич — критик.

¹⁶ Найман Анатолий Генрихович — поэт, переводчик.

¹⁷ Зарьян Наири (1900/01-1969) — армянский писатель.

¹⁸ Гребнев Наум Исаевич (1921-1988) — поэт, переводчик.

¹⁹ Кучак Наалет (?—1592) — армянский поэт, гуманист, философ.

Грейнем Израилевич Ратгауз — критик, литературовед, переводчик немецкой поэзии (Гёльдерлин, Рильке и др.). Автор сборника переводов «Германский Орфей».

¹ «Стань самим собой» (нем.).

² Сборник «Звезды над Арагацем». (Ереван: Советакан грох, 1988).

³ Скалдин Алексей Дмитриевич (1885-1943) — поэт, прозаик. Автор воспоминаний о Блоке.

⁴ Сведенборг Эмануэль (1688-1772) — шведский ученый и теософ.

Инна Львовна Лиснянская — поэт.

¹ «Поэма без героя».

² Берендгоф Николай — поэт.

³ Строка из стихотворения А.Тарковского «Ночь под первое июня».

⁴ Строка из стихотворения А.Тарковского «Малютка-жизнь».

Елена Георгиевна Криштоф — прозаик. Автор двадцати трех книг, в частности, романа о Пушкине «Для сердца надо верить», которым московское издательство «Армада» открыло серию романов о русских писателях.

¹ Противостояние Тарковский — Бондарчук было спровоцировано, прежде всего, системой Госкино и идеологического отдела ЦК КПСС.

² Жена А. А. Тарковского Антонина Александровна обратилась в Секретариат ССП к А. А. Фадееву и В. Б. Шкловскому с просьбой о переводе его в московский госпиталь. Они помогли ей достать пропуск, и на военном самолете она перевезла Тарковского в Москву.

³ Мать Арсения Тарковского вывесила объявление о находке: «Найден кошелек. Если в течение трех дней хозяин не найдется, будем считать кошелек своим».

⁴ Редактор газеты «Боевая тревога».

⁵ Мария Густавовна Фальц, юношеская любовь поэта, умерла в 1932 году.

⁶ О посвящениях в поэзии А. Тарковского см. книгу М. Тарковской «Осколки зеркала». М.: Дедалус. 1999.

⁷ Первый том романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» вышел в переводе Т. Озерской, второй — в переводе Т. Кудрявцевой. М.: Художественная литература, 1984.

Валентин Соломонович Рушкис — поэт, прозаик, драматург. Переводчик эстонской поэзии и драматургии. Автор очерково-художественных книг («О тех, кто зажигает звезды», «Высокий счет», «Иду следом», «Радуга в каньоне» и др.) и книг для детей («Повесть о славных делах Волле Крууса и его верных друзей», «Рассказы об Эстонии»).

Зиновий Михайлович Вальшонок — поэт. Автор пятнадцати поэтических книг, в том числе «Яблоко согласия», «Свадебный марш», «Третье дыхание», «Полуденный поезд», «Залив терпения», «Белый порог», а также книги литературных пародий «Интербабушка».

¹ А. К. Тарковский был организатором народовольческого кружка в г. Елисаветграде Херсонской губернии.

² А. Тарковский был автором песни «Гвардейская застольная», композитор Любан.

³ В семье не шло речи о перезахоронении праха Андрея Арсеньевича. Памятный крест установлен с бескорыстной помощью Натальи Ивановой и Валерия Прудникова.

Суламифь Оskarовна Митина — переводчик англоязычной литературы.

¹ Отец А. А. Тарковского Александр Карлович, помимо работы в банке, был журналистом, а также писал стихи, рассказы, занимался поэтическим переводом (в частности, перевел «Божественную комедию» Данте).

² Терцины — трехстрочные ямбические строфы с перекрещивающимися рифмами, завершающиеся отдельно стоящей строкой, которая рифмуется с предпоследней строкой и заканчивает цепь терцин. Терцинами написана «Божественная комедия» Данте.

³ Михалевич Афанасий Иванович — врач, друг семьи Тарковских. Участник елисаветградского украинофильского кружка «Громада». Был выслан вместе с А. К. Тарковским в поселок Тунка (Восточная Сибирь).

⁴ Сборник «Волшебные горы». Тбилиси: Мерани, 1978.

⁵ Сборник «Избранное». М.: Художественная литература, 1982.

Вениамин Блаженный — поэт. Автор поэтических сборников «Стихотворения», «Сораспятие».

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
<i>Татьяна Никитина. Необычайное происшествие, случившееся со мной и с Арсением Тарковским в 20-х годах в городе Елизаветграде</i>	5
<i>Юлия Нейман. Особая примета</i>	9
<i>Елена Ноземцева. Арсений Александрович Тарковский в Кировограде</i>	19
<i>Евгения Дейч. Штрихи</i>	22
<i>Софья Славина. О нашем друге</i>	32
<i>Галина Аграновская. Звездочет</i>	35
<i>Михаил Козаков. Листая дневник...</i>	48
<i>Александр Гордон. «...Я по крови домашний сверчок...»</i>	53
<i>Валентин Коновалов. Одной новогодней ночью...</i>	60
<i>Питер Норман. Незабываемые встречи.</i>	66
<i>Тариса Миллер. «А если был июнь и день рожденья...»</i>	69
<i>Александр Радковский. «Едва калитку отворяли...»</i>	85
<i>Евдокия Ольшанская. «...Я был, и есмь, и буду...»</i>	106
<i>Михаил Кралин. Встречи с Мастером</i>	128
<i>Юрий Коваль. Из письма к Фазилю Искандеру. Записи из «Монохроник»</i>	144
<i>Григорий Корин. Несколько эпизодов из долгой дружбы с поэтом Арсением Тарковским</i>	151
<i>Наталья Гилярова. Необыкновенный друг</i>	155
<i>Левон Мкртчян. «Так и надо жить поэту...»</i>	158
<i>Грейнем Ратгауз. «Рыцарь бедный...»</i>	189
<i>Инна Лиснянская. Две главы из повести «Отдельный»</i>	198
<i>Елена Криштоф. Нищий царь</i>	210
<i>Валентин Рушкис. История одного перевода</i>	260
<i>Зиновий Вальшонок. «Судьба моя сгорела между строк...»</i>	270
<i>Суламифь Митина. Из бесед с Арсением Тарковским</i>	281
<i>Вениамин Блаженный. Несколько часов с поэтом</i>	333
<i>Хроника жизни Арсения Александровича Тарковского</i>	335
<i>Краткие примечания</i>	344



W. W. W. W. W.